

АНА МЕНСКА

Часть 2

Горелла

ЗАКОН ЛЮБВИ

18+

Ана Менска

Фьорелла. Закон любви. Часть 2

<https://litres.ru/74124694>

SelfPub; 2026

Аннотация

Неаполь 1771 года. Город богатых палаццо, за стенами которых сокрыто немало неприглядных тайн.

Фьорелла Сильвестри, умная и утонченная дочь профессора древних языков, рано познала горечь утрат. Но главный удар судьбы ждет ее впереди. Новый опекун Фьоры — князь Алессандро Филанджери, адмирал Испанской королевской армады, привыкший брать желаемое штурмом. Заключив вынужденный брак по расчету с теткой девушки, он обретает власть над беззащитной сиротой. То, что вспыхивает в душе циничного морского офицера, — не нежность, а темная, губительная одержимость.

Адвокат Витторе Ранелли, виконт Моразини, чье благородное сердце принадлежит Фьоре, готов стать ее надежным щитом. Двое разных, но одинаково сильных мужчин сходятся в незримом поединке.

Что победит в роковом треугольнике: разрушительный напор слепой страсти или самоотверженность светлого чувства? И

сможет ли Фьорелла сквозь боль и страх отстоять право на свободу, доказав, что ее сердце послушно собственному, высшему закону? Закону любви.

Содержание

Глава	5
От автора	6
Глава 1	7
Глава 2	37
Глава 3	75
Глава 4	135
Глава 5	175
Глава 6	211
Глава 7	263
Глава 8	299
Глава 9	329
Конец ознакомительного фрагмента.	340

Фьорелла. Закон любви. Часть 2

Глава

© Все права на эту книгу защищены. Никакая часть электронной или печатной версии не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Дудина С. В., 2026

От автора

Большинство персонажей этой книги рождены писательской фантазией, поэтому любое совпадение их имен с именами реальных людей является случайностью. Все описанные события — плод авторского воображения.

В романе также присутствуют подлинные исторические лица. Однако их характеры, мотивы и поступки представляют собой художественное допущение. Автор не стремился к созданию документальной хроники, а потому данное произведение не претендует на абсолютную историческую достоверность, правдивость и полноту академических сведений.

Глава 1

За месяц, проведенный в монастыре, Фьорелла сумела понять, что недомогание и болезнь являются здесь не просто физическим недугом, но и суровым моральным испытанием.

Лазарет, где обитали немощные сестры, представлял собой парадоксально желанное убежище. В его каменных стенах, лишенных привычного аскетизма монашеской обители, ибо монастырский устав делал исключения для больных и страждущих, их подчас ожидала неожиданная роскошь — обильное питание, включая запретное для остальных мясо. Эта привилегия, однако, имела высокую плату. Попасть сюда значило признать свое бессилие перед волей Господа и упадок духовных сил. Это было словно падение с высоты монашеского совершенства на грешную землю.

Путь в лазарет обычно начинался с публичного покаяния. Заболевшая монахиня со слезами на глазах представляла перед капитулом — собранием сестер. Ее тихий, полный смирения голос произносил слова, полные скорби: «Сестры, простите меня, я немощна и не могу более соблюдать установленный порядок нашей общины». Только после этого, получив разрешение настоятельницы, она могла обрести несколько дней покоя вне суровой монастырской рутины.

Если же недуг не отступал, монахиня вновь, с еще большим смирением, извещала капитул о своей непроходя-

щей слабости. И лишь тогда ей открывались двери лазарета. Но и здесь испытания не заканчивались. Три дня проходили в ожидании выздоровления, и лишь после этого, если болезнь брала верх, аббатиса, как милосердный ангел, сама приносила запретный плод — отварное мясо — символ милосердия Божьего и временного отступления от суровых правил обители.

Всё это время монахиня находилась в состоянии духовного отчуждения. Ее отлучали от святых тайн, от участия в богослужениях, от общей жизни общины. Она оставалась один на один со своей болезнью и с осознанием временного изгнания из духовного сестричества.

Возвращение в обитель было не менее сложным. Оправившись от недуга, монахиня вновь представляла перед капитулом, каясь не только в болезни, но и в «невоздержанности» в пище. Ей назначалось дополнительное покаяние, чтобы искупила временную слабость и вернула себе полноценное место в строгом, но едином монашеском круге.

Фьорелла боялась, что ее тоже причислят к разряду немощных, и придется пройти через эту унижительную процедуру. Девушка знала, что в миру беременная женщина и в самом деле подчас считалась недомогающей. По крайней мере, так было с Лукрецией, второй женой дяди. Во время беременности доктора предписывали ей покой, особую диету и существование, скованное ограничениями и лишенное привычной активности. Каким именно образом женщины в

положении воспринимаются в монастыре, для Фьореллы было загадкой.

Но, по всей видимости, на этот счет не было каких-то единых установленных правил, потому что присутствие беременных в монашеских обителях не являлось распространенной практикой.

После проникновенных слов о священности долга матери, которая должна во что бы то ни стало сохранить и выносить дитя, аббатиса объявила Фьорелле, что та будет вести обычную жизнь, участвуя во всех службах и послушаниях, но... питаться ей предписано не в общей трапезной, а в лазарете. Объяснение матери-настоятельницы было таким: «Дитя, что растет во чреве твоём, нуждается в обильной и полноценной пище. Не пристало ему сидеть на хлебе и воде, которыми питаешься сама». Фьорелла кивнула согласно, но сердце ее при этом неприятно сжалось. Как ни странно, вызвано это было вовсе не воспоминанием о монастырской пище.

Фьора подумала о частице князя, поселившейся внутри. Эта крупца будет расти и превратится со временем в ребенка — вечное, мучительное напоминание о пережитом кошмаре.

Аббатиса Агнесса призывала ее полюбить это дитя. Но как полюбить плод насилия, горький итог тех страшных ночей, которые довелось пережить, результат осквернения души и тела? Мысль о беременности, о растущем внутри тела ребенке, вызывала не материнское чувство, а глубокую,

всепоглощающую тоску. Это не радостное ожидание, а нежеланное бремя, которого она не хотела.

Как обрести силы принять его? Принять это дитя, значит, принять и способ зачатия. Значит, простить насилие и простить самого насильника. Но она не может сделать это! Страх и неприятие заполняют всё ее существование. Взрастить посреди этих эмоций чувство прощения — это за пределами ее сил. Это было бы равносильно предательству самой себя, своего искалеченного достоинства и глубочайшей душевной травмы.

В голове Фьореллы царил хаос. Внутри нее шла непрерывная, изматывающая борьба. Внутренний голос вновь и вновь задавал одни и те же вопросы: «Почему именно я? За что мне всё это?» От этих мыслей хотелось спрятаться, исчезнуть, закрыть глаза и представить себе хотя бы какое-то освобождение — пусть даже иллюзорное. Фьорелла отчаянно пыталась убежать от реальности, что навязывала ей роль, к коей не была готова.

Она не хотела принимать того, кто рос внутри. Дитя во чреве казалось не началом новой жизни, а воплощением страха и боли, напоминанием об утрате собственной свободы. И всё же где-то в глубине души Фьора понимала: она отвергает не ребенка, не беззащитное существо, а саму ситуацию, в которую ее загнали, и тот факт, что ее судьбой распоряжается человек, не имеющий на это ни морального, ни человеческого права.

Эти горькие, путанные размышления еще сильнее сгущали чувство безысходности. Фьорелла искала в себе хотя бы толику внутреннего покоя, пыталась примириться с этим обстоятельством, но пока это казалось недостижимым, почти невозможным.

Ее беременность — не просто нежеланная. Это постоянный, мучительный кошмар, свидетельствующий о сломленной воле, о попранном доверии к миру, о крахе всех надежд. Каждая клеточка ее существа противится этому принудительному сожителю с частью того, кого страшится и не хочет видеть.

Комок крови и плоти князя питается ее силами, ее здоровьем, ее душевным равновесием. Он отнимает у нее надежду на возможность иного, благополучного разрешения этой ужасной ситуации. Фьорелла видела впереди не счастливое материнство, а бесконечный ряд мрачных дней, в которых каждый вздох ребенка, носящего в себе кровь насильника, — приговор к вечному страданию, постоянным воспоминаниям о том ужасе, который пришлось пережить.

Каждый крик этого дитя будет резать по живому душу. Каждая улыбка его будет напоминать о том, что оно родилось вопреки ее желанию, вопреки ее воле, что само его появление на свет разрушило, разметало по кусочкам светлый храм ее души.

То, что Фьорелла чувствовала, было не просто неприязнью — это была отчаянная борьба за сохранение собствен-

ного «я», за возможность хоть как-то очиститься от грязи, в которую с головой окунули. Такие чувства были продиктованы не жестокосердием, а глубочайшей травмой и насущной необходимостью защитить себя, защитить жалкие остатки своей души и разбитой жизни от постоянного присутствия в ней дитя, служащего напоминанием о том, кто испоганил, растоптал ее жизнь. Взрастить посреди этих жгучих, болезненных чувств прощение князя и принятие его ребенка — задача непосильная.

Обо всём этом Фьорелла думала, сидя за обеденным столом лазарета. Она поддевала ложкой ризотто с креветками и отправляла его обратно в миску. Есть не хотелось, аппетита не было. Но и дурнота, к счастью, тоже немного отступила.

С момента, как она узнала о своей беременности, прошла неделя. Все эти семь дней в основном строились по уже привычному сценарию: восемь дневных служб, занятия с девочками в школе, собрания сестер в зале капитула, проповеди и нравоучения магистры Ипполиты, чтение в перерывах и... личная молитва Господу, чтобы ... избавил от этого плода. Но Бог, похоже, забыл о ней или... решил провести по всем кругам ада.

От безрадостных мыслей Фьореллу отвлек странный шум в монастырском кюстро. Она поднялась из-за стола и прильнула к окну. Спустя мгновение к ней присоединилась и инфермиера Тереза. Они вместе наблюдали за скоплением изрядного количества монахинь у монастырских ворот.

Сестры, подобно пчелам, сбились в густой рой и возбужденно гудели о чем-то. В их взглядах, устремленных ко входу в обитель, мелькало беспокойство, смешанное с интересом. Их явно распирало любопытство, кто именно нарушил установившийся порядок жизни обители. Они то и дело озирались по сторонам, как будто ждали кого-то.

Окна лазарета были плотно закрыты, поэтому Фьорелла могла лишь наблюдать за этим странным и непонятным представлением, с тревогой ощущая, как в ней набирает силу растущее напряжение. Необычность происходящего вскоре усилилась, ибо девушка заметила, как к собравшейся толпе своей величественной походкой прошествовала внушительная фигура матери-настоятельницы. Бадессу сопровождала оживленно жестикулировавшая и беспрестанно что-то объясняющая портинайя[1]¹.

Фьорелла, понаблюдав за этим необычным спектаклем минуту — другую, вернулась к столу. На стул она опустилась с уже сформировавшимся предчувствием чего-то дурного. Лекарша осталась стоять у окна. Фьорелла пила специально приготовленный для нее имбирно-мятный лимонад, когда дверь неожиданно распахнулась, и в лазарет влетела Вероника — вихрь, состоящий из возбуждения и волнения.

Заметив подругу, она выпалила:

— Как хорошо, что ты здесь! Сиди и дальше тут и носа отсюда не высовывай.

¹ Портинайя (итал. portinaia) — привратница в монастыре.

Строгий голос монахини Терезы прервал ее:

— Новиция Вероника, что вы себе позволяете? Вы забыли, что находитесь в стенах святой обители?

Вероника, получив моральную оплеуху, залилась краской, словно подрумянившийся на солнце персик.

— Простите, суора Тереза. Я лишь передала Фьорелле распоряжение бадессы Агнессы.

Обычно невозмутимое лицо лекарши мгновенно изменилось. Изогнутые в удивлении брови свидетельствовали о том, что эмоции вырвались-таки из оков сдержанности:

— Да что такое случилось? Ты можешь объяснить толком? Врываешься сюда, как бурлящая волна морского прибоя, и выдаешь какие-то странные распоряжения.

Вероника перевела взгляд на Фьореллу и уже другим, не таким взволнованным, а напротив, тихим и участливым голосом произнесла:

— За тобой приехал твой опекун.

В груди Фьореллы вмиг всё похолодело, словно тихо тлеющий в ней огонь жизни угас окончательно. Леденящий ужас пронзил ее до костей. Князь... Его приезд означал лишь одно — неизбежное возвращение в болото похоти и душевного кошмара, от которого безуспешно пыталась убежать.

От потрясения, что в единый миг пережила, Фьорелла даже не почувствовала, как на плечо опустилась участливая рука Вероники. Вечером того самого злополучного дня, когда Фьора узнала о своей беременности, у девушек состоялся

долгий доверительный разговор. Фьорелла плакала на плече подруги и пересказывала без лишних подробностей всю свою непростую историю.

Из состояния оцепенения Фьюру вырвали резкие слова сестры Терезы:

— Я так и знала, что ты принесешь монастырю одни неприятности. Я говорила бадессе, что не гоже укрывать в святой обители нагулявшую ребенка девицу.

Слова пожилой монахини, острые и беспощадные, словно лезвие ножа, полоснули сердце Фьореллы. В груди поднялась тяжелая волна отчаяния, лишаящая сил и дыхания. Вероника, не в силах больше молчать и сдерживать гнев, шагнула вперед, вставая на защиту подруги.

— Зачем вы так говорите? — воскликнула она, и голос дрогнул не от слабости, а от сдерживаемого возмущения. — Вы не знаете ни ее судьбы, ни того, через что пришлось пройти, а уже беретесь судить и выносить приговор. Но ведь сам Господь предупреждал: «Не судите, да не судимы будете»[2]². И еще Он сказал: если мы прощаем людям согрешения их, то и Отец Небесный простит нам; а если не прощаем — не будет прощения и нам самим[3]³.

Она перевела дыхание и добавила уже тише, но гораздо более твердо:

— Так не нам ли, живущим под кровом Божиим, прежде

² Мф. 7:1–5.

³ Мф. 6:14–15.

всего помнить Его слова и милость и не подменять их незаслуженной суровостью? Чему нас учит Святое учение? Состраданию и прощению!

Инferмиера, молча выслушав эту гневную отповедь, всё так же, ни слова не говоря, развернулась и ушла в помещение, где хранились склянки и альбарелло со всякими снадобьями. Через несколько минут пожилая монахиня вернулась, держа в руках пузырек из непрозрачного стекла. Накапала несколько капель в стакан, из которого пила Фьорелла, плеснула туда еще воды из кувшина и сказала:

— Выпей это, тебе предстоит непростой разговор с бадесой и встреча со своим страхом глаза в глаза.

Фьорелла тяжело вздохнула. В этот момент она осознала, что жизнь ее уже точно не повернется к свету. Впереди ждет лишь тьма, из которой, скорее всего, уже не будет выхода.

Она взяла стакан в руки и впервые подумала: «Может, было бы лучше, если бы это была отрава?» Вылив содержимое в рот, в два глотка протолкнула успокоительное питье в себя. Она не знала, что горчило больше: снадобье сестры Терезы или ее разочарование в возможности спасения.

Все молитвы Фьоры оказались бессильными перед лицом судьбы. Все надежды сметены порывом безжалостного рока, имя которому — Алессандро Дамиано Филанджери Ла Фарина, князь ди Сатриано и ди Арианиелло, граф Авеллино.

Горький вкус снадобья стал метафорой всей ее нынешней жизни. Жизни, наполненной насилием, душевной болью и

несбывшимися мечтами. Она поставила опустевший стакан на стол, и беззвучно, сквозь подступившие слезы, выдохнула, принимая полностью свою судьбу, какой бы горькой она ни была.

* * *

Мать-настоятельница с несвойственным ей смятением наблюдала за согбенной фигуркой девушки, облаченной в скромные одежды послушницы. В этот момент ей казалось, что сама она, познавшая к пятидесяти четырем годам законы и мудрость жизни, оказалась гораздо более уязвимой к давлению, чем эта хрупкая девочка.

Фьорелла, несмотря на незначительный возраст, сумела отыскать в себе мужество восстать против зла, попытаться разрушить оковы греха, которые грозили сковать ее душу. Настоятельница, уже более пятнадцати лет возглавлявшая эту святую обитель и направлявшая сестер по пути праведности, вдруг осознала, что не обладает той силой духа, коей Господь так щедро наделил эту послушницу.

Агнесса, несмотря на свой статус и опыт, оказалась беззащитной перед лицом мужчины, который, без всякого сомнения, является воплощением темных сил, способных разрушить всё светлое и доброе. Она понимала, что, хоть сама и ведет других по пути спасения, ее собственная борьба с происками дьявола потерпела полное фиаско.

Как же так? Почему эта юная душа, едва ступившая на путь служения, нашла в себе силы отстаивать свои идеалы, а она, наделенная опытом и знанием, сломалась под тяжестью угроз и давления? Вероятно, сила духа никак не зависит от возраста и опыта. Иногда именно хрупкость и чистота сердца становятся мощными орудиями, способными дать отпор злу. Ей, опытной аббатисе следует поучиться у юной послушницы смелости и решимости противостоять греху. Возможно, именно в этом и заключается истинная мудрость — в умении принимать уроки от тех, кто кажется слабее, но на самом деле обладает несокрушимой силой духа.

Появление князя ди Сатриано и ди Арианиелло и в самом деле было сравнимо с внезапным ударом молнии в безмятежный монастырский покой. Началось всё с того, что сразу же после дневной трапезы к аббатисе в кабинет ворвалась переполошившаяся привратница. Она передала весть, которая принесла бурю в тихую гавань монастырской жизни.

Обычно спокойное и безучастное лицо суоры Анны на этот раз было сильно возбуждено и искажено ужасом. Портиная едва сумела вымолвить, что у монастырских ворот стоит человек знатного происхождения, требующий выдачи послушницы по имени Фьорелла Паломма Сильвестри.

Аббатиса приказала сестре Анне успокоиться и изложить суть дела по порядку. Немного отдышавшись, монахиня объяснила, что двадцать минут назад в двери монастыря постучался мужчина. По его одежде она сразу же поняла, что

это какой-то могущественный аристократ. Дворянин осведомился, не здесь ли укрывается Фьорелла Паломма Сильвестри. Как ей и было велено, портиная ответила, что не имеет права выдавать посторонним информацию о сестрах обители. Она напомнила визитеру о клятвах молчания и неприкосновенности монахинь.

Привратница попробовала закрыть защищенное решеткой окошко, но попытка оказалась тщетной. С молниеносной быстротой в узкую щель проникла стальная шпага, которая не позволила осуществить задуманное. Ослепленный яростью, мужчина заставил содрогнуться монастырские стены. Он во всеуслышание объявил свои титулы — князя ди Сатриано и ди Арианиелло. Дворянин поклялся, что не сдвинется с места, пока ему не выдадут подопечную, и в голосе его звучала сталь, не терпящая возражений. Грозный голос, наполненный бешенством, поносил обитель и самих монахинь со всеми их обетами на чем свет стоит. Князь кричал, что ему достоверно известно: разыскиваемая девушка укрывается именно здесь. Синьорина Сильвестри не могла в столь короткие сроки принять постриг. Она не принесла обетов и не принадлежит Церкви. А пока девушка — мирянка, ее судьба — в ведении законного опекуна. Монастырь не имеет права удерживать подопечную без его на то согласия.

У ворот обители стала собираться толпа любопытствующих зевак. Ошеломленная и перепуганная насмерть привратница побежала к ней, к аббатисе.

Вместо того, чтобы решительно отказать знатному визитеру в аудиенции, Агнесса твердо нацелилась дать ему лично от ворот поворот. Она приказала открыть для его светлости парлаторио[4]⁴ — специальную комнату, в которой аббатиса, согласно уставу, принимала редких посетителей мужского пола.

В глубине души, под маской строгой праведности, дремало любопытство, подстегиваемое исповедью молодой послушницы, в чьей судьбе Агнесса приняла такое деятельное участие. Ей было интересно, как именно выглядит мужчина, содеявший такое зло и наделавший в монастыре нешуточный переполох.

Чтобы получше разглядеть заинтересовавшего ее субъекта, аббатиса дала распоряжение отпереть гратиколу[5]⁵ — решетку, обычно отделявшую при таких встречах монахинь от мирян.

Когда мужчина зашел внутрь помещения, сердце немолодой уже аббатисы, давно окаменевшее под тяжестью обетов, непривычно взволновано забилося. Ее взор схлестнулся со

⁴ Парлаторио (итал. *parlatorio*) — специальное помещение в итальянских женских монастырях, предназначенное для общения монахинь с посетителями, включая родственников и друзей. Обычно оно расположено отдельно от жилых и молитвенных зон, что позволяет сохранить уединение и духовную атмосферу монастыря. Парлаторио часто имеет решетчатые или стеклянные перегородки, которые разделяют монахинь и гостей, обеспечивая возможность общения, но при этом ограничивая физический контакт.

⁵ Гратикола (итал. *graticola*) — перегородка в виде двери с решеткой в парлаторио.

взглядом визитера, и в оледеневшей душе Агнессы пронесся вихрь давно забытых эмоций.

Что тут скажешь?! Мать-настоятельница ни разу в жизни не видела столь породистый мужской экземпляр. Князь ди Сатриано и ди Арианиелло был не просто красив, а дьявольски красив! Весь его облик излучал невероятный, притягательный магнетизм и абсолютную неотразимость. Было в этом мужчине что-то такое, что заставило мать-настоятельница ощутить себя молоденькой несмышленной девчонкой, еще не надевшей монашеский хабит[6]⁶. Его светлость был воплощением того, что она намеренно изгнала из своей жизни, но оно теперь, словно призрак из прошлого, возвратилось, пробудив в сердце забытый трепет и желание поддаться витающей вокруг князя ауре силы и властности.

Витражные блики расцвечивали его иссиня-черные волосы, собранные в строгий хвост. Едва заметная проседь у висков — первая серебряная нить на полотне жизни — свидетельствовала о зрелости визитера и непреодолимом беге времени. Лицо, загорелое от южного солнца и морских ветров, обладало резкими, будто высеченными резцом из мрамора, точеными чертами. Высокий открытый лоб говорил о незаурядном интеллекте. Густые темные брови подчеркивали глубину темно-карих, почти черных, пронзительных глаз. Кажалось, они видели слишком многое и хранили в себе бес-

⁶ Хабит (лат. *habitus*, итал. *abito*) — монашеское облачение, символ отречения от мирской жизни и вступления в духовное служение.

крайнее море подавляющей смотрящего в них тьмы. Длинный, прямой, гордо посаженный нос придавал мужскому лицу аристократическое величие. Четко очерченные губы над волевым подбородком абсолютно точно привыкли приказывать и повелевать, не допуская даже мысли о неподчинении.

Фьорелла рассказывала, что ее опекун — морской офицер. Годы службы во флоте отпечатались на этом мужчине не только загаром, но и суровой выправкой, которая лишь усиливала магнетическую притягательность. Широкие плечи и прямая осанка выражали силу и нескрываемую опасную власть. Руки крепки и загорелы. Широкие ладони, привыкшие держать штурвал, словно выкованы из бронзы. На длинных пальцах, как ни странно, нет абсолютно никаких перстней. Даже обручальное кольцо — а аббатиса прекрасно знала о семейном статусе его светлости — и то отсутствовало.

Одевание визитера, хоть и отличалось видимой простотой, тем не менее, излучало атмосферу сдержанной роскоши. Мужчина, судя по всему, не поддавался влиянию модных тенденций и не желал следовать прихотям галантного стиля. В выборе одежды превалировало стремление к личному комфорту и удобству, что подчеркивало независимый характер.

Тем не менее, ткани, использованные для пошива наряда, говорили о значительном достатке владельца. Они были выбраны с тщательностью и вкусом и отличались редким качеством и дороговизной. Изящное алансонское кружево, укра-

шавшее манжеты и крават[7]⁷ с мягко ниспадающим жабо, вносило в образ нотку утонченной изысканности, создавая выразительный контраст с общей брутальностью его облика. Этот почти нежный штрих лишь сильнее подчеркивал мужественность князя, придавая внешности сложность и глубину.

Да, князь ди Сатриано и ди Арианиелло был красив. Но это была красота с печатью греха. Красота, от которой веяло холодом властности, не оставляющей и тени надежды на спасение. Его глаза, полные надменного презрения, говорили о холодном сердце, о беспощадности, о бездне порока. Этот мужчина не просто чертовски красив — он словно земное воплощение сатанинского начала. Его красота всего лишь маска, за которой притаилось зло. Она не вызывает восхищения, а внушает трепет, ставя своего обладателя на зыбкую грань между богом и дьяволом. В его присутствии люди ощущают себя подавленными, остро сознавая собственную уязвимость и незащитность.

Без долгих предисловий, даже не поприветствовав аббатису, вошедший сказал, что хочет забрать из монастыря свою подопечную. Когда Агнесса задала уточняющий вопрос, о

⁷ Крават (франц. cravate) — мужской шейный платок или галстук XVIII века, обязательная деталь светского костюма. Представлял собой длинную полосу ткани — батиста, муслина или кружева, — повязываемую вокруг шеи и нередко переходившую в декоративное жабо. В 1760–1770-е годы крават был не только элементом одежды, но и показателем статуса: качество ткани, изящество кружева и способ завязывания свидетельствовали о вкусе, достатке и принадлежности владельца к высшему обществу.

ком именно речь, он скривился.

— Я по вашим глазам вижу, что вы уже догадались об этом. Но если хотите, чтобы имя всё-таки было озвучено, безусловно, сделаю это. Я требую выдать мне Фьореллу Паломму Сильвестри. Женщину, которая, по некоторым сведениям, может носить моего первенца.

Агнесса, ссылаясь на принципы милосердия и сострадания, стала отстаивать свое право на гостеприимство и укрытельство прихожанок, спасающихся от греха. Она даже умудрилась вернуть в речь любимое поучение: «Бог любит нас слишком сильно, чтобы потакать всем нашим прихотям. Именно поэтому Отец наш небесный говорит нам „нет“ там, где мы, его неразумные дети, по слабости душевной твердим „да“. Он не исполняет всякое наше желание, даже когда принимаем его за насущную необходимость».

Ее напыщенные фразы, густо приправленные благочестием, вызвали у князя лишь очередную кислую гримасу высокомерного презрения. Он холодно заявил, что не покинет этой комнаты без своей женщины.

Аббатиса тут же парировала, напомнив, что опекун не вправе произносить подобные слова: подопечная не является чьей-то собственностью. И добавила уже строже, почти обвиняюще, что если бы он действительно любил эту девушку, никогда не допустил бы, чтобы ей пришлось пройти через те испытания, которые, по его воле, легли на ее плечи.

На ее слова: «Это не любовь, это грех, грязь и скверна»,

— он сделал резкий выпад: «Если это и грех, за него перед Господом отвечать мне, а не вам. На моем счету уже столько разных грехов... Одним больше, одним меньше — разницы нет. Я уже приговорен вашим Господином к адским мукам. Так почему же мне нельзя прожить земную жизнь в раю — рядом с той, кто и есть для меня олицетворение этого самого РАЯ?»

Агнесса, поняв, что этого мужчину, как и летящий на всех парусах галеон, с пути не свернешь, поднялась, намереваясь уйти. И тогда его светлость князь, вынув из рукава козырную карту, нанес удар, коего она никак не ожидала.

— Если вы сейчас же не отдадите мне Фьореллу Паломму, я обещаю задействовать все свои связи, а они, будьте уверены, очень обширны. Вы вряд ли знаете о том, что моя мачеха, Лудовика Бернадетта Филанджери Ла Фарина, с которой нахожусь в очень неплохих отношениях, является племянницей Его Высокопреосвященства кардинала Серсале^[8]⁸. Она дочь его старшего брата, дона Пьетро Серсале, патриция Неаполя и Сорренто, возведенного королем Карлом Бурбоном в достоинство маркиза.

Эти слова заставили Агнессу замереть и вновь усесться на стул. Ей было прекрасно ведомо, что ее монастырь подпадал под каноническую юрисдикцию архиепископа. По праву сана кардинал Антонио Серсале обладал визитационной вла-

⁸ Антонио Серсале (1702–1775) — итальянский кардинал, доктор обоих прав. Архиепископ Неаполя с 11 февраля 1754 года по 24 июня 1775 года.

стью[9]⁹, осуществлял надзор за ортодоксией, регулировал отношения монастыря с миром и мог вмешиваться в дела обители в случае серьезных нарушений как канонического, так и гражданского права.

Его власть в первую очередь распространялась на вопросы догматов, литургии и пастырского попечения. Однако в этом случае на первый план выходило иное. Князь заявлял свои права не просто как опекун, но и как отец будущего ребенка — первенца, который, в случае рождения мальчика и при отсутствии иных законных наследников, мог претендовать на княжеский титул и продолжение рода.

В подобных обстоятельствах гражданское право имело безусловный приоритет над церковным, что резко меняло расстановку сил. Речь шла о наследовании и интересах знатного дома — сфере, в которую Церковь не могла вмешиваться произвольно.

Именно это делало ситуацию особенно опасной для аббатисы. Антонио Серсале был не только архиепископом, но и человеком, прекрасно понимавшим границы допустимого. Он не стал бы защищать монастырь ценой конфликта с аристократией и светской властью. Агнессе пришлось бы подчиниться его распоряжению — иначе рисковала навлечь на обитель изнурительные визитации[10]¹⁰ и проверки, способ-

⁹ Визитатор (лат. *visitator*) — духовное лицо, уполномоченное папой римским осуществлять надзор за деятельностью церквей, монастырей и пр.

¹⁰ Визитация (лат. *visitatio*) — в церковной практике XVIII века официаль-

ные надолго нарушить хрупкий покой монашеской жизни.

Вероятно, все эти мысли аббатисы отразились на лице, потому что князь решил добить ее следующим:

— Если вмешательства архиепископа вам покажется мало, я обращусь с жалобой к его величеству королю Фердинанду, который очень благоволит мне. Я также оставляю за собой право обратиться в суд. Как понимаете, процесс в таком случае будет очень громким. Огласки своей внебрачной связи я не боюсь. Когда речь идет о столь высокопоставленных людях, как я, гражданская и церковная судебные системы смотрят на такие провинности сквозь пальцы. Решающим в этом деле станет вопрос о моем наследнике.

Титул принципе^[11] — это не просто знатность и земельные владения, это влияние и власть. Положение князей Неаполя обязывает нас быть не зрителями, а вершителями судеб. Наш удел — управление государством и высшие придворные чины. Мы возглавляем целые области и ведем в бой полки, а наше влияние на политику столь же весомо, как и

ная проверка монастыря или приходской общины, проводимая по распоряжению епископа или архиепископа. В ходе визитации оценивались соблюдение устава, нравственное состояние общины, финансовое управление, дисциплина и соответствие каноническим нормам. Визитации могли длиться месяцами, сопровождаться допросами, предписаниями и санкциями и нередко приводили к смещению настоятельницы или ограничению автономии обители.

¹¹ Принципе (итал. Principe) — князь, принц — в иерархии итальянской знати XVIII века титул, обозначавший не просто высокое дворянское происхождение или обширные земельные владения, но прежде всего политическое влияние, юрисдикционную власть и близость к центрам принятия решений.

наши древние фамилии. По сути, мы — те столпы, на которых держится вся мощь и порядок королевства. Мой сын, а я уверен, что у меня родится именно сын, будет наследником всего этого. В судебном разбирательстве на мою сторону встанет сама система. Неужели вы думаете, что сможете противостоять ей?

Нет, аббатиса так не думала. Против такого давления она не удержалась бы. Вряд ли какая-то другая мать-настоятельница отважилась бы пойти наперекор архиепископу, королю, суду и системе одновременно. Весь вид мужчины, что стоял перед ней, говорил о том, что он — человек слова, и если что-то пообещал, то претворит все свои угрозы в жизнь непременно.

Понимая всю безнадежность дальнейшего сопротивления, Агнесса медленно поднялась. Ее голос, еще недавно твердый и властный, теперь прозвучал непривычно тихо и смиренно.

— Хорошо, — произнесла она, — я верну вам Фьореллу. Но прошу вас дать время переговорить с ней. В силу моего сана и совести я обязана подготовить девушку к тому, что ее ожидает, и проститься с ней не как с послушницей, а как с душой, вверенной мне на этот краткий срок.

Аббатиса выдержала паузу и добавила уже деловым, сдержанным тоном:

— Ожидайте ее в вашей карете. И прошу вас: довольно шума, его и так было в избытке. Не стоит множить скандал,

который и без того коснулся этих стен. Поверьте, я дорожу своим словом не меньше вашего. Девушка выйдет к вам через час.

В этих словах звучало горькое принятие ситуации и желание исполнить свой последний, пусть и вынужденный, долг.

Направляясь к себе в кабинет, аббатиса ощутила в душе чувство легкой зависти к своей послушнице. Хотелось бы и ей, чтобы за нее тоже кто-то так истово сражался. Хотелось бы, чтобы и она для кого-то была так важна и значима. Может, на долю Фьореллы выпала не такая уж плохая участь? Любовь такого мужчины, как князь, дорогого стоит. Поймав себя на таких неблагоприятных, грешных мыслях, Агнесса подняла глаза к небу и перекрестилась.

Мать-настоятельница еще раз окинула взором хрупкую фигурку девушки в одеждах postulanti.

— Фьорелла, девочка моя, — начала аббатиса разговор, и голос ее неожиданно дрогнул, — прошу, прости меня. Прости за мое бессилие, за мое малодушие. Я... не смогла противостоять князю. Его влияние, его богатство, его связи... Это перекрыло всё остальное. Я не смогу состязаться с ним. Эта борьба проиграна уже в ее истоке. Я думала... Надеялась... что смогу уберечь тебя... Но я ошибалась. Я оказалась еще слабее тебя. Мне нелегко признать это, но должна быть честной, ведь Господь следит за каждым нашим словом, за каждым поступком, за каждым деянием.

Я молилась, искала помощи у небес, но... Власть и могу-

щество князя оказались сильнее моих молитв. Я не справилась с обязанностью защитить тебя, как должна была бы сделать настоящая Мать. Поэтому еще раз прошу тебя простить меня.

Фьорелла взглянула ей в лицо, ее глаза были полны слез.
— И что же мне делать теперь?

Аббатиса сложила ладони в молитвенном жесте и прислонила их к губам. Какое-то время она молчала, а потом сказала то, против чего восставала вся ее душа:

— Теперь... Тебе придется вернуться к тому, кто причинил тебе такую боль. Я понимаю, что это несправедливо, понимаю, что для тебя это невыносимо. Но князь... Его светлость даст защиту тебе и твоему ребенку, он обеспечит вам спокойную, беспроblemную жизнь. Я знаю, что это звучит жестоко, что материальные блага не смогут искупить обрушившегося на тебя позора. Но что-то подсказывает, что его светлость сможет заткнуть рты всем злословящим. Мне показалось... что он по-настоящему любит тебя.

Фьорелла всхлипнула и закрыла ладошками лицо. Агнеса вновь замолчала, дав себе время отыскать в своей душе самые верные, самые правильные слова участия.

Спустя минуту, она произнесла:

— Прими мой совет: при первой же возможности посети святилище Монтеверджине. Икона Мадонны, хранящаяся там, чудотворна[12]¹². Вот послушай, что гласит одна из

¹² Мадонна ди Монтеверджине (итал. Madonna di Montevergine) — имя, под

легенд.

Аббатиса встала, обошла стол, придвинула один из стульев, находящихся в кабинете, поближе к Фьорелле, уселась на него, накрыла ладонью руку девушки, лежащую на колене, и начала говорить:

— У подножия горы Партенио, расположилось небольшое поселение Меркольяно[13]¹³. Там, в окружении оливковых рощ и виноградников, жила девушка по имени Анджелина. Эта меркольянка обладала редкой красотой, которая затмевала сияние яркого солнца. Но еще более красивым было ее сердце, чистое и незамутненное, как горный ручей. Ее вера в Мадонну ди Монтеверджине, покровительницу этих земель, была неколебима.

Каждое утро Анджелина взбиралась на гору, к скромной часовенке, где была помещена чудотворная икона Богородицы. Она молилась возле нее, прося у Мадонны защиты и благословения.

Однажды, когда Анджелина возвращалась домой после молитвы, ее догнал на коне знатный вельможа. Он славился своей жестокостью, бесчестием и циничностью по отношению ко всему женском роду. Всадник соскочил с коня и за-

которым в одноименном святилище в Меркольяно почитается картина, относящаяся к XIII–XIV векам. Она изображает Деву Марию, сидящую на троне с младенцем Иисусом на руках. Также известна как Черная Мадонна или М^ама Скьяв^она (неап. *Mamma Schiavone* — темного цвета).

¹³ Меркольяно (итал. *Mercogliano*) — город в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.

гнал девушку в темный овраг. Угрожая смертью, он захотел надругаться над ней, заставляя подчиниться его воле.

Отчаяние охватило Анджелину, но она не забыла о своей вере. Слезы катились по лицу, и, собравшись с силами, девушка обратилась к Мадонне ди Монтеверджине с последней, отчаянной молитвой: «О, Святая Матерь, защити меня от зла! Не допусти, чтобы моя невинность была осквернена и поругана!»

В тот самый момент, когда рука вельможи уже тянулась к сокровенному, произошло нечто невероятное. Небо над оврагом озарилось неземным светом. Из часовенки, расположенной на вершине холма, по воздуху потянулся сверкающий луч, окутавший девушку мягким, теплым сиянием. Оградив ее от посягательств, он ослепил злодея и парализовал его волю.

Насильник почувствовал, как ноги словно прилипли к земле. Внезапно оружие пало из рук. Мужчина, объятый страхом, отшатнулся, крик ужаса разорвал тишину округи.

Луч постепенно рассеялся, оставив после себя ощущение необъяснимого чуда. Анджелина поняла, что именно сейчас следует действовать. Преодолевая страх, она произнесла слова прощения, давая злодею возможность покаяться. В это время божественная сила, сдерживавшая насильника, начала ослабевать. Он, осознав всю неприглядность своего деяния, опустился перед девушкой на колени. Его лицо выражало ужас и раскаяние. С тех пор он уже больше никогда не

посыгал на честь женщин, а Анджелину награбил хорошим приданым, которое позволило удачно выйти замуж.

Вера девушки во всесилье Мадонны ди Монтеверджине спасла ее и оградила от неминуемой беды. Она верила, что образ той, кто была изображена на священной иконе, ответит на молитву и предотвратит ужасную трагедию.

История Анджелины и ее чудесного спасения стала напоминанием всем жителям Меркольяно о могущественной силе веры и о заступничестве Богородицы. Каждое утро женщины деревни приносили цветы к иконе Мадонны ди Монтеверджине, благодаря за милосердие и защиту. Легенда о чудесном избавлении юной меркольянки от насильника осталась в сердцах людей как свидетельство силы молитвы и божественной защиты. Это чудо напоминает всем нам о том, что вера может творить чудеса даже в самые темные, непростые времена.

Окончив рассказ, аббатиса замолчала. Ей казалось, что сделала всё, что могла. Агнесса никак не ожидала, что вопрос, на который не было ответа, вновь прозвучит:

— И что же мне делать теперь?

Мать-настоятельница помолчала какое-то время, а потом устало произнесла:

— Молиться и верить в провидение Господа. Наш всемогущий Бог любит чад своих. Он направит твой путь к спасению.

— Но почему Он допустил всё то, что случилось со мною?

— Кто знает, кто знает? — мать-настоятельница тяжело вздохнула. — Бога, равно как и его замыслы, невозможно понять и объяснить. Разве под силу человеку объять бесконечность? — она вновь на миг замолчала. — Но я уверена, Господь устроит всё так, как надо. Помнишь слова святого Бенедикта: «Истинный путь нашей жизни на земле — это восхождение к небесам, совершаемое смиренным сердцем по благодати Господа»[14]¹⁴. А я... Я буду молиться за тебя и всегда буду мысленно рядом.

Аббатиса встала, ее лицо было непривычно бледным. Этот разговор стоил ей немалых душевных сил. Агнесса знала, что слова вряд ли что-то изменят, но она должна была попытаться сделать хоть что-то для спасения этой мятущейся души, оказавшейся в тисках чужого греха. Мать-настоятельница положила руку на голову девушки, благословляя на трудный шаг по пути к тому неизвестному, что готовила ей судьба. Ее пальцы, обычно твердые и уверенные, слегка дрожали. Она произнесла тихо, почти неслышно:

— Иди, дитя мое и помни: ты не одинока. Даже если покажется, что весь мир отвернулся от тебя, знай, Бог всегда с тобой. Будь уверена, ты достойна любви и уважения, несмотря ни на что. Ты будущая мать, твоя жизнь — это жизнь твоего ребенка. Живи для него, ради него.

Фьорелла встала и обреченно побрела в dormitorio, чтобы переодеться в светские одежды, а Агнесса вновь направи-

¹⁴ Benedictus de Nursia. Regula sancti Benedicti. Caput 7.

лась в парлаторио. Почему-то ей было важно собственными глазами увидеть встречу этой бедной девушки и ее покровителя. Дабы любопытство, подтачивающее душу, не стало достоянием непрощенных свидетелей, мать-настоятельница заперла дверь комнатки со стороны монастыря на ключ. Она придвинула к стене, на которой виселось большое витражное окно, стул, встала на него и прильнула к стеклу, готовясь наблюдать за мирской драмой.

На улице возле раззолоченной кареты собралась толпа народу. Зевак было больше, чем нищих на богатых поминках. Лица бездельников и ротозеев, оживленные предвкушением скандала, достойного пересудов на весь квартал, были обращены к монастырским воротам. Самого князя не было видно. Вероятно, он дожидался своей подопечной в карете, предпочтя скрыться от любопытствующих глаз. Его светлость тем самым предоставил праздношатающимся фланёрам богатую почву для домыслов и измышлений, коими они оживленно делились.

Но вот ворота закрипели, вслед за этим приоткрылась дверца экипажа. Агнессе пришлось привстать на цыпочки, чтобы разглядеть девушку, неподвижно, словно мраморная статуя, застывшую возле монастырских ворот.

Фьорелла смотрела на карету и не решалась сделать шаг навстречу своей судьбе. Князь не выдержал первым. Нисколько не смущаясь зевак, он проворно выпрыгнул из экипажа, в два шага подлетел к девушке и крепко обнял ее. За-

мер на мгновение, а затем легко, как пушинку, подхватил на руки и понес к карете. Подсадив драгоценную ношу в экипаж, без проблем забрался внутрь сам, после чего хлопнул ладонью по дверце с обратной стороны, давая знак коккье-ре[15]¹⁵ трогаться.

Оживленно переговаривающаяся толпа проводила экипаж долгими взглядами. Настоятельница святой обители Санта-Мария-ди-Монтеверджинелла была в числе этих любопытствующих. Сердце ее переполнилось смешанными чувствами: праздный интерес был удовлетворен, но созерцание всего лишь одного эпизода из мирской жизни, свидетельницей которого стала, оставило на душе горький осадок, сквозь который пробивался росток легкой зависти и светлой грусти. Ей за всю свою жизнь так и не довелось испытать таких вот простых и понятных человеческих чувств.

¹⁵ Коккье́ре (итал. cocchiere) — кучер.

Глава 2

Оказавшись в карете наедине с желанной женщиной, Филанджери первым делом впился ей в губы. Жадный поцелуй не оставил Фьоре возможности даже вздохнуть. В сознании в этот момент всплыла горькая мысль: «Недолго же я чувствовала себя свободной. Птица, попавшая в силок, в момент пересаживания в клетку, наверное, тоже думает, что очутилась на воле».

Алессандро целовал зло, больно, вымещая поцелуями-укусами весь свой страх, всю тоску по ней и нескончаемую муку, которую испытывал, когда ее не было рядом. Он так дико скучал, что хотел сейчас не просто слиться с Фьореллой. Он хотел раствориться в ней! Полностью. Забыть на миг себя. Лишь чувствовать ее. Всю. От кончиков волос до кончиков розовых ногтей на ступнях.

Князь смотрел на девушку жадным, почти алчным взглядом. Ей впору было почувствовать себя единственной и избранной, лучшей из женщин, а она... Она чувствовала себя грязной, падшей и проклятой.

Филанджери непременно овладел бы Фьорой прямо там, в экипаже, если бы не сдерживающая мысль о возможной беременности. Лишь отчаянным усилием воли он подавил внезапно накотившее острое желание и заставил себя отступить. Алессандро решил, что прежде Фьореллу Паломму должен

осмотреть врач. Он обязан подтвердить или опровергнуть деликатное состояние.

Филанджери пока не знал, как поступит, если беременность окажется реальностью. В одном, впрочем, не сомневался ни на миг: он непременно узаконит ребенка и сделает это без малейших колебаний. Дитя от желанной женщины станет для него самым дорогим и долгожданным подарком. Он защитит Фьореллу, обеспечит ее покой, оградит от нападок и оскорблений, сделает всё, чтобы она выносила и родила плод его страсти. В этом у него не было ни малейших сомнений.

Его тревожило другое. Хватит ли сил выдержать месяцы воздержания, если врач запретит близость с Фьорой? Сумеет ли совладать с собой, когда она рядом — живая, теплая, принадлежащая ему и в то же время запретная и недостижимая для плотской близости?

Оторвавшись от губ девушки, Алессандро с силой провел ладонью по своему лицу, словно пытаясь стряхнуть наваждение. Нет, сейчас он не станет думать об этом. Сначала — вердикт доктора. Лишь после него можно будет решать, как поступать дальше. В конце концов, желанные губы на страждущей соития окаменевшей плоти — это очень неплохой выход из, казалось бы, безвыходного положения! До сих пор он не позволял себе требовать от Фьореллы подобных уступок. Не из сочувствия и щепетильности, а по причине изрядного терпения. Но принудит ее, вне всякого сомнения, если нуж-

да сделается невыносимой. Что-что, а притворяться святым он не станет. Будет невмочь — потребует и таких ласк.

Алессандро взглянул в опасливо настороженные глаза девушки — большие, темно-серые, как у испуганной косули.

— Я искал тебя, — произнес он тихо, почти глухо.

— Я знаю, — отозвалась Фьорелла.

— Нет, — возразил он, и в его голосе прозвучала выстрадавшая усталость. — Ты не знаешь. Я искал тебя... всю свою жизнь.

Фьорелла ничего не ответила. Она лишь отвела взгляд в сторону, будто боялась, что, встретившись с горящими страстью глазами, не сумеет удержать в себе недобрых, колких слов.

* * *

Первое, с чем Фьора столкнулась, когда вновь переступила порог ненавистной палатчины, были глаза Лукреции в атрио. Напряженные, злые. В них сквозил отпечаток глубокого расстройства. Фьорелла с горечью отвела взгляд. Ей было по-своему жаль тетку. Они обе — заложницы крайне непростой ситуации. Им бы объединиться, а не враждовать.

— Ваша жена... — промолвила она тихо, когда его светлость спросил, почему так напряглась, — она, кажется, сейчас испепелит меня взглядом.

— Не переживай, Цветочек, ей это не удастся. Запал не

тот, — ответил князь с усмешкой. — Кому-кому, а мне по-настоящему испепеляющие взгляды знакомы не понаслышке.

Фьорелла взглянула в лицо князя.

— Не бойтесь, что у синьоры Лукреции однажды лопнет терпение?

Его светлость откровенно усмехнулся.

— Ни капли. Я, *mi Tesoro*[16]¹⁶, вообще, мало чего боюсь, — он бросил неприветливый взгляд на супругу и добавил громче с уже нескрываемым сарказмом: — К тому же терпение — единственное, чем ее светлость княгиня действительно может похвастаться.

Лукреция никак не отреагировала на отпущенную в ее адрес колкость.

— Ваша светлость, мне нужно срочно переговорить с вами с глазу на глаз, — произнесла она ледяным тоном, обращаясь к князю.

Алессандро выпустил на миг руку Фьореллы.

— Ступай в свои покои, — приказал он ей.

И только Фьора двинулась к лестнице, ведущей на второй этаж, как он вновь схватил ее за руку, в мгновение ока развернул лицом к себе и с жадностью впился в губы. Этот поцелуй-демонстрация был коротким. Его целью было окончательно расставить все точки над *i*.

Фьорелла залилась краской. Лукреция, напротив, поблед-

¹⁶ *Mi Tesoro* (исп.) — мое сокровище.

нела, а сам князь с довольной улыбкой на устах произнес:

— Вот теперь точно ступай. Ожидай меня у себя. Я сейчас же пошлю за доктором. Потом объявлю тебе, как мы станем жить дальше.

Алессандро проводил Фьору взглядом, после чего обернулся к законной жене. Лукреция стояла прямо, слишком прямо, словно держалась на одной лишь упрямой выдержке. Лицо было бледно, губы сжаты.

— Неужели вы и впрямь намерены, — произнесла она наконец, подчеркнуто спокойно, — открыто сожительствовать с Фьореллой под одной крышей со мной?

Алессандро ответил не сразу. Он медленно, с раздражающей тщательностью, стянул с пальцев перчатки, бросил их на консоль и лишь потом поднял на нее взгляд.

— Это всё, что вы хотели спросить у меня? — холодно поинтересовался он. — Признаться, я ожидал чего-то иного. Мне казалось, ранее я достаточно ясно обозначил свои намерения.

Он сделал шаг ближе, и в его голосе проступила привычная сталь.

— Менять их в угоду вам я не собираюсь. В нашем... — он на мгновение усмехнулся, — треугольнике... быть лишней выпало именно вам.

Лукреция вздрогнула, но не отвела взгляда.

— Отчасти мне жаль вас, — продолжил он почти равнодушно. — Но облегчить ваше положение я не могу. Зато вы

вполне в состоянии сделать это сами.

— Каким образом? — процедила княгиня.

— Очень просто. Съезжайте с моей виллы. Вы прекрасно знаете, что у вас есть где жить. В конце концов, — он говорил так, словно речь шла о незначительном деловом решении, — я могу выделить вам палаццо в Салерно. Или замок в Понтеканьяно. Вы ни в чем не будете нуждаться.

Алессандро безразлично пожал плечами.

— Живите в свое удовольствие. Обзаводитесь любовниками, если пожелаете. А еще лучше — детьми. Делайте что угодно.

В голосе Лукреции впервые за всё время прорезалась дрожь — не от слабости, от ярости.

— Вы, как я вижу, целенаправленно подталкиваете меня к тому, чтобы я создала повод для развода.

Князь иронично изогнул бровь.

— Это было бы лучшим подарком с вашей стороны.

Княгиня сделала паузу, вбирая в грудь побольше воздуха.

— Так вот что я вам скажу, ваша светлость: не дождетесь этого. Никогда! Я — ваша законная жена. Была, есть и буду ею до самой моей смерти.

Алессандро усмехнулся, правда, без тени веселья.

— Это всё?

Он не стал дожидаться ответа.

— В таком случае считаю наш разговор оконченным. Мне недосуг разводить с вами церемонии. У меня есть дела по-

важнее.

Он развернулся, уже направляясь в сторону антикамеры[17]¹⁷, и бросил через плечо, подчеркнуто отчетливо:

— Мне нужно позвать доктора. Я должен убедиться, что моя НАСТОЯЩАЯ жена ждет от меня ребенка.

Слово «настоящая» Алессандро выделил голосом намеренно. Он даже не посмотрел, достигли ли слова цели или нет. Ему было безразлично, какую реакцию они вызвали в законной жене. Князь просто молча вышел, оставив ее одну — среди мрамора, зеркал в бронзе и унижительной тишины.

* * *

Призванный князем семейный лекарь прибыл на виллу довольно скоро. Фьоре уже доводилось встречаться с ним. Она знала: его зовут Артуро Мальвестри. Лоснящийся от ухоженности человек почтенных лет, с серебряными прядями у висков, выглядывавшими из-под опрятного с виду парика, на который вне помещений нахлобучивалась черная докторская беретта[18]¹⁸, окинул пациентку цепким и при-

¹⁷ Антикáмера (итал. anticamera) — передняя или приемная в итальянских палатцо XVIII века, служившая переходным пространством между парадными залами и личными покоем.

¹⁸ Берéтта (итал. Berretta) — традиционный головной убор, обычно четырехугольной формы, входивший в состав облачения врачей, юристов и университетских докторов в XVII–XVIII веках. Носилась как знак учености и социального статуса, часто в сочетании с париком, особенно при официальных визитах и при-

стальным взором. Он говорил мало, двигался неспешно, но в каждом слове, каждом жесте сквозила непререкаемая уверенность, обусловленная университетским образованием и десятилетиями врачебной практики.

Фьореллу проводили в малую гостиную, которую временно отвели под осмотр. Дверь за ними закрылась — и девушку охватило жгучее, почти нестерпимое смущение. До сих пор ее осматривала лишь инфермиера Тереза — хозяйка монастырского лазарета, — грубоватая, нелюдимая, но, по сравнению с этим доктором, обладающая одним неоспоримым преимуществом: она была женщиной. Теперь же перед ней стоял мужчина — пусть немолодой, пусть врач, но он — мужчина! От одной этой мысли кровь прилила к лицу Фьоры, ладони стали влажными, дыхание сбилось.

Доктор действовал с подчеркнутой аккуратностью и деликатностью, тщательно избегая лишних слов и взглядов. Его вопросы были короткими и точными, лишёнными всякой двусмысленности. Затем, так же спокойно и буднично, как это прежде делала инфермиера, синьор Мальвестри велел ей лечь на кушетку и согнуть ноги в коленях.

Фьора повиновалась, но напряжение стало почти невыносимым. Она до боли закусил губу, сжала кулаки так, что ногти впились в нежную кожу ладоней, и крепко зажмурилась. Казалось, ей было проще не видеть происходящего, чем принять его. Она понимала, что перед ней всего лишь врач, и

всё же стеснение было совершенно невыносимым.

Действовал синьор Мальвестри гораздо более предупредительно и тактично. Но даже это не могло смягчить ощущение уязвимости. Фьорелле казалось, что ее смущение слышно так же отчетливо, как и взволнованное биение сердца. Она старалась не открывать глаза и считать про себя вдохи и выдохи. Держалась, как только могла. И всё же время осмотра тянулось мучительно долго.

Когда с ним было покончено, доктор кивнул самому себе, словно подтвердив тем самым ранее всплывшие догадки.

Они вышли в большую гостиную вместе — Фьорелла, бледная, с опущенными глазами, и врач с абсолютно непроницаемым выражением лица. В парадной гостиной их уже ждали: его светлость князь собственной персоной, Лудовика Бернадетта, Лукреция Пьерина и камеристка Фьоры Алессия.

Вдовствующая княгиня, не увидев улыбок на лице вошедших, спросила взволнованно:

— Что скажете, доктор? *Sommes-nous en droit d'espérer un heureux événement?* — В праве ли мы ожидать счастливого события?

Врач не стал тянуть с ответом. Он улыбнулся и сразу же озвучил вердикт.

— Что ж, — произнес он с оттенком профессионального юмора, — вы совершенно точно можете выпить за «фрукт в

корзинке»[19]¹⁹. Советую поднять за ужином тост, чтобы он рос сладким, здоровым и крепким.

Арту́ро Мальвестри на миг замолчал, а в голове Алессандро промелькнуло, что он слышал подобный тост в несколько иной интерпретации. Моряки на его судне частенько выпивали за «хлеб, который вызревает в артесе»[20]²⁰. Надо полагать и то, и другое выражение означают ребенка в утробе матери. Впрочем, князю было недосуг размышлять над этими словесными сближениями разных языков, потому как доктор возвестил:

— К Пасхе следующего года его светлость может ожидать наследника... или наследницу.

Мальвестри улыбнулся и произнес на латыни:

— *Ita sit!* — Да будет так!

Реакции были мгновенными и совершенно разными.

Лудовика Бернадетта всплеснула руками, словно услышала благую весть, ниспосланную свыше. Алессия счастливо улыбнулась. Лукреция Пьерина побледнела, а затем пошла красными пятнами, словно жар ударил ей в лицо.

¹⁹ Фрукт в корзине (неап. 'A frutta 'int' 'o paniere) — разговорный эвфемизм, обозначающий беременность или уже зачатого, но еще не рожденного ребенка. «Корзина» в этом образе служит прозрачной метафорой материнского лона, а «фрукт» — зарождающейся жизни; выражение употреблялось в бытовой речи как мягкий, шутивно-деликатный намек на состояние женщины.

²⁰ «Хлеб, который вызревает в артесе» (исп. el pan en la artesa) — старинная испанская идиома, означающая беременность. [Артеса — глубокая деревянная кадка или корыто, в котором в Испании XVIII века замешивали и оставляли подходить тесто перед выпечкой].

Алессандро же отреагировал так, что слова стали излишними. В этой комнате было четыре женщины: та, что старалась быть его матерью; та, что, по сути, стала ею; та, что звалась его женой; и та, что считала себя для него никем, но была абсолютно всем. Князь шагнул именно к ней, Фьоре, подхватил ее на руки — властно, собственнически, как будто боялся, что могут отнять, — и понес прочь, в ее покои.

В этом жесте было всё сразу: торжество и радость, страх и почти болезненная нежность. В тот миг Филанджери действительно ощутил нечто хрупкое, щемяще-острое, от чего сладко сжалось в груди. Он понял: эта мягко ранящая боль отныне навсегда поселится в нем.

* * *

Фьорелла Паломма не сопротивлялась его действиям. Она послушно прижалась к груди князя и невольно прислушалась к учащенному биению мужского сердца — слишком живому, возбужденно-ликующему. Этот ритм отнюдь не радовал, он лишь подчеркивал, насколько необратимым для нее стал вердикт синьора Мальвестри.

Этот приговор погасил во Фьоре едва тлевшую искру надежды, что инфермиера Тереза ошиблась. Иллюзия рассыпалась, как пепел сожженного любовного письма между пальцами, оставив после себя холодную, безнадежную ясность. Не каждой надежде суждено сбыться. Некоторые да-

ны лишь затем, чтобы люди могли постичь, насколько безжалостна иной раз бывает реальность.

Князь внес Фьюру в будуар на руках и поставил на ноги с осторожностью, почти бережно. Приподняв ее лицо за подбородок, заглянул в глаза.

— Почему ты печальна? — спросил он. — Разве слова доктора не порадовали тебя?

Фьорелла мягко, но решительно отвела его руку.

— Вы правда полагаете, — произнесла она спокойно, — что меня должно радовать то, что ношу под сердцем плод греховной связи?

Алессандро убрал с лица улыбку — неуместную, как ей казалось.

— А я считаю, что ты и впрямь должна радоваться, — сказал он с нажимом. — Ты станешь матерью будущего князя. Разве этого мало? К тому же я склонен доверять мнению далеко неглупых людей. Вольтер, Руссо, Теодор Готтлиб, Гельвеций[21]²¹... Все они утверждают, что незаконнорож-

²¹ Вольтер (1694–1778), Жан-Жак Руссо (1712–1778), Теодор Готтлиб фон Гиппель (1741–1796), Клод Адриан Гельвеций (1715–1771) — видные представители европейского Просвещения, чьи идеи активно циркулировали в салонной и аристократической среде XVIII века. В их философских и публицистических текстах подвергались критике традиционные социальные и брачные нормы, превозносились «естественное чувство», сила страсти и индивидуальная свобода. На основе этих рассуждений в интеллектуальной культуре эпохи сформировался распространенный риторический мотив: мысль о том, что дети, рожденные вне формальных рамок брака, якобы отличаются большей живостью ума и характера. Этот тезис не имел научного обоснования и служил прежде всего остроум-

денные дети нередко превосходят законных. Они появляются на свет не из долга и не от скуки, а в результате страсти — взрыва жизни и чувств. А те, кто рождается в браке, слишком часто являются следствием обыденной привычки. Потому они обычно пассивны и безвольны.

Фьорелла подняла на него взгляд. Слова ее прозвучали холодно, но без привычной дрожи в голосе.

— Я не хочу иметь от вас детей, — произнесла она твердо.

Ей хотелось сказать больше: что не желает иметь с ним НИЧЕГО общего. Не хочет находиться с ним в одной комнате. Делить постель. И даже дышать с ним одним воздухом не хочет тоже. Но она сдержалась, понимая, что это лишь вызовет всплеск ярости, который может закончиться принуждением к близости. А именно этого она отчаянно боялась и не хотела.

* * *

Алессандро выслушал ее, не перебивая, и в тот же миг ощутил, как где-то внутри тонкой иглой кольнуло не раздражение даже, а самая настоящая боль. Кулаки сжались сами собой, до побелевших костяшек. Он поспешно отвел взгляд к новым каминным часам, которые выбрал, придав этой элегантной вещице особое значение: Коломбина на них — та же

ной апологией страсти, нередко используемой для оправдания личных мотивов и поступков.

Паломма, голубка, лишь на итальянский лад. Этот безмолвный символ помог ему удержать лицо и скрыть всплеск негативных чувств, поднимавшихся слишком стремительно.

Именно поэтому ответил Филанджери спокойно, почти рассудительно, однако Фьора видела запрыгавшие желваки на скулах — знак сдерживаемого гнева, в то время, как голос мужчины сделался вкрадчивым, почти убаюкивающим:

— Это говоришь не ты, мой Цветочек. Это говорит твое тело. Та часть тебя, что сейчас занята более важным делом.

Он сделал шаг ближе, обнял ее, прижав голову к своей груди, и, понизив голос до мурлыкающих глубин, произнес:

— Я слышал, что когда в женщине зарождается жизнь, ее чрево начинает защищать плод, как крепость — хранящееся в ней сокровище. Оно возбуждает внутренние соки, мутит кровь, рождает страх и отвращение ко всему, что кажется опасным или чуждым. Как понимаю, именно отсюда твоя резкость и неприязнь.

Он вновь отстранился и приподнял за подбородок ее лицо. Посмотрел пристально в глубокие и невыразимо печальные серые глаза.

— Понимаешь, *mi tesoro*[22]²², это говорит не твой разум и не твое сердце. Это так называемые маточные страсти, о которых пишут медики. Смятение чувств, вызванное переменной равновесия внутри тебя. Пройдет время — и соки вновь станут спокойны, а мысли ясны. И тогда, уверен, скажешь

²² *Mi tesoro* (исп.) — мое сокровище.

совсем иное.

Его голос стал тише, мягче, но в нем по-прежнему звучала непререкаемая уверенность в произносимом:

— Потому я слышу твои слова, но не принимаю их близко к сердцу. Сейчас в тебе говорит не будущая мать — в тебе говорит природа, исполняющая свою работу.

Алессандро снова обнял девушку и коснулся губами ее губ — мягких, нежных и до мурашек желанных. И в тот же миг почувствовал, как Фьюру передернуло. По всему ее телу пробежала судорожная дрожь неприятия. Его лицо невольно исказилось. Он ждал иного: отклика, тепла, хотя бы тени ответного порыва от той, кого так безумно желал... и любил.

Именно в эту секунду Филанджери с пугающей ясностью осознал это.

Да, он не просто вожделеет эту девушку. Он не просто одержим ею. Он любит ее! Так остро. До помутнения рассудка, до сердечного спазма, до той внутренней боли, которую не в силах заглушить ни вином, ни любым другим лекарством. И именно поэтому нуждается в иных откликах ее тела.

Любую физическую боль он привык считать усилием воли, как помеху на пути, а вот болезнь любви... Она не отступила под напором характера. Она его сломила.

Он выигрывал десятки смертельно опасных морских сражений — и проиграл самый важный поединок. Проиграл без боя. И кому? Наивной девчонке — чистой, хрупкой, трепет-

ной. Сдался без боя. Сломался. Упал к ее ногам. Готов эту слабую, беззащитную девочку на руках носить. Ноги ее целовать. Кожу ее вылизывать. Лишь бы приняла его. Лишь бы не отталкивала. А она как назло избегает его. Сторонится. Не спешит к себе подпускать. И этим лишь еще больше усугубляет его поражение.

— Я люблю тебя! — Алессандро удивился тому, как легко и гладко соскользнули с языка слова признания, которое, как думалось, никогда в жизни не произнесет.

— Любите? — в вопросе Фьореллы было больше горькой иронии, чем собственно вопроса. Казалось, она даже мысли не допускает, что такое чувство с его стороны имеет право быть.

— А тебя это удивляет? — спросил Филанджери с ноткой холодного недовольства.

Немного помолчав, Фьорелла ответила:

— «Удивляет» — не совсем верное слово. Меня ваши слова не удивляют, они вызывают горькую улыбку.

Бровь князя поползла вверх. Не дожидаясь, когда с его языка слетит что-то похлеще, Фьорелла пояснила:

— Вы и любовь — несовместимы, как буря и покой. Вы отравлены ядом страсти — в этом я не сомневаюсь, но любви ваше сердце не знает точно. Понимаете... — девушка запнулась, будто пыталась поточнее сформулировать свои мысли. — Любовь дарует крылья, а не ломает их. Она возвышает душу, а не втаптывает ее в грязь. Любовь согревает и ласка-

ет, а не клеймит и принуждает. Нет, любовь — это точно не про вас.

— И всё же я люблю тебя, — повторил князь упрямо.

— Любите? — в свой вопрос Фьора вложила всю скопившуюся в душе горечь. — А разве так любят? Так больно разве можно любить? Когда любят, хотят сделать жизнь любимого лучше. Любимый — этот тот, с кем твое сердце отдыхает, а не мается и страдает.

— Я люблю тебя. Слышишь? Люблю! — князь попытался обнять Фьореллу, но она сумела увернуться и отбежать в сторону.

— Это неправда! — девушка уже не говорила — кричала. — Если бы вы любили меня по-настоящему, никогда не прибегли бы к насилию. Вы уважали бы мои чувства и желания. Хотели бы счастья не для себя, а для меня. Именно в этом заключается любовь — желать для объекта своей любви всего наилучшего.

Немного успокоившись, она продолжила:

— Неуправляемая страсть — это вовсе не любовь. Поймите: любовь — это когда твоя душа отчаянно рвется навстречу тому человеку, которого избрало сердце, когда она жаждет сплестись накрепко с его душой, когда хочет прорасти в нем, и позволить корням его души оплести твое собственное сердце.

— Но именно это я и чувствую, — возразил Алессандро. Он подошел к стоявшему у стены креслу и устало опу-

стился в него. Опершись локтями о колени, спрятал лицо в ладонях. Посидел так какое-то время, а потом взглянул на нее с такой неизбывной тоской, что у Фьореллы на миг всколыхнулась легкая приливная волна сочувствия.

— Понимаешь, *Florecita*[23]²³, в каждом человеке, даже самом никчемном, живет мечта о счастье. Для кого-то это абстрактное понятие, для меня вполне конкретное. Мое счастье — это ты. Без тебя... пусто. Без тебя... маетно. Без тебя... больно. Вся моя жизнь с некоторых пор замкнулась на тебя. Ты — тот стержень, вокруг которого стала вращаться моя жизнь. Не будет тебя — и жизни для меня не будет.

— Но вы же как-то жили раньше без меня.

— Жил. Да. Но теперь, когда узнал, как бывает иначе, возвращаться в былое не хочу. Вернее, не смогу, потому что в моей жизни случилась... ты.

Он поднялся из кресла. Сделал несколько шагов ей навстречу.

— За истекший месяц я понял: любить — значит быть приговоренным к извечному страху потерять того, кого любишь. Это пожизненный приговор. Самый страшный.

Алессандро отчаянно хотелось сказать, как сильно боится, что она вновь исчезнет — и снова придется задыхаться от тоски по ней. Но признания в самом сокровенном были не в его правилах. Нет, он не носил бы имя Филанджери Ла Фарина, если бы еще хоть раз позволил любимой женщине

²³ *Florecita* (исп.) — Цветочек.

ускользнуть из его жизни.

— *Mi solecito, mi querida*[24]²⁴... Я чувствую по отношению к тебе такую бурю эмоций, от которой дух захватывает. Это чувство изматывает, ломает, корежит душу. Оно перестраивает все мои представления об этом мире. Штормовой волной переворачивает всё внутри меня. Испытывает на прочность мои убеждения, жизненные принципы, моральные устои. Но именно в этой буре я и нахожу смысл. И при этом отчетливо понимаю, что это самое что ни на есть настоящее, живое, подлинное, пульсирующее чувство.

Он замолчал на миг, вздохнул и выдохнул протяжно.

— Мне искренне хочется верить, что когда-нибудь ты сумеешь полюбить меня столь же сильно... — он грустно усмехнулся. — Впрочем нет, не надо... Ни к чему тебе такие бурные, разрушающие чувства. Да и мне будет достаточно от тебя лишь толики любви. Да что там говорить! Я и простую симпатию с твоей стороны почти за счастье!

Алессандро подошел к ней ближе и испытующе вгляделся в лицо. Фьорелла не выдержала взгляда и отвела глаза. Тогда он протянул руку — жест был властным, не допускающим возражений.

— Дай мне левую руку.

Она помедлила, но всё же подчинилась.

Князь сунул другую руку в карман и вынул два золотых кольца, простых по форме, но безошибочно узнаваемых —

²⁴ *Mi solecito, mi querida* (исп.) — солнышко мое, моя родная.

обручальных. То, что было поменьше, он уверенным движением надел ей на безымянный палец.

— Французы любят повторять: *L'amour attendrit le cœur*, — произнес он ровно. — Любовь, мол, смягчает сердце.

Он усмехнулся — сухо, без тени веселья.

— Мое — нет. Она его не смягчила. Она зажгла во мне огонь, который не плавит, а закаляет. Делает жестче в достижении желаемого. И теперь я точно знаю, чего хочу.

Алессандро посмотрел на Фьореллу пристально, почти не мигая.

— Я хочу, чтобы ты всегда была рядом со мной. И сделаю всё, чтобы тебе даже в голову не пришло, что можешь покинуть меня. По крайней мере — до тех пор, пока не родишь моего ребенка. А после... — его голос стал мягче, увереннее, — я знаю: ты и сама не захочешь расстаться ни с ним, ни с его отцом.

Он на мгновение умолк и надел второе кольцо — точно такое же — на свой безымянный палец.

— Без тебя мне было крайне паршиво. Не хочу погружаться в это дерьмовое состояние вновь, поэтому сделаю всё, чтобы ты всегда была рядом.

Фьорелла подняла на него взгляд.

— Вопреки моей воле и моему желанию?

— Следуя моей воле и моему желанию, — ответил он без колебаний. — Они у меня всегда в приоритете.

Он чуть приподнял ее руку, заставив обратить внимание

на украшение.

— Я заказал эти кольца у ювелира после твоего исчезновения. Знал, что обязательно найду тебя.

Князь мягко согнул ее пальцы, чтобы было виднее.

— Посмотри внимательнее. На его поверхности выгравировано: «Фьорелла Филанджери». Это для того, чтобы никогда не забывала, — продолжил Алессандро спокойно и твердо, — ты принадлежишь мне. Телом и душой. Я — твой муж. Пусть церковники не осветили наш союз, но Господь знает: мы неразрывны навеки.

Он поднял руку, показывая свое кольцо.

— Видишь? Такое же и у меня. Оно проще. Только твое имя. Это знак того, что я связан с тобой не меньше, чем ты со мной. Что я весь, со всеми моими потрохами, принадлежу тебе. Что ты — главная женщина моей жизни. Мать моих будущих детей.

Его голос впервые дрогнул — едва заметно, но достаточно для того, чтобы это нельзя было не услышать.

— Я люблю тебя. И буду любить до самой смерти. Никакая другая женщина мне не нужна.

Он посмотрел на нее гораздо более пристально.

— Пусть наш союз и не освящен церковью, но перед Богом мы уже неразделимы. Ты — моя жена. Центр моей жизни. Я — твой муж. Защитник и хранитель. Отец твоих будущих детей.

Он говорил ровно, без вспышек эмоций, словно зачитыв-

вал уже принятое решение.

— Отныне везде и всюду ты будешь находиться либо со мной, либо со своей камеристкой Алессией. На окнах твоих покоев я приказал установить решетки — не в наказание, а чтобы не возникло соблазна подвергнуть опасности себя и нерожденное дитя, спускаясь со второго этажа по связанным простыням.

Князь говорил без нажима, словно перечислял меры предосторожности, давно продуманные и отчасти приведенные в исполнение.

— Возле дверей твоих покоев попеременно будут дежурить лакеи-стражники. Все калитки, которыми могла бы воспользоваться, я велел забить наглухо. На центральных воротах всегда будут стоять двое слуг: если один отлучится, второй останется на месте.

Он сделал шаг ближе.

— Потому советую выбросить из головы любые мысли о побеге. Читай книги. Пиши стихи. Гуляй — сколько пожелаешь, но под присмотром Алессии. На прогулки за пределами виллы и любые выезды я буду сопровождать тебя лично. Все ночи и, по возможности, часы кунтроры[25]²⁵ я намерен проводить в твоей постели.

Князь умолк и пристально посмотрел на Фьору, словно

²⁵ Кунтрóра (неап. *'a cuntrora*) — самые жаркие послеполуденные часы в Неаполе (примерно с 13:00 до 16:00), когда из-за зноя жизнь замирает и принято отдыхать дома.

проверяя, дошел ли до нее смысл сказанного.

— И еще. Если в твою умненькую, но склонную к глупым поступкам головку еще раз придет мысль покинуть меня, вспомни этот день и вспомни то, что скажу сейчас. Куда бы ты не сбежала, где бы не спряталась, я всё равно найду тебя. Найду непременно. Но в следующий раз накажу так, чтобы вовек не забыла! Я уже побывал в состоянии, где в моей жизни нет тебя. Мне это не понравилась. Очень даже не понравилось. Поэтому теперь сделаю всё от меня зависящее, чтобы ты из моей жизни больше не исчезала. Никогда! Надеюсь, всё уяснила.

Фьорелла долго смотрела на него, не отводя взгляда. Затем на ее губах появилась печальная, почти безжизненная усмешка.

— А еще говорите, что любите меня... Вам будет проще убить меня, чем до конца приручить.

Алессандро ничего не ответил. Ни оправданий, ни объяснений, ни возражений не последовало. Он лишь молча отвернулся, шагнул к двери и вышел, оставив любимую девушку наедине с только что вынесенным приговором — и с ясным пониманием той реальности, в которой мужская любовь и мужская власть давно перестали быть взаимоисключающими понятиями.

Уединившись в кабинете с Артуро Мальвестри, Алессандро плотно прикрыл дверь и жестом предложил доктору присесть. Сам же остался стоять у окна, спиной к свету, скрестив руки на груди. Нетерпение князя было заметно, но он изо всех сил пытался сдерживать его. И в первую очередь его, конечно, интересовало состояние Фьореллы Паломмы.

Мальвестри начал говорить обстоятельно, как человек, привыкший не только лечить, но и разъяснять мотивы своих действий, особенно для тех, кто не привык ждать. Врач подтвердил то, что Алессандро уже и так понял: Фьорелла вступила в третий месяц беременности. Плод, по его словам, «уже дал о себе знать», тело девушки перестроилось, матка приняла новую жизнь, но вместе с тем *fœtus adhuc tener est* — плод еще не вполне укрепился. По словам доктора, это «состояние перехода: уже не хрупкое начало, но еще и не та устойчивость, которую акушеры называют *gestatio tranquilla* — „спокойным вынашиванием“».

«Внебрачный сын Гиппократы»[26]²⁶ понял, что именно

²⁶ Внебрачный сын Гиппократы (франц. le bâtard d'Hippocrate) — ироничное обозначение врача в галантной и сатирической речи XVII–XVIII веков. Формула зафиксирована в труде Клода де Комэза (Claude de Saumaise, *Le grand dictionnaire des précieuses, ou la clef de la langue des ruelles*, 1660), известном как своеобразный «ключ» к эвфемистическому и альковному языку светского общества. Выражение подчеркивало двусмысленное положение врачей, допущенных в интим-

интересует князя, и, слегка нахмурившись, позволил себе осторожное нравоучение — не настойчивое, скорее профессионально-сдержанное. Он напомнил, что синьорина Сильвестри не замужем, что ее положение неминуемо станет предметом пересудов и что общественная мораль не благоволит к незаконным плотским связям. Однако почти сразу отстранился от этих соображений, словно от чуждой ему области: судить — дело не врача, а Бога. Его же обязанность куда прозаичнее — предостеречь от нежелательных последствий.

И потому он принялся рассуждать о сроках. До четвертого месяца — то есть примерно до девятого — десятого октября — доктор рекомендовал воздержание. Не категоричный запрет, а разумную паузу.

— Врачи, — сказал он, — считают середину срока самой благоприятной для плотских отношений супругов. Четвертый и пятый месяцы — время, когда плод уже укрепился, но матка еще не отягощена. В этом периоде, — Мальвестри позволил себе легкую улыбку, — риск самопроизвольного изгнания минимален, а телесная близость допустима и даже полезна — для равновесия соков, для спокойствия женщины, для предотвращения так называемых «маточных страстей»: истерии, тоски, подавленного томления.

Алессандро понял, что самый «спокойный период» начнется к середине осени и продлится примерно до десятого

декабря.

— Но... — и тут врач сделал паузу, тщательно подбирая слова, — я не налагаю строжайшего запрета на близость. Беременность синьорины Фьореллы протекает ровно, без угроз. При насущной необходимости соития возможны. Однако с предельной осторожностью: без резких движений, без чрезмерного жара, без того, что может взбудоражить тело сверх меры. Умеренность и аккуратность — вот девиз сентября и начала октября. Бóльшую волю можно будет позволить себе позже. Но не теперь.

Когда доктор умолк, в кабинете на несколько мгновений воцарилась тишина. Алессандро повернулся к окну. Он смотрел в сад, на розарий, где Фьорелла когда-то гуляла среди белых роз. Филанджери отчетливо помнил эту картину: ее нежный профиль, легкий наклон головы, грациозные движения тела и рук.

Она теперь снова рядом. Под его крышей. В его доме. В пределах его объятий. И, похоже, на какое-то время недосыгаема. Сможет ли он вытерпеть? Сдерживать себя, когда желанная женщина рядом, когда чувствует ее присутствие каждой частицей тела, когда она носит под сердцем его дитя... А ему... Ему нужно постоянно помнить о расчетах, сроках, осторожности. Похоже, это будет очень мучительно.

«Видит око, да зуб неймёт», — вспомнилось ему с горькой усмешкой, словно сам Лафонтен нарочно подsunул эту бас-

ню[27]²⁷ в сознание, насмехаясь над связанностью человеческой воли: желаемое перед глазами, страсть обостряет зрение, но не приближает к обладанию. Разум вынужден изыскивать терпение там, где сердце требует немедленных действий.

Можно, конечно, следуя испанской поговорке: «*el que no mira, no suspira* — тот, кто не видит, не вздыхает», — попробовать ограничить контакты с Фьорой на этот срок. «Не буду приходить к ней — не будет этой невыносимо болезненной необходимости пожирать взглядом каждую деталь ее юного нежного тела», — думал он. Но что-то подсказывало: при всём желании, он попросту не сможет не видеть Фьореллу Паломму.

Алессандро сжал кулак. Он привык брать то, что хотел и когда хотел. Привык действовать, а не выжидать. И всё же теперь ему предстояло испытание куда более трудное, чем любое сражение: обуздать самого себя, свои страстные порывы, хотя бы до октября. По всей видимости, придется в предстоящий месяц «исповедоваться без остановки»[28]²⁸.

²⁷ Имеется в виду басня «Лисица и виноград» (франц. *Le Renard et les Raisins*, Жан де Лафонтен, кн. III, басня XI). В басне лисица видит спелый виноград, но не может до него дотянуться и, утешая себя, объявляет плоды «слишком зелеными». В европейской традиции XVIII века этот сюжет стал устойчивым образом желания, которое ясно осознается, но остается недоступным — ситуации, близкой к русской пословице «видит око, да зуб неймет».

²⁸ Исповедоваться без остановки — ироничный эвфемизм XVIII века, намекавший на мастурбацию. В христианской морали эпохи эта практика считалась тяжким грехом (лат. *peccatum solitarium*), требующим регулярной исповеди и

Князь поблагодарил Артуро Мальвестри, отпустил доктора, и лишь когда дверь за ним закрылась, позволил себе долгий, медленный выдох.

Ничего. Он и это вытерпит, как выдерживал куда более суровые испытания. Воздержание — всего лишь очередная проверка силы воли. Он умеет побеждать не только врагов, но и самого себя. Главное — Фьорелла Паломма теперь рядом, под его крышей, в пределах досягаемости рук и взгляда. Остальное — вопрос времени. А время, если Бог позволит, к Пасхе будущего года обернется тем, что он с замиранием сердца будет держать на руках собственного наследника, рожденного любимой женщиной!

* * *

Оставшись одна, Фьорелла еще долго стояла неподвижно, прислушиваясь к тишине, в которой не до конца растворились слова безжалостного приговора. Лишь спустя время она медленно опустилась на край кресла, будто ноги внезапно утратили силу, и машинальным жестом сняла кольцо с безымянного пальца.

На внутренней стороне золотого ободка блеснула тонкая гравировка. Фьорелла поднесла кольцо ближе к глазам, вгля-

покаяния. Именно поэтому образ «непрерывной исповеди» иронически намекал на повторяемость проступка и на необходимость вновь и вновь очищать совесть перед духовником.

дываясь в латинские буквы. «*Tuus corpore et anima*[29]²⁹. — Твой телом и душой», — вот что гласила надпись. Слова ото-звались в сознании, как чужой обет, произнесенный без ее согласия и принятия. Почти брачная формула — но без ал-таря, без благословения, без свободы выбора.

Фьорелла сжала кольцо в ладони, а другой рукой прикос-нулась к животу — туда, где уже обосновалось нечто незри-мое, но неотвратимое, то, что, по всей видимости, навсегда изменит ход ее жизни.

— Не знаю... — прошептала она вслух, — смогу ли я ко-гда-нибудь полюбить тебя...

Голос дрогнул. Она умолкла, собираясь с силами, будто каждое следующее слово требовало отдельного усилия.

— Возможно, ты станешь для меня тяжелым испытанием. Возможно — спасением. Мне не дано предугадать, как от-зовется сердце, когда ты явишься на свет... и хватит ли сил дать тебе то, что иные матери отдают без раздумий и сомне-ний.

Снова тишина. Глубокая, почти молитвенная.

— Но одно я знаю наверняка, — продолжила она уже тверже, — полюбить твоего отца я не смогу никогда. Ни сей-час. Ни потом. Ни ради тебя, ни ради собственного успоко-ения.

²⁹ Усеченная надпись, характерная для гравировок на обручальных кольцах. В целом читается так: (*Ego sum*) *tuus corpore et anima*. — (Я есть) твой телом и душой.

Она горько усмехнулась.

— Мне трудно понять, почему Господь наделил такой внешней красотой человека с такой некрасивой душой...

Фьорелла закрыла глаза, прислушиваясь к себе.

— Если мне и суждено стать матерью, это будет мой выбор. Мой путь. Мой крест. Но уж точно — не победа его светлости надо мною.

* * *

Неделю спустя тишину в покоях Фьореллы нарушил шорох шелкового платья. Ее навестила Лукреция Пьерина. С самого дня возвращения на виллу Фьора не виделась с теткой. Всё это время его светлость князь держал свою вновь обретенную пропажу взаперти, словно опасался, что может исчезнуть снова.

Еду девушке приносили прямо в комнаты, освобождая ее от тягостной необходимости спускаться к общим трапезам. Пищу для нее готовила исключительно Алессия. Такого было распоряжение князя. Фьора не совсем понимала, чем именно оно было вызвано, но принимала покорно, впрочем, как и всё остальное.

Покои Фьореллы стали для нее тесным, замкнутым и пропитанным чужим присутствием миром. В большинстве случаев, во время вынужденных отлучек Алессии, к ней в будуар приходил князь. Иногда они вдвоем спускались в парк,

медленно проходили по тенистым аллеям, в которых уже ощущался робкий приход осени.

Его светлость неустанно пытался вызвать ее на разговор, подбирая слова, словно ключи к заржавевшему замку. Он задавал вопросы, предлагал темы для обсуждения, расспрашивал о ее детстве, о родителях, об увлечении сочинительством, но Фьорелла отвечала лишь короткими, безжизненными фразами, словно каждое слово приходилось вымучивать из себя. Видя ее безучастность, мужчина порой просто опускался в глубокое кресло и притягивал девушку к себе. Усадив ее на колени, прятал лицо в облаке волос и замирал, вдыхая аромат с такой жадностью, будто боялся, что она вновь растворится в воздухе, едва разомкнет объятия.

Ночи и часы послеобеденной кунтроры подчас становились для Фьоры самым тяжелым испытанием. По счастью, за эту утомительную неделю князь не требовал от нее плотской близости, однако его тяга к обладанию ею принимала иные, не менее тягостные, формы. Он заставлял ее сбрасывать все одежды и, обнажившись сам, заключал ее в тиски своих рук. В этой тесной близости, прижавшись своим разгоряченным телом к ее коже, он как-то быстро успокаивался и проваливался в глубокий сон. Фьорелла же часами лежала без движения, задыхаясь в жарких объятиях и глядя в темноту широко открытыми глазами, в коих не было места ни сну, ни успокоению.

Стоя напротив Лукреции, Фьора сцепила пальцы у живо-

та так крепко, словно боялась, что они разомкнутся и выдадут дрожью ее напряжение. Мысли метались, путались, липли одна к другой. Сознание ее было пропитано сомнениями, как погреб после наводнения затхлой влагой: тяжело, неприятно, без возможности полной грудью вздохнуть.

Иногда ей казалось, что всё произошедшее — лишь дурной сон, наваждение. Что стоит проснуться — и окажется, что чрево пусто, что в нем не поселилась частица греха, не укоренилась запретная жизнь. А иногда, напротив, Фьора с пугающей ясностью ощущала в себе дитя его светлости — и тогда стыд накатывал волной, горячей и липкой, смешиваясь со страхом, безнадежностью и тошнотой.

Так было и теперь. А неприязненно-цепкий взгляд тетки лишь увеличивал количество колких холодных мурашек, бегающих по коже.

Лукреция смотрела и молчала. Под ее давящим взглядом Фьорелле стало крайне неудобно.

— Вы же знаете, — промолвила она наконец, — что я всего этого... не хотела... — произнесла она робко.

— Если бы не хотела — не понесла бы, — отрезала княгиня холодно, словно подводя черту под вынесенным приговором. — Как так вышло? Ты не пила капли, которые я приобрела для тебя у синьора Манфреди?

— Конечно, пила! — вспыхнула Фьорелла. — Я всё делала так, как велел синьор Джироламо. Всё, как он сказал.

— Тогда что же случилось? — голос Лукреции стал еще

суше. — Почему они не действовали?

— Я не знаю... — растерянно прошептала Фьорелла. — Я мало что смыслю в подобных вещах.

Взгляд княгини, тяжелый, внимательный, лишенный всякой жалости, медленно опустился на ее живот. От этого Фьорелле стало не по себе. Она инстинктивно обхватила себя руками, будто пытаясь заслонить того, кто жил внутри. Защитить его. Или хотя бы спрятать.

— Ты должна избавиться от этого ребенка, — произнесла Лукреция жестко, без малейшей тени сомнения.

— Но...

— Никаких «но»! — резко оборвала она. — Этот ребенок навсегда привяжет тебя к его светлости. Ты ведь не настолько наивна, чтобы этого не понимать?

— Я понимаю, — голос Фьореллы дрогнул. — Но... убить ребенка... Он же ни в чем не виноват. Ни в чем! Как я потом буду жить? Как? Зная, что загубила чистую, ни в чем не повинную душу? Я же не смогу спать по ночам...

— Будто сейчас ты спишь спокойно, — буркнула княгиня, а затем, повысив голос и не скрывая неприязни, добавила: — Или вошла во вкус, и тебе нравится то, что мой супруг делает с тобой ночами?

Фьорелла резко, как от пощечины, вскинула голову. Глаза ее наполнились слезами.

Лукреция сделала шаг вперед. В ее взгляде не было ни сочувствия, ни сомнений — лишь холодная, выверенная ре-

шимость человека, который давно всё взвесил и обдумал.

— Ах, Фьорелла, — произнесла она на выдохе гораздо мягче, почти елейно, — я же не советую тебе бросаться со скал в пучину. Поверь: я не желаю тебе зла и не хочу, чтобы ты действовала себе во вред.

— Тогда... зачем вы так говорите? — прошептала Фьора.

— Затем, — спокойно ответила Лукреция, — что в жизни важно знать, с какой стороны хлеб намазан маслом[30]³⁰. Понимать, где твоя выгода, а где — гибель. Иначе либо испачкаешься, либо останешься голодной.

Княгиня прищурилась.

— По здравом размышлении ты и сама должна понять: родить ребенка от князя — значит навсегда заклеить себя. Огради себя от этого! Избавься от ублюдка!

Фьорелла отвернулась, словно удар получила.

— Я не хочу о нем в таком ключе даже думать, — тихо сказала она. — Мне кажется, стоит лишь мысленно назвать его подобным образом — и я стану дурным человеком. Я хочу, чтобы всего этого не было... а потом ловлю себя на этой мысли и начинаю ненавидеть за нее.

— Нет, Фьора, ты не плохой человек, — резко перебила Лукреция. — Плохие не мучатся. Они не сомневаются. А ты... Ты просто напугана.

³⁰ Знать, с какой стороны у хлеба масло (неап. Sapè addó 'o pane tene 'o burro) — неаполитанская идиома, означающая понимать, где выгода, разбираться в собственных интересах, действовать расчетливо и себе на пользу.

Княгиня понизила голос.

— Но страх — роскошь для таких, как ты. Ты должна действовать и сама вершить свою судьбу.

Наступила пауза. Затем Лукреция добавила тише, но с нажимом:

— Средство синьора Джироламо надежно. Он не стал бы рисковать своим именем. Ты либо ошиблась в дозировке, либо... семя князя оказалось слишком сильным. Исправь это. И покончи с бедой, пока она не поглотила тебя целиком. Убей бастарда еще в чреве. Сделать это, когда он родится, будет гораздо сложнее.

— Не говорите так... — Фьорелла прижала ладонь к животу. — Там... кто-то есть. И он наверняка слышит вас. Я это чувствую.

Лукреция посмотрела на нее с едва сдерживаемым раздражением.

— Ты чувствуешь не «кого-то», а настоящую беду, которая разрушит всё. Твою жизнь. Твою репутацию. Твое имя. Мой дом. Мою жизнь, если уж на то пошло.

Княгиня перешла на повышенный тон. В ее голосе звучали упрек и недовольство.

— Я не призываю тебя быть жестокой, Фьора. Я призываю быть благоразумной.

— А если я после этого не смогу спокойно жить?

— А если родишь — сможешь? — резко ответила княгиня. — Думаешь, мир будет справедлив к тебе? К нему? —

она выпрямилась, словно ставя точку. — Иногда, чтобы выжить, нужно не путать жалость с глупостью и не быть похожей на собаку дяди Пеппино, которая и на мессу не идет, и дома не остается[31]³¹. Прими уж, наконец, решение. И сделай то, что должно.

Лукреция холодно посмотрела на племянницу.

— Ты ведь знаешь: я дело говорю. Ты должна, повторяю, должна сделать это. И не устраивай здесь театр[32]³²! Прими втрое больше капель — и забудь всё, как страшный сон.

В этот момент в будуар вошла Алессия. Она успела услышать последние слова княгини. Вступать в перепалку с ее светлостью прямо камеристка Фьоры не могла — слишком уж скромным было ее положение, — но взгляд, которым она одарила тетку своей госпожи, оказался более чем выразительным и откровенно недружелюбным.

Не сказав больше ни слова, Лукреция резко развернулась и вышла из будуара племянницы.

Когда Фьора и Алессия остались в комнате один на один, камеристка внимательно, почти испытующе посмотрела в глаза девушки.

— Синьорина Фьорелла... вы... и впрямь думаете... из-

³¹ Как собака дяди Пеппино: и на мессу не идет, и дома не остается (неап. *Comme 'o cane d' 'o zi' Peppino: né va a' messa, né resta 'ncasa*) — старое неаполитанское присловье о человеке, которому всё по нраву и который нигде не находит себе места.

³² Не устраивай театр! (неап. *Nun fa' 'o teatro!*) — неаполитанская идиома со значением «не разыгрывай сцен», «не драматизируй».

бавиться от ребенка? — задала осторожно вопрос Алессия. Ее голос дрожал от волнения. — Ведь, как я поняла, ее светлость княгиня призывала вас именно к этому.

Фьора не ответила сразу. Она была растеряна. Разговор с Лукрецией подбросил новые поленья в костер сомнений, разжег неуверенность и растерянность, коим она и без того не знала, как противостоять.

И всё же мысль применить средство синьора Манфреди, чтобы изгнать плод князя из себя, по какой-то непонятной причине упорно не желала пускать корни в ее душе.

Чисто умозрительно, Фьора хотела, чтобы ее чрево было пусто, но предпринимать что-либо для этого готова не была. Есть грани, перейдя которые, теряешь часть души. Перестаешь быть тем, кем была ранее. Фьорелла на это пойти не могла. Не из страха Господнего наказания, нет, а просто по природе своей. Она даже мысли подобной не допускала.

Для крохи, поселившегося внутри, она была источником жизни — ее кровь питала его, биение ее сердца отдавалось его пульсом. Разве он виноват в том, что сотворил его отец? Разве на нем лежит грех за то, что возник в ее теле? Он не просился в этот мир — но имеет право прийти в него и жить. И не ей вершить его судьбу. На всё воля Божия, ей же остается лишь склониться и принять предначертанное, смирившись.

Недаром аббатиса Агнесса учила: к замыслу Господню надлежит возвращаться мыслью снова и снова. Глядишь, со

временем не только свыкнешься с этой ношей, но и примешь ее всем сердцем.

— Нет, Алессия, я не избавлюсь от ребенка, — повернувшись к камеристке лицом к лицу, произнесла Фьорелла твердо.

И вдруг увидела, как напряженные черты служанки ослабились, а губы расплылись в теплой, искренней улыбке — словно солнце выглянуло из-за туч. И почему-то от этого полегчало на душе и у самой Фьоры.

Глава 3

В былые годы Алессандро Филанджери не терпел чужого присутствия в час своего пробуждения. Ему нравилось вольготно распоряжаться первыми мгновениями дня: валяться в одиночестве на смятых простынях, созерцая игру солнечных зайчиков на балдахине, и неспешно выстраивать в голове планы на грядущий день.

Со всеми женщинами, делившими с ним ложе, он поступал одинаково — избавлялся от их общества, едва стихало пламя страсти. Даже Дезидерия Варгас, связь с которой длилась годы, знала одно незыблемое правило: по окончании акта любви она должна была удалиться в свои покои.

Но теперь всё изменилось. Впервые в жизни Алессандро открыл для себя тягучее, сладостное утреннее удовольствие: наблюдать за пробуждением другого существа — своего маленького и нежного Цветочка.

Он смотрел на спящую Фьореллу, и в груди его разрасталось странное чувство — смесь обожания и щемящей нежности, от которой сердце, казалось, вот-вот рассыплется на миллион хрустальных осколков.

Сейчас девушка была обнажена. Алессандро настоял на этом. Он не желал, чтобы между их телами находилась, пусть даже тончайшая, в виде батистовой камизы, но всё же преграда. В этот долгий месяц принудительного воздержания он

не мог обладать Фьорой всецело и потому жадно впитывал тепло ее кожи, стараясь компенсировать невозможность соития остротой тактильных ощущений.

За прошедшие недели Фьорелла неуловимо изменилась. Линии ее тела стали мягче, живот и бедра чуть округлились, обретая зрелую, манкую плавность. Грудь налилась и слегка потяжелела. Прежде нежно-персиковые, ореолы расширились и потемнели, приняли глубокий оттенок спелого ореха, а сами вершинки сделались более упругими и отзывчивыми на прикосновения. Округлившись ягодицы и вовсе казались ему слаще, чем *nata montada* — взбитые сливки, только что снятые с венчика.

Алессандро замирал от восхищения, глядя на эти метаморфозы. Если прежде он млел от ее девичьей хрупкости, то теперь, видя, как в ней расцветает женщина и мать его будущего ребенка, чувствовал, что тяга к ней, его одержимость перерастает в иное, более глубокое и наполненное чувство.

Первые дни после возвращения Фьореллы стали для Алессандро изощренной пыткой. Он часами заворуженно наблюдал за ее сном, а после, стиснув зубы до скрежета, железной волей выдергивал себя из ее покоев.

Оказавшись у себя, Филанджери следовал древнему обычаю[33]³³ моряков, чья плоть на военных судах долгие меся-

³³ В XVIII веке суда уходили в плавание на долгие месяцы, а то и годы, и моряки, вынужденные томиться без женского общения, могли удовлетворить естественные потребности разве что во время редких остановок в портах. Появление на борту женщины неизбежно вносило в ряды «изголодавшихся» матросов сму-

цы не знала женского тепла. Там, в тишине туалетной комнаты, он изливал желание в собственную ладонь, до боли сжимая пальцы и представляя, как входит в податливое тело любимой женщины. А после в ярости кривился, отворачиваясь от зеркала, чтобы не видеть себя в этот момент. Называл самоудовлетворение *una flaqueza despreciable* — жалкой, презренной слабостью. Князь ненавидел себя за этот суррогат страсти, за то, что его железная воля пасует перед ароматом нежного Цветочка, заставляя, точно желторотого юнца, искать утешения в собственной ладони.

Казалось бы, решение было под боком — в соседнем крыле спала законная жена, чьи пышные формы когда-то казались ему вполне привлекательными. Но в этом-то и заключался парадокс охватившего его безумия: мысль о близости с княгиней вызывала почти физическое неприятие. Алессандро жаждал лишь Фьореллу. Страждущее нутро требовало именно ее уязвимой утонченности. Никакая подмена не могла утолить тот хищный голод, что разрастался внутри.

Вскоре так называемых «иезуитских уловок»[34]³⁴ ему стало мало. Алессандро не был подростком, терзаемым пер-

ту, поэтому даже красивых наложниц морские завоеватели на борт предпочитали не брать. Именно поэтому среди моряков было довольно широко распространено плотское самоудовлетворение.

³⁴ Прибегать к иезуитским уловкам (исп. *Recurrir a las llamadas artes jesuíticas*) — устойчивое выражение XVIII века, означающее лукавство, казуистику и попытки оправдать предосудительные поступки (в этом случае — мастурбацию). Термин стал популярным после изгнания ордена иезуитов из Испании в 1767 году.

выми порывами плоти, но сейчас поистине чувствовал себя зверем в клетке. *Una debilidad vergonzosa*[35]³⁵ не приносила должного удовлетворения, ведь под его крышей жила та, к кому тянуло с силой океанского прилива.

И тогда Алессандро придумал такую штуку: он ложился к Фьоре в постель в костюме рождения, заставляя обнажаться полностью и ее саму. Только так, прижавшись кожа к коже, он мог утихомирить оголодавшего зверя внутри себя. Филанджери держал ее спящую в своих объятиях и улыбался, как дворовый пес, стащивший у хозяйки сахарную косточку. Вдыхал ее запах и жмурился от удовольствия. Касался губами шелковистых волос и млел от невыносимого счастья, вызванного телесной близостью. Эта возможность чувствовать каждый изгиб желанного тела была сродни яду, вызывающему привыкание, — интимно, сладостно и... невыносимо мало.

Когда же состояние *el fuego en los lomos* — «постоянного огня в чреслах» — стало фоном его существования, Филанджери предпринял иной выход из положения. Всё также полностью оголившись и лишая одежды Фьору, он зажимал в ее кулачке свой пульсирующий от напряжения орган, водил вверх-вниз, а потом, глядя в манкие серые глаза, которые она то и дело пыталась прятать, зло изливался семенем на ее живот, бедра и грудь. Клеймить любимую женщину собою, видеть ее покорность и смирение — всё это подпитыва-

³⁵ *Una debilidad vergonzosa* (исп.) — постыдная слабость.

ло его раздувшееся чувство собственничества, даруя пугающее чувственное удовлетворение.

Однако минувшая ночь оставила в душе Алессандро неприятный осадок. На лице Фьореллы в момент ставшей уже привычной забавы мелькнула тень такого глубокого, нескрываемого отвращения, что он на мгновение опешил от пронзившей грудь боли. Его хлестнуло осознанием: она всё еще не приемлет его.

Когда же Фьора наконец поймет, что он — единственный мужчина в ее жизни, ее альфа и омега, удел до гробовой доски? Что других он попросту не допустит. Ни за что! Когда научится любить его? Когда их близость станет по-хорошему волновать ее? Когда на ее лице он будет считать отголоски их общей страсти, а не это смиренно-неприятное выражение?

Ослепленный внезапной вспышкой гнева и отчаяния, Алессандро заставил Фьору открыть рот и кончил прямо в горло, принудив сглотнуть «белое молоко». Девушка скривилась, попыталась сплюнуть семя в платок, но под его давлением сдалась и выполнила приказ.

Заметив, с какой гадливостью она вытирает ладошкой губы, Филанджери еще больше вспылil. Он сказал, что до сих пор ни разу не принуждал ее к оральным ласкам. Но, если будет и дальше вести себя с ним с таким неприятием, он обязательно заставит ее взять в рот свой изнывающий по ней орган. Алессандро разразился угрозами, обещая вменить ей

это в обязанность, если наконец не сменит неприязнь на желание. Однако то, что прочел в застывшем взгляде в ответ, заставило его умолкнуть.

Какая же гадкая напасть это неизбывное влечение! Страсть толкает его на поступки, о которых минуту спустя приходится искренне сожалеть. Всю оставшуюся ночь Алессандро прижимал Фьореллу к себе, слушая почти беззвучные слезы, и каждое вздрагивание нежного тела отзывалось в сердце тупой ноющей болью. Ему хотелось кричать о своей любви, упасть на колени, осыпать ее поцелуями, молить о прощении за свое безумие. Но княжеская гордость, эта старинная фамильная корация[36]³⁶, не позволила вымолвить ни слова. Он просто прижал к себе Фьюру крепче и молча целовал волосы, пока она ближе к рассвету, наконец, не успокоилась и не забылась глубоким сном.

Так настанет ли время, когда эта любовная пытка не будет мучить его так безжалостно?!

Вспомнив, что долгожданная дата, назначенная доктором Мальвестри, наступит уже завтра, Алессандро облегченно выдохнул. Десятое октября — день окончания его добровольной аскезы. Скоро он познает все *las dulzuras y deleites del amor* — сладости и восторги любви — не в постыдных, извращенных формах, а в той полноте ощущений, что пред-

³⁶ Корация (итал. corazza, от лат. coriacia, от corium — кожа) — кираса, броня, общее название элементов исторического нательного защитного снаряжения, состоящего из грудной и спинной пластин (иногда — только из грудной), изогнутых в соответствии с анатомической формой груди и спины человека.

писана самой природой.

Филанджери вновь окинул взглядом изящную фигурку спящей девушки: сливочную кожу, малиновые наверхия упругой груди, чуть заметный холмик живота — уютное гнездышко их ребенка — и темный треугольник волос между молочно-белых бедер. Он вновь вздохнул. Нет, всё-таки десятое октября наступает очень кстати. Наконец-то можно будет позволить себе соитие с любимой, а не его жалкую пародию. А то ему уже невмочь мыслить одним лишь гульфиком. Этот диктат плоти, подменивший собой разум, доводил его до иступления, превращая бесстрашного морского офицера в раба собственных чресел.

Протяжный мужской вздох прервал сон девушки. Она медленно открыла глаза, уставилась сначала невидяще в потолок, а потом резко повернула голову в сторону Алессандро. Разочарование, промелькнувшее в ее глазах, привычно кольнуло его сердце. Поняв, что он оглаживает взглядом ее обнаженное тело, Фьора резко потянула на себя покрывало, прикрылась до шеи.

— Вы еще здесь? — в ее голосе не было вопроса, лишь усталая горечь.

— Цветочек мой, — Филанджери постарался придать голосу ту бархатистую мягкость, что всегда действовала на женщин безотказно, — пора бы уже привыкнуть к моему присутствию в твоей постели. Наш ребенок свяжет нас крепче любых церковных таинств. Начинай вести себя как подо-

бает моей истинной жене.

— У вас есть ЗАКОННАЯ жена, — тихо, но твердо возразила она. — А я... я лишь ваша... временная постельная игрушка. Так считают все в этом доме.

— Неважно, что считают «все». Важно, что чувствуем мы с тобой.

— А разве могу я чувствовать что-то иное после минувшей ночи? Сомневаюсь, что вы заставили бы княгиню... глотать ваше семя.

Алессандро вдруг раскатисто, почти весело рассмеялся.

— Фьора, *mi delicia*[37]³⁷, если бы я хотел свою жену хотя бы в сотую долю той силы, с которой жажду тебя, я бы сотворял с ней вещи, от которых покраснели бы даже демоны в аду. И княгиня восприняла бы это с большим энтузиазмом. Пойми же, *Tontuela*[38]³⁸, я берегу тебя. С тобою я деликатен до крайности!

Одним движением он перекатил девушку на себя, прижимая хрупкое тело к своей мощной груди.

— Слышишь? Слышишь, как бьется мое сердце? Оно выстукивает твое имя. Оно жаждет ответного удара, ответного чувства. Запомни этот ритм: оно бьется исключительно для тебя.

— Прошу вас, замолчите, — Фьора зажмурилась. — Ваше сердце принадлежит вам. Оно бьется для вас и только для

³⁷ *Mi delicia* (исп.) — моя улада.

³⁸ *Tontuela* (исп.) — ласковое «глупышка».

вас. Попробуйте обуздать свои чувства, ваша светлость. Так будет проще... всем нам.

— А я не ищу легких путей! — в его глазах вспыхнул опасный огонь. — На море я привык побеждать, и отступить не умею. Я добьюсь твоей любви, *mi bella*[39]³⁹. Такая страсть, как моя, по всем законам мироздания должна быть вознаграждена ответным чувством. Как там у Шекспира? «*Grace for grace and love for love...*»[40]⁴⁰ — благосклонностью за благосклонность и любовью за любовь».

Фьорелла попыталась осторожно высвободиться, и на этот раз он позволил соскользнуть с себя.

— Так уж и быть, сегодня я не трону тебя. Но завтра... завтра я сполна заберу всё, что принадлежит мне по праву любви. Доктор сказал, что второй триместр — самый безопасный срок, когда соитие отца и матери ничем не навредит ребенку. Мне и так медаль за выдержку положена. Я целый месяц проявлял чудеса самоотверженности: не брал тебя так, как хотел. Так что цени мое к тебе трепетное отношение.

На губах Фьореллы заиграла горькая, почти незаметная улыбка.

Алессандро повернулся набок и, склонившись над ней, запечатлел долгий, почти благоговейный поцелуй на губах, после чего осыпал нежными касаниями ее веки, лоб, щеки и

³⁹ *Mi bella* (исп.) — моя красавица.

⁴⁰ Уильям Шекспир, «Ромео и Джульетта», действие второе, явление третье (слова Ромео). Перевод Аны Менски.

кончик носа.

— *Mi vida...* — прошептал он. — *Eres mi cielo y mi pequeño universo. Cuando te miro, todo lo demás deja de existir. Solo a tu lado vivo de verdad. Si me pierdo, es en ti; si me encuentro, es únicamente en tu mirada. Quédate conmigo siempre, amor mío. Sin ti no soy nada... contigo lo soy todo*[41]⁴¹.

Почувствовав, что еще мгновение — и он нарушит данное себе слово, Алессандро рывком поднялся. Он накинул на полностью обнаженное тело тяжелый шелковый баньян[42]⁴², затянул пояс и направился к выходу. У самых дверей обернулся, бросил последний, полный голодного обожания взгляд на девушку, лежащую на кровати, и вышел, затворив за собой дверь персонального рая, ставшего для Фьоры золотой клеткой.

* * *

Княгиня ди Сатриано и ди Арианиелло сидела у низкого

⁴¹ Жизнь моя... Ты — мое небо и моя маленькая вселенная. Когда я смотрю на тебя, всё остальное перестает существовать. Только рядом с тобой я живу настоящему. Если я теряю себя — то в тебе; если нахожу — то лишь в твоём взгляде. Будь со мной всегда, любовь моя. Без тебя я — ничто, с тобой — я обретаю всё (исп.).

⁴² Баньян (порт. *banian* ← араб. *ناي نيب* — торговец) — просторный халат, мужская и женская домашняя одежда, распространенная в европейской моде в XVII–XVIII веках. Появился в подражание японским кимоно, привезенным в Европу Голландской Ост-Индской компанией в середине XVII века.

кофейного столика в своем будуаре. Палаццина князя умела притворяться легкомысленно-невинной и игривой. Рокайльные завитки на выбеленных панелях, позолота, словно осевшая на стены и по углам тончайшая пыль от резвящихся в небе амурчиков, галантные сценки на живописных полотнах, пастушки с овечками на гобеленах, путти[43]⁴³ и голубки под потолком — всё это было слишком идиллическим, не соответствовавшим ни обстоятельствам, ни настроению.

Зеркала в резных бронзовых рамах множили эту роскошь, множили и ее саму: Лукрецию Пьерину, законную супругу князя, женщину, которой этот дом принадлежал по праву церковного венчания и королевской печати на рескрипте.

Фарфор на кофейном столике был безупречен: тончайшая чашка с букетиками незабудок, блюдце-тремблёр с голубой и золотой каймой, крошечная серебряная ложечка с резной розочкой на черенке.

В серебряном шоколатьере[44]⁴⁴ густел горячий шоколад, источая сладкий, пряный жар. Из отверстия в крышке торчал деревянный муссуар[45]⁴⁵. В разливавшемся по будуару

⁴³ Пүтти (мн. ч. от итал. putto, лат. putius — маленький мальчик, малыш, младенец, крошка) — художественный образ маленького мальчика, встречающийся в искусстве Ренессанса, барокко и рококо.

⁴⁴ Шоколатьёр (франц. chocolatière) — специальный сосуд с ручкой и носиком, использовавшийся во Франции и остальной Европе XVIII века для подачи горячего шоколада.

⁴⁵ Муссуа́р (франц. mousoir — сбивалка) — деревянная мешалка, которой шоколад взбивали до однородной и пенной консистенции.

аромате было нечто утешающее и ободряющее.

Но Лукреция не спешила пить этот густой, бархатистый, насыщенный напиток. Она коснулась муссуара пальцами — и они остались совершенно спокойны. Ни нервной дрожи, ни иных проявлений напряжения. На трепет и нервы у нее нет больше права. Последний месяц переставил фигуры на воображаемой шахматной доске полностью.

Еще совсем недавно она могла себе позволить ревность — ее единственную слабость. Бессонные ночи, натянутые улыбки за обеденным столом, уязвленное самолюбие, перешептывания прислуги за спиной... Челядь всегда знает больше, чем дозволено. И всё по вине князя, который во всеуслышание называл Фьореллу Паломму своей невенчанной женой.

Тогда всё сводилось лишь к обиде. Тогда казалось: князь просто позволил себе мимолетный каприз — юное тело подопечной в собственной постели. Тогда это выглядело пустяком, недостойным больших тревог. Она гнала от себя мысль о том, чем могут обернуться для нее подобные пустяки. И вот теперь вынуждена пожирать плоды бездействия.

Фьорелла уже с животом — тем, что растет с настырной настойчивостью. Девчонка не послушалась, не избавилась от того, что следовало уничтожить еще в зародыше.

Лукреция установила чашку в тремблёр — изящное изделие с решетчатым подстаканником посередине, придуманное именно для того, чтобы чашка не скользила и драгоценный напиток не пролился, если у пьющего дрогнут руки.

Фарфор тихо звякнул — звук легкий, звонкий и изящный, совершенно не сообразующийся с тем, что творилось в эту минуту в душе княгини.

Супруг каждую ночь прошедшего месяца проводил в покоех Фьореллы. Лукреция знала это не по слухам. Почти каждую ночь она, бесшумная, как тень, пробиралась к дверям его покоев и... находила их пустыми.

Каждая такая ночь была плевром в ее законность. Ее словно вычеркнули из формулы, как лишний член уравнения. Однако закон... Он всё еще стоит на ее стороне. Церковь, корона, брачный договор, печати и подписи — весь этот тяжеловесный механизм был создан не для юных фавориток, а для таких, как она, достигших столь значимых высот, о коих ее предки могли разве что мечтать.

Князь, ослепленный страстью, решил связать себя с девочкой и будущим ребенком. А это означает, что он будет ходатайствовать перед его величеством королем Неаполя о соответствующих бумагах. Лукреция знала: Алессандро Дамиано добьется признания незаконного ребенка. Сделает соответствующую запись в родословной книге. Бастард займет место в истории рода. Место, которое по праву принадлежит ее детям.

И это значит, что пришло время действовать. Она больше не желает быть женщиной, которой изменяют. Она должна стать той, кто принимает решения. Тем камнем в основании арки, который держит всё сооружение, и без которого оно

рассыплется в прах.

Фьорелла и неродившийся пока отпрыск князя — помехи в ее замысле. Случайные, неловкие кляксы на пергаменте рода, который должен оставаться безупречно чистым.

Слово «ублюдок» возникло в сознании Лукреции легко, без ложного стеснения, будто это было не ругательство, а всего лишь диагноз. Так вот, этот ублюдок... Он просто не должен родиться.

Ей осточертели приторные вздохи вдовствующей княгини, с нетерпением ожидающей «будущего наследника». Эта глупая старая гусыня позволила себе поучать ее, Лукрецию — законную супругу, будущую мать законных наследников — милосердию. Но милосердие — привилегия слабых. А слабой Лукреции быть больше нельзя.

Князь — ее муж. Мужчина ее жизни. Отец ее будущих детей. Да, она была обижена за то, что он, как о ковер в прихожей, вытер об нее ноги. Но именно его светлость был ее выбором, ее ставкой, ее главным жизненным вложением. Частью ее статуса и частью чувства, которое тщательно скрывала. Оно тлело в ней, как уголь под золой: не видно, но жжется очень больно.

Лукреция откинулась на спинку кресла и медленно расправила складки шелкового халата. В зеркале напротив отразились покатые плечи, высокая, тяжелая грудь, белая шея, безупречная линия подбородка. Лицо — красивое, спокойное, почти царственное. Она — королева. Главная фигура на

шахматной доске. А князь — ее король. Ну а пешки... Пешки созданы для того, чтобы их жертвовали.

Фьорелла — пешка, вообразившая себя значимой фигурой. Плод в ее чреве — пешка двойной опасности: угроза, которая растет и уже одним фактом своего существования требует признания. В шахматах пешка может дойти до конца доски и превратиться в ферзя. В реальной жизни Лукреция не собиралась ждать подобного превращения.

Она вообще больше не будет выжидать. Она начнет действовать. Не из ярости и ревности — из расчета. Ярость и ревность сметают всё подряд, оставляя после себя лишь пепел. Расчет же убирает ровно то, что нужно.

Лукреция не называла задуманное жестокостью. Она называла это наведением порядка. Если в этой палатине, среди золота и пастельных фресок, среди шелка, фарфора и благоухающих ароматов, завелся сор — его следует вымести. Тихо. Без сцен. Без лишних свидетелей. Так же буднично, как выметают остывшую золу из прогоревшего камина.

Лукреция вновь обратила взор на серебряный шоколадник с горячим напитком, только что сваренным главной кухаркой. Та всегда готовила его щедро, по-испански: с корицей, кардамоном и щепоткой жгучего перца.

Княгиня вынула из кармана пузырек — второй из той самой пары, что продал аптекарь. Этот она Фьорелле так и не отдала. Как знала, что самой понадобится. Выдернув пробку, Лукреция накапала в пустой стакан несколько капель, затем

на миг замерла, словно прислушиваясь к самой себе, помедлив, добавила еще — не считая, полагаясь не на слова аптекаря, а на Судьбу.

После этого она взяла в руки серебряный шоколадьер и налила в чашку густой, темно-коричневый напиток. Шоколад заполнил ее практически до краев. Лукреция добавила из сахарницы ложечку кассонада[46]⁴⁶ и быстро размешала муссуаром, чтобы поверхность не выдавала опасной добавки к угощению.

У входной двери, не решаясь ни шагнуть вперед, ни отвести взгляд, стояла камеристка Джулия. Сердце девушки колотилось так сильно, что ей чудилось, будто этот глухой, беспорядочный стук слышен во всём доме. Джулия внимательно следила за каждым движением хозяйки: за тем, как та осторожно капают настойку руты в чашку (камеристка знала пузырек; госпожа лично предупредила о его содержимом и о том, как с ним следует обращаться). Затем — как в чашку льется шоколад, как добавляется сахар, как, наконец, педантично и без малейшей спешки салфеткой вытирается край блюдца, испачканный темной каплей. Аккуратно, неторопливо, словно совершается самый обыденный утренний риту-

⁴⁶ Кассона́д (франц. *cassonade*) — мелкозернистый нерафинированный тростниковый сахар, слегка увлажненный и негранулированный, характерного янтарно-коричневого оттенка. В XVIII веке широко использовался во Франции и Италии, особенно в приготовлении горячего шоколада, кофе и сладких соусов; ценился за мягкую сладость и способность легко растворяться в горячих напитках, не оставляя кристаллов на поверхности.

ал. В этой размеренности движений было что-то пугающее. Ни дрожания рук, ни волнительной суеты, ни тени сомнений на лице — только спокойная последовательность жестов, от которой Джулии сделалось очень холодно, несмотря на теплый воздух в будуаре.

Лукреция оглянулась на камеристку. В ее взгляде не было ни беспокойства, ни колебаний — лишь расчетливая, выверенная решимость.

— Подойди ко мне, — позвала она тихо, но таким тоном, который не допускал возражений.

Джулия повиновалась, ощущая, как подкашиваются ноги. Княгиня слегка придвинула к ней блюдце с чашкой.

— Отнеси это синьорине Фьорелле, — произнесла она ровно. — Скажи, что кухарка велела подать горячий шоколад прямо в ее покои. Напиток, мол, должен придать сил.

Она сделала короткую паузу, не отрывая взгляда от лица служанки.

— И проследи, чтобы моя племянница выпила всё до последней капли, пока еще теплый.

Джулия с трудом сглотнула и молча кивнула. Она осторожно взяла тремблёр обеими руками, стараясь не расплескать ни капли, поставила его на серебряный поднос и, не поднимая глаз, вышла из комнаты.

Лукреция осталась одна. Несколько мгновений она смотрела на опустевшее место на кофейном столике, затем медленно выпрямилась и поднялась.

Дело сделано. Теперь остается только ждать и надеяться, что пряный аромат корицы и перца завуалируют терпкую горечь руты.

Лукреция подошла к туалетному столику, взяла щетку, инкрустированную слоновой костью, и стала неспешно приглаживать ею распущенные темные локоны.

Глядя на себя в зеркало, княгиня задалась вопросом: боится ли она последствий своих действий. И тут же без колебаний ответила: нет. Страх — роскошь для тех, у кого есть выбор. Ей же его не оставили. А когда выбора нет, нужно бороться, особенно если знаешь, за что. У нее как раз есть за что. У нее в руках — козырь, о котором в доме пока никто не догадывается. Тайный, весомый и неоспоримый. Возможно, он и не станет оправданием, но уж точно послужит надежным щитом, тем, что оградит от самого худшего, если события примут гораздо более неблагоприятный оборот, чем рассчитывает.

* * *

Вечер казался обманчиво мирным. Фьорелла шла по парковой аллее, сопровождаемая Алессией. Камеристка держалась чуть поодаль, из врожденной деликатности не нарушая уединения госпожи, позволяя ей раствориться в собственных мыслях и ощущениях.

Парк дышал покоем и предзакатной тишиной. Осень еще

не заявляла о себе открыто: она лишь приглушала краски, осторожно касалась листвы, оставляя мягкие, золотистые следы. Платаны над дорожкой уже тронула желтизна, но кроны по-прежнему были густыми. Они пропускали свет лишь редкими, прозрачными пятнами.

Золотисто-розовые лучи скользили по белоснежным мраморным плитам, отражаясь бледным сиянием, и растворялись среди первых опавших листьев. У кромки аллей еще держались розы — поздние, более темные, с плотными лепестками и терпким, чуть увядающим ароматом. Между живыми изгородями из лавра и мирта тянулся тонкий пряный запах, смешанный с влажным дыханием земли.

Дальше, ближе к цветнику, где пестрые пеларгонии и бегонии, оранжевые настурции и упрямые бархатцы не желали уступать осени, цепляясь за цветение, взгляду открывался Неаполитанский залив. Море, синевато-стальное, с разлившимся местами по поверхности червонным золотом закатного света, было совершенно спокойно.

На его фоне вечнозеленые пинии и кипарисы стояли неподвижно, как молчаливые стражи, неподвластные смене времен года, и лишь редкий порыв ветра заставлял едва заметно колыхаться их темные кроны.

Фьорелла остановилась у балюстрады, положив ладони на похолодевший камень. Рядом из посаженных кустиков розмарина поднимались редкие, неброские цветы с пряным, успокаивающим ароматом.

Сюда доносился плеск воды: фонтан продолжал ровный, неустойчивый бег, будто напоминая, что жизнь течет независимо от человеческих сомнений и переживаний.

В этом парке всё было слишком красивым и гармоничным, слишком цельным, чтобы совпадать с тем смятым, нервным состоянием, которое поселилось в душе Фьореллы. И всё же именно здесь, среди золота листвы и зелени, не знающей увядания, она на мгновение позволила себе вдохнуть глубже.

Ее мучило, чего не было в течение двух последних недель. Фьоре казалось, что дурнота осталась в прошлом, но вот сегодня к вечеру это состояние вернулось к ней вновь. И внизу живота ощущалась какая-то странная тяжесть. Это напрягало, но Фьорелла упрямо отгоняла тревожные мысли.

Несмотря на заметные перемены в теле, она всё еще не могла до конца осознать, что через несколько месяцев станет матерью. Это знание не укладывалось в сознании, не находило в нем опоры. И всё же душою она уже приняла дитя князя, смирилась с его присутствием в чреве. В этом принятии не было ни радости, ни восторга, но была покорность судьбе и пока еще робко заявлявшее о себе чувство ответственности. Возможно, со временем, когда смятение схлынет, уступив место привычке, она и вправду станет любящей матерью, научится видеть в ребенке не плод греха, а живое продолжение себя и надежду на просветление будущего.

Пока же эти мысли существовали лишь фоном, словно

приглушенный шум, сопровождающий ее дни. Они не вели к радикальным решениям, но медленно и неотвратимо меняли внутренний настрой, подготавливая душу к тому, что однажды станет реальностью.

Занятая раздумьями, Фьорелла вдруг ощутила, как по ногам под юбками пробежало тепло. Не из тех, что согревает, а из тех, что пугает. Она замерла, а потом инстинктивно отступила в сторону и опустила вниз глаза. Алессия, стоящая в паре шагов позади, подошла ближе и проследила за ее взглядом.

На светлом мраморе дорожки расплывались алые пятна. Фьора перевела взгляд на камеристку. Та побледнела так резко, будто кровь мгновенно покинула ее лицо.

— Святая Мадонна... — выдохнула Алессия и тут же, не теряя ни секунды, резко обернулась и окликнула проходившего по дорожке выездного лакея.

— Микеле, беги за его светлостью. Немедленно! Скажи, что синьорине Фьорелле плохо.

Садовнику, подстригающему живую изгородь, она приказала коротко и властно:

— Синьор Пьетро, возьмите синьорину Фьореллу на руки. Осторожно! И несите ее в дом.

Фьорелла почти не сопротивлялась. Голова кружилась, звуки вокруг будто отдалялись. Садовник осторожно подхватил ее и понес по аллее к палатине. Не успели они дойти до террасы, как путь преградил взволнованный князь.

Алессандро шел быстро, размашисто, почти бегом. Лицо выражало неподдельную тревогу.

— Маммарелла, что произошло? Что с Фьорой, — спросил он Алессию, хотя сам неотрывно смотрел на девушку в руках садовника. Та ответила коротко, сбивчиво, но по существу:

— Мы гуляли в парке... И вдруг... У синьорины Фьореллы открылось кровотечение.

Князь больше не слушал. Он перехватил Фьору у садовника, прижал к себе так заботливо и бережно, словно боялся, что ноша может исчезнуть, раствориться в руках, и быстрым шагом понес внутрь палатчины.

В покоях Фьореллы всё пришло в движение. Слуги метались в растерянности. Одни посылали других за доктором, вторые разбирали постель, третьи несли тазы с теплой водой, четвертые рылись в ящиках комодов, доставая простыни и полотенца.

Алессандро уложил Фьору на кровать, не отрывая от нее обеспокоенного взгляда. Он, не доверяя это дело никому, сам раздел ее, сам помог сменить испачканную в крови камизу, сам подстелил под ее испачканные бедра свернутую простыню, сам влажным полотенцем стер кровь с ног.

Артуго Мальвестри появился в будуаре Фьореллы до-

вольно скоро. Он попросил всех покинуть помещение, но Филанджери выполнить требование наотрез отказался. Алессия осталась тоже.

Доктор действовал быстро, но без суеты. Несколько коротких расспросов: о болях, о кровяных выделениях, о слабости. Затем последовало осторожное ощупывание живота, внимательное и обстоятельное. После этого, опасаясь признаков ослабления и раскрытия шейки матки, врач приступил к исследованию лона Фьореллы, стараясь по доступным признакам понять, удержится ли плод.

В комнате воцарилось сосредоточенное молчание. Наконец синьор Мальвестри выпрямился.

— Угроза выкидыша, — произнес он осторожно и немногословно.

Алессандро не выдержал.

— Как же так?! — он почти сорвался на крик. — Вы утверждали, что четвертый и пятый месяц — самые безопасные! Я следовал вашим советам. Избегал близости... — голос его на мгновение дрогнул. — Хотя один Бог знает, чего мне это стоило. Так почему же это произошло?

Мальвестри выдержал паузу, прежде чем ответить.

— Обычно на этом сроке плод действительно уже достаточно прочно удерживается в матке, — сказал он спокойно. — Но существуют обстоятельства, которые могут нарушить это равновесие. *Perturbatio animi* — возмущение духа — лишь один из возможных факторов. Сильное нервное

потрясение, физическое истощение, внутреннее раздражение, продолжительное беспокойство, страхи, душевный конфликт... В таких случаях состояние становится *periculosus* — опасным, нестабильным.

Доктор повернулся к лежащей на постели Фьорелле.

— Синьорина, — начал он мягко, но с профессиональной сосредоточенностью, — вы сегодня или ранее не принимали никаких средств, предназначенных для... — старик-врач на миг запнулся, подбирая слова, — для прерывания вашего... деликатного состояния?

Фьорелла вздрогнула и поспешно покачала головой.

— Нет. Я ничего такого не принимала. Клянусь.

— Тогда, прошу вас, расскажите подробно, что ели и пили сегодня.

Фьора на мгновение задумалась, собирая воспоминания о прошедшем дне в кучу.

— Утром я не завтракала. Есть не хотелось. Я лишь выпила чашку горячего шоколада, которую передала Алессия. В обед я тоже отказалась от еды — мне уже было нехорошо. А ближе к ужину съела тарелку куриной минестры[47]⁴⁷ с пастиной[48]⁴⁸ и выпила мятный лимонад. Это всё.

⁴⁷ Минэ́стра (итал. minestra) — общее название жидких супов в итальянской кухне; в XVIII веке это была повседневная еда, часто на курином бульоне, с овощами или мелкой пастой.

⁴⁸ Пасти́на (итал. pastina) — мелкая паста (зернышки, крошечные трубочки и т. д.), традиционно добавлявшаяся в супы; считалась легкой пищей для больных, детей и беременных.

В комнате повисла плотная тишина, будто воздух стал вязким. Алессандро медленно перевел взгляд на Алессию. Кормилица стояла неподвижно, с опущенными руками. Лицо ее побледнело, словно отбеленное полотно.

— Минестру и лимонад я готовила сама, — произнесла она с замиранием сердца. — За них я ручаюсь. А вот шоколад... — она сглотнула. — Шоколад... я не готовила и не передавала.

— Фьора... Цветочек, — голос Алессандро стал почти ласковым, — кто принес тебе шоколад?

Фьорелла перевела взгляд с Алессии на доктора, потом на него самого.

— Джулия, камеристка княгини, — ответила она насто-роженно.

Филанджери ничего не сказал. Он лишь переглянулся с кормилицей, и черты его лица сделались еще напряженнее. Они будто бы сразу окаменели.

— Сейчас главное — покой, — наконец произнес доктор. — Полный и безусловный. Всё остальное увидим в ближай-шие часы. С вашего позволения, я останусь с пациенткой. А вас, ваша светлость, всё-таки попрошу выйти. Синьорина Фьорелла должна отдыхать.

Алессандро упрямо мотнул головой и, не отвечая, присел на край кровати. Он взял в ладони хрупкую руку Фьоры и крепко сжал пальцы, словно пытался удержать не только их, но и свое дитя, сокрытое под ее сердцем.

Впервые в жизни Филанджери не знал, на кого надеяться: на Бога или на доктора. И так же он не мог понять, чего в нем сейчас больше: сострадания к Фьоре, страха за нее... или злости на ее прежние слова о том, что не желает иметь от него детей. Похоже, Господь услышал ее молитвы.

То ли почувствовав его настроение, то ли уловив поток мыслей, Фьорелла вдруг тихо заговорила:

— Ваша светлость... я не хотела, чтобы так случилось. Вернее... сначала и правда думала, что было бы лучше, если бы вашего дитя во мне не было.

Она с трудом сглотнула.

— Но потом... потом смирилась. Я сжилась с этой мыслью. Я приняла этого ребенка. Приняла душой и сердцем. Ведь эта кроха... — голос ее дрогнул, — он ни в чем не виноват. Поверьте, я ни за что не стала бы подвергать его опасности.

Девушка смотрела на него неотрывно.

— Вы верите мне?

Алессандро не ответил сразу. Он знал, чувствовал, Фьорелла не лжет. Она попросту не умеет этого делать. Его молчание Фьора истолковала по-своему.

— Знаете... когда я пила тот шоколад... — она на миг закрыла глаза, будто вспоминая свои ощущения, — у него был странный привкус. Я почувствовала это, но решила, что кажется. Утренняя дурнота часто мешала мне различать вкусы и запахи.

Фьорелла замолчала, затем добавила:

— И еще... Джулия не уходила, пока я не допила чашку до дна. Она уговаривала меня, торопила. Мне это показалось странным, но я подумала, что так распорядилась Алессия.

Алессандро перевел взгляд на кормилицу. Та стояла, ни жива ни мертва. Сложив ладони вместе, она сжала их в один большой кулак и поднесла к губам. Поймав на себе острый взгляд князя, Алессия поспешно сказала:

— В это время я была на кухне, ваша светлость. Готовила завтрак госпоже — ячменное молоко с бискотти^[49]⁴⁹. Но когда принесла его, синьорина дремала в кресле-шезлонге, и я не стала ее будить.

— И ты не видела пустой чашки из-под шоколада?

— Нет. В будуаре не было никакой посуды. Я даже не знала, что синьорина Фьорелла пила шоколад. Когда она проснулась, я предложила завтрак, но она отказалась. Я не стала настаивать — знала, что госпожа часто не ест по утрам.

— А лакей-стражник у дверей будуара? Он ничего тебе не сказал?

— Нет, ваша светлость. Всё было, как обычно. Ничего подозрительного.

Алессандро, не выпуская руки Фьореллы, хмыкнул:

— Странно всё это. Очень странно. Придется во всем

⁴⁹ Бискотти (итал. *biscotti*) — традиционное итальянское сухое печенье, дважды запеченное, благодаря чему долго хранится и имеет твердую, хрустящую текстуру. В Неаполе XVIII века его часто подавали к горячему шоколаду, кофе или молоку, макая в напиток перед едой.

разобраться.

— Ой... — Фьора неожиданно вздрогнула всем телом.

Алессандро с тревогой всмотрелся в побледневшее лицо. Девушка прижала свободную ладонь к животу. Ее лицо оказалось в болезненной гримасе.

— Что случилось, синьорина Фьорелла? — обеспокоенно спросил доктор.

— У меня... тянущая боль внизу живота. И кровь... Кажется, она снова... выливается из меня.

— Ваша светлость, простите, но мне необходимо заняться пациенткой, — сказал доктор, раскрывая внушительный кожаный врачебный бауле. В нем хранился изрядный набор инструментов и склянок со снадобьями.

— Синьора Алессия, будьте добры, подайте стакан чистой воды. Я дам синьорине Фьорелле *decoctum*[50]⁵⁰из крапивы с пастушьей сумкой — средство испытанное и весьма полезное при маточных истечениях. По крайней мере, таковое настоятельно рекомендовано моим коллегой, синьором Рокко Антонио Ариче[51]⁵¹, главным хирургом госпиталя Сан-

⁵⁰ Decoctum (лат.) — декокт (устар.), отвар из лекарственных растений.

⁵¹ Рокко Антонио Ариче (вторая половина XVIII века) — неаполитанский хирург-акушер, автор фундаментального труда *Saggio sull'arte ostetricia* (1782). Один из реформаторов медицины Неаполитанского королевства, стремившийся поставить акушерство на научную основу. Его деятельность в госпитале Санта-Мария-дель-Пополо-дельи-Инкурабили способствовала превращению помощи роженицам в строгую хирургическую дисциплину.

та-Мария-дель-Пополо-дельи-Инкурабили[52]⁵² и наставником при славной Школе для акушеров, где ныне предпринимаются самые трудные врачебные вмешательства. Сии травы суть *adstringentes et refrigerantes* — вяжущие и охлаждающие. Они употребляются для удержания крови при опасении утраты плода и *ad corroborandum uterum* — для укрепления матки. Несколько капель лауданума[53]⁵³ для успокоения и усиления свертываемости крови также не повредят — к тому же облегчат синьорине Фьорелле боль.

Пока доктор говорил, Алессия уже подала стакан воды. Доктор размешал в нем декокт, добавил несколько капель лауданума и протянул бокал Фьорелле.

— Выпейте всё до дна, синьорина.

Фьорелла с тревогой во взоре посмотрела на князя.

— Пей, мой Цветочек, пей, — сказал он необычайно мягко.

Пока девушка пила лекарство, Алессандро осторожно целовал пальцы свободной руки, один за другим. Когда бокал опустел, доктор произнес:

⁵² Комплекс Инкурабили (итал. Santa Maria del Popolo degli Incurabili) — «Госпиталь Неисцелимых» — являлся центральным звеном неаполитанской медицины. В XVIII веке он объединял функции госпиталя, медицинского факультета и школы хирургии, где внедрялись передовые для того времени методы оперативного вмешательства и анатомических исследований.

⁵³ Лауданум (итал. laudano, лат. Laudanum) — спиртовая настойка опия, широко применявшаяся в Европе XVIII века как обезболивающее, седативное и кровоостанавливающее средство.

— И всё же, ваша светлость, настоятельно прошу вас выйти. Мне необходимо поставить синьорине вагинальный тампон с *alumen* — квасцами[54]⁵⁴, а также приложить холодный компресс с разбавленным уксусом на низ живота.

Князь не сразу отреагировал. Было видно, как трудно ему расстаться с любимой хотя бы на миг. Наконец он перевернул ладонь Фьореллы, бережно поцеловал ее в самый центр, затем поднялся и вышел. Следом за ним покинула комнату и Алессия.

Князь возлагал большие надежды на помощь Мальвестри. Таких врачей, как синьор Артуро, в народе прозвали «докторами-драгунами»[55]⁵⁵. Так именовали врачей старой школы — людей редкого склада и немалого мастерства, не довольствовавшихся одним лишь искусством распознавать недуг. Они сами готовили снадобья: толкли порошки, настаивали смолы и травы, знали запах каждой эссенции и с первого взгляда умели определить вес и меру лекарства.

Их бауле был одновременно и кабинетом врача, и передвижной аптекой. Подобно драгунским полкам, способным

⁵⁴ Квасцы́ (итал. *allume*; лат. *alumen*) — минеральное вещество с выраженными вяжущими и кровоостанавливающими свойствами, широко применявшееся в медицине XVIII века, в том числе в акушерской практике для остановки кровотечений и обработки тканей.

⁵⁵ Доктор-драгун (неап. *duttóre-dragóne*) — ироничное неаполитанское название лекаря XVIII века, который одновременно исполнял роль врача и аптекаря. По аналогии с драгунами («ездящей пехотой»), способными сражаться и в конном, и в пешем строю, такой медик считался специалистом «двойного назначения», совмещающим кабинетную науку с ручным изготовлением лекарств.

сражаться и верхом, и пешими, такие доктора совмещали в себе сразу две ипостаси: врача и аптекаря. Они не доверяли чужим рукам то, от чего могла зависеть человеческая жизнь, и потому предпочитали отвечать за всё — от постановки диагноза до употребляемого пациентом лекарства.

Князь думал: если уж и доверять судьбу Фьореллы кому-то, то именно такому человеку — собранному, опытному, привыкшему действовать и отвечать за каждое решение.

К тому же Артуро Мальвестри чем-то неуловимо напоминал Алессандро его самого. Стоя у штурвала, капитан Филанджери нес ответственность за всё: от выбранного курса и поднятого паруса до жизни каждого человека на борту. Он знал цену решениям, принятым в одиночку, и, когда море оказывалось сильнее расчёта, не перекладывал вину на других.

Так же и этот седовласый врач. Артуро Мальвестри не прятался за авторитетами, не ссылаясь на обстоятельства, а действовал, понимая: если ошибка и случится, она будет его — и только его. Именно к таким врачам обращались в случаях, когда обычные средства оказывались бессильны, а на весах лежала человеческая жизнь.

* * *

Выйдя из покоев Фьореллы, Алессандро прежде всего приказал разыскать и немедленно привести к нему в кабинет

камеристку княгини Джулию. Коридоры палатчины тонули в полумраке. Слуги еще не везде зажгли свечи. Всё вокруг казалось неестественно притихшим, словно весь дом затаил дыхание. А поселившаяся в груди его хозяина змея тревоги уже начинала разворачивать свои кольца, поджидая подходящего случая отравить сердце ядом панического ужаса.

Филанджери думал, что придется буквально вытряхивать из служанки правду, выворачивать ее душу наизнанку, как старый кошель, пока из нее не посыплются звенящие «монеты» признания. Он готовился к сопротивлению, к привычной человеческой подлости. Но оказалось, что ничего делать не пришлось.

Дверь в кабинет отворилась без стука. Появившаяся на пороге Джулия, в обычные дни смуглая, живая и пронырливая, как ласка, сейчас была непривычно бледна. Губы ее дрожали, взгляд метался, как у загнанного зверька. Глаза — две огромные темные маслины — выдавали бурю отчаянно-трусливого переполоха внутри.

Алессандро даже не успел разомкнуть губы, как камеристка со звуком упавшего на наборный паркет мешка навоза бухнулась перед ним на колени. Ее цепкие и дрожащие пальцы, как птичьи лапки, вцепились в подол атласной vests[56]⁵⁶ князя, накинутой поверх сорочки и кюлотов.

⁵⁶ Вэста (итал. *veste da camera*) — роскошный домашний халат аристократа XVIII века. Носился в частных покоях поверх рубашки и кюлотов; часто шился из дорогих привозных тканей (дамаста, атласа) и позволял хозяину сохранять представительный вид, не облачаясь в тесный парадный камзол.

— Ваша светлость... — запричитала она, сбиваясь, — клянусь Мадонной, я не хотела... Это всё госпожа... Я не могла послушаться хозяйку. Ее светлость княгиня мне приказала. Она...

Голос девушки, неприятный, визгливый, полный животной, первобытной мольбы, заставил Филанджери скривиться. Он провел пальцами у виска, словно пытаясь сосредоточиться. А когда слова дошли до сознания, они, словно нож, разрезали узел сомнений. Алессандро почувствовал, как холод медленно поднимается от солнечного сплетения к горлу, сжимая его изнутри. Его не просто проняло — его будто окунули с головой в ледяную невьеру[57]⁵⁷.

Филанджери вынул из кармана шелковый платок и вытер выступившую на лоб испарину, пытаясь одновременно привести и мысли в порядок.

Значит, он не ошибся. Значит, это не нервы Фьоры, не ее слабость, не дурное совпадение. Его любимую отравили — сознательно, подло. В его собственном доме!

И в этот момент в Алессандро что-то сорвалось с места. Он ухватил камеристку за предплечье и, не прилагая видимых усилий, будто тряпичную куклу, набитую ватой, поднял на ноги. Встряхнул хорошенько. Голова девушки запрокинулась, белая наколка слетела с волос. Пара шпилек, удержи-

⁵⁷ Невьера (итал. *neviera*) — подземное хранилище льда и снега, распространенное в Италии XVII–XVIII веков; использовалось для хранения льда, который применяли в быту и медицине.

вающих пучок, выпала на пол. Всегда гладко зачесанные волосы растрепались.

— Что было в том шоколаде, который ты принесла синьорине Фьорелле?

Князь произнес это спокойно — пугающе спокойно. Джулия сразу почувствовала: под этой ровной, почти бесцветной интонацией сгущается буря — бешеный неукротимый гнев, после которого кому-то будет несдобровать. Такое спокойствие, должно быть, царит в зале суда за миг до оглашения смертного приговора.

И потому Джулия поняла: ее единственный шанс остаться в живых — не солгать ни словом.

— Ру... рута, — выдавила она тоненьким, не своим голоском. Слова выходили из нее с трудом, как испражнения при запоре. — Княгиня... ее светлость... Она накапала в шоколад спиртовую настойку руты. Госпожа мне велела...

Князь, не дав камеристке договорить, оттолкнул ее с такой яростной брезгливостью, будто стряхнул с себя упавшую с неба скользкую, ядовитую жабу. Служанка отлетела в сторону, не успев даже вскрикнуть, и тяжело рухнула на пол. Удар спиной о холодный бронзовый подлокотник кресла выбил из нее воздух. В глазах Джулии потемнело. Мир на мгновение сжался до тупой, звенящей боли.

Алессандро уже не смотрел на нее. Гнев, мгновенно вспыхнувший, в нем как огненный смерч, с неистовой, ослепляющей, бешеной силой тянул его в будуар той, ко-

торая звалась княгиней, его законной женой. Он рванулся к выходу, как человек, которого ведет не рассудок, а одна единственная жгучая необходимость — крушить и убивать. Дверь он толкнул так, словно хотел вышибить вместе с косяком. Дубовое полотно с грохотом стукнулось о стену. Петли жалобно скрипнули и едва выдержали мощный удар.

Джулия осталась сидеть на полу, скорчившись и потирая ушибленную спину. Она понимала: князь сейчас несется по палатине в покои госпожи, как неотвратимое возмездие. И в ее душе, посреди пережитого страха и липкого ужаса, вдруг проклюнулась злая, ядовитая колючка злорадства. Ей даже хотелось, чтобы его светлость не сдержался. Чтобы княгиня наконец получила по заслугам.

Лукреция Пьерина не имела права втягивать ее, Джулию, в свои супружеские разборки с его светлостью князем. Не гоже превращать служанку в орудие достижения своих целей. Для госпожи это был всего лишь продуманный ход в опасной игре, а для нее — вопрос жизни и смерти. Потому что еще неизвестно, чем обернется вся эта история с отравленным шоколадом. Не приведи святая Мадонна, синьорина Фьорелла помрет. Кто тогда будет в ответе? Та, чья рука безжалостно накапала руту в чашку, или та, что покорно понесла ее жертве? Господа всегда найдут слова, чтобы оправдать себя, а платить за их решения придется слугам.

Дрожащими пальцами Джулия вынула из кармана золотой перстень с зеленым камнем — подарок княгини, вручен-

ный с улыбкой после доклада о выполненном приказе. Камень тускло блеснул в свете зажженных свечей, и этот блеск вдруг показался недобрым, почти насмешливым.

В Неаполе не зря в ходу поговорка: «Сначала ласка господина над слугою вьется, а после его кровь по плахе разольется». Сейчас Джулия как никогда ясно поняла смысл этого выражения.

* * *

Стены палаццины всё еще дрожали от недавнего грохота дубовой двери, когда Алессандро Дамиано Филанджери, подобно черному смерчу, неся по анфиладе комнат палаццины. Поднимаясь по лестнице к покоям Лукреции, он осыпал себя самыми беспощадными ругательствами. Каменные ступени гулко отзывались под стремительными шагами, но этот звук терялся в шуме крови, бьющей в виски.

Алессандро клял себя на чем свет стоит. Он, знавший цену человеческой низости и подлости, ошибся — преступно недооценил ту, с которой делил фамилию и которая по закону и перед лицом Церкви звалась его женой.

Лукреция Пьерина... Филанджери давно осознал, что супруга была сотворена Господом из «кривого ребра», да еще и в минуту Его непомерной усталости и дурного настроения. Княгиня принадлежала к породе тех женщин, о которых в Испании с мрачной усмешкой говорят: «*Mala mujer, mala*

suerte — дурная жена, дурная судьба».

Но Алессандро полагал, что ее потолок — это всего лишь пошлое лицедейство. Ее поведение казалось ему дешевым маскарадом. Лукреция постоянно меняла свои личины, становясь то кроткой голубицей, то искусственной светской львицей, то коварной обольстительницей. А в последнее время всё чаще — трагически обманутой женой.

За пышными фижмами, напудренными париками, рубинами, изумрудами и сапфирами он не разглядел смрадную гниль в ее сердце. Мнил ее дешевкой, футляром для драгоценностей, чья крышка хлопает на ветру тщеславия, а на деле наткнулся на ядовитую кобру, свернувшуюся на шелках и бархате и ужалившую так больно, что сама мысль о ее пощаде явилась бы для него сейчас оскорблением.

Алессандро не думал, что Лукреция Пьерина может быть способна на подобную подлость. За всеми ее словами, жестами и эмоциями он не видел глубины — той бездны чувств и мыслей, что присуща тонко чувствующему человеку. И потому сглупил, допустил ошибку, за которую теперь расплачивается его бедная девочка. Он отнес Лукрецию к разряду безобидных пустышек, не несущих никакой угрозы, — и жестоко просчитался в этом.

Жена оказалась не безобидной куклой, а мерзкой, подлой тварью. Верно, мать в свое время вскормила ее не грудным молоком, а змеиным ядом, смешанным с соком акони-

та[58]⁵⁸. А он, идиот, еще и жалел ее.

Ради любви к Фьорелле Алессандро был готов на любую жертву, но сделать таковой законную супругу — пусть нелюбимую, но всё же жену — он не мог. Потому и не отсылал Лукрецию из палатчины, потому и терпел ее присутствие в доме. И вот — дотерпелся. Забыл, должно быть, старую истину: иная безобидная, на первый взгляд, корова может нагадить больше, чем тысяча злобных мух.

Филанджери настиг жену в коридоре. Лукреция, как ни в чем не бывало, направлялась в столовую. Она была разодета и накрашена так, словно собиралась не на обычный ужин, а на светский раут. Глупейшее пристрастие к панье с локотками делало ее фигуру, обладающую и без того пышными бедрами, настолько громоздкой и карикатурной, что напоминала обтянутую дорогими шелками бочку на ножках.

Заметив князя, стремительно поднимающегося по лестнице, она расплылась в натянутой, почти театральной улыбке, за которой внимательный глаз без труда различил бы плохо скрытое напряжение. Грудным голосом с нарочито привлекающими нотками Лукреция протянула:

— Ваша светлость... вы, должно быть, спешите составить мне и синьоре Лудовике компанию за ужином?

⁵⁸ Акони́т (лат. *Aconitum*) — ядовитое растение, известное с античности. Использовалось как смертельный яд и в малых дозах — как лекарственное средство. В Средние века аконит нередко применяли для тайных отравлений из-за его быстрого и труднораспознаваемого действия; считалось, что он «охлаждает кровь» и парализует сердце.

Этот обыденный, почти кокетливый тон взбесил Филанджери до исступления. Он не ответил ни словом. В два шага преодолев разделявшее их расстояние, Алессандро ухватил жену за горло и с силой сжал пальцы.

— Змея, — прошипел он с брезгливой яростью в самое лицо, чувствуя, как под пальцами отчаянно бьется пульсирующая венка. — Я придушу тебя, как ядовитую тварь.

— Алессандро! Что вы делаете? Опомнитесь! — в коридоре, шурша тяжелыми юбками, появилась Лудовика Бернадетта. Она, верно, тоже решила спуститься к ужину.

— Не вмешивайтесь, синьора Мадре! — рывкнул князь, не оборачиваясь. Его голос напоминал сейчас треск ломающегося льда на вершинах Апеннин, где мороз иной раз делает даже камень хрупким.

Вдовствующая княгиня, пытаясь не растерять остатки самообладания, подошла ближе.

— Сын мой, остыньте, — взмолилась она. — Объясните, что произошло? Я слышала, синьорине Фьорелле нездоровится. Вы призвали доктора? Что говорит синьор Мальвестри? И почему так взъелись на вашу супругу?

Лудовика Бернадетта нечасто называла Алессандро сыном. Выросший без родной матери, он особенно ценил в ней искреннее стремление восполнить утраченное. Потому сейчас не отмахнулся от ее обращения, хотя внутри него омерзение яростно боролось с желанием довершить начатое.

Всё так же не выпуская из рук шею жены, он глухо, отры-

висто произнес:

— У Фьореллы начались боли... угроза плоду. Эта... тварь... подмешала в горячий шоколад настойку руты. Представьте только: яд в чашке сладкого угощения.

Лицо вдовствующей княгини мгновенно побледнело, словно кровь отхлынула от него разом.

— Настойку руты? — прошептала она в испуге. — О Пресвятая Дева... Этим зельем обычно изгоняют плод из женской утробы. Оно же может убить не только дитя во чреве матери, но и ее саму.

— Вот именно, — глухо отозвался Алессандро.

Лукреция, чье лицо налилось багрянцем, вцепилась в запястья мужа, пытаясь оторвать их от своей шеи и вдохнуть наконец полной грудью.

— Все мы... получаем то, что заслуживаем... — прохрипела она, кривя рот в подобии торжествующего оскала. — Это касается и вас... ваша светлость.

Мужские пальцы сжались на ее шее еще сильнее.

— Я, должно быть, на время утратил рассудок, когда решил жениться на вас, — процедил он. — Я уж и не знаю, кто вы: мстительная Тисифона, беспощадная Алекто или завистливая Мегера. Но в одном уверен — вы фурия. И все три злобные сестры[59]⁵⁹, верно, уживаются в вас разом.

⁵⁹ Тисифона, Алéкто и Мегéра — эринии (фурии) древнегреческой мифологии, богини мщения. Каждая из них олицетворяла разные аспекты кары за преступления: Тисифона (др. — греч. Τισιφώνη) — возмездие за убийства, Алекто (др. — греч. Ἀλκτώ) — неутолимую ярость и преследование, Мегера (др. — греч.

— Я не фурия... — с хриплым усилием выдавила Лукреция, когда пальцы князя на миг ослабли. — Я... будущая мать вашего наследника. Слышите? Наследника. Вчера мой лекарь подтвердил мне это. Я ношу под сердцем ваше дитя. Законное дитя. И этим всё сказано.

Алессандро замер. Его лицо стало неподвижной маской, словно его коснулось дыхание самой Медузы Горгоны. Оно окаменело до такой степени, что вздумай кто-нибудь ударить по нему в этот миг — перелом руки был бы обеспечен.

— Алессандро, сын мой... — вновь взмолилась Лудовика Бернадетта; голос ее дрогнул. — Если в словах Лукреции есть хоть капля правды... вы не должны причинять ей вред. Не берите на душу двойной грех. Ваша супруга и впрямь может носить вашего законного наследника. Даст бог, Фьорелле станет лучше, и всё уладится. Причинив вред княгине, вы причините вред тому, кто есть плоть от плоти вашей.

Филанджери медленно ослабил хватку. Ярость — темная, первобытная, звериная — по-прежнему клокотала в нем, билась о ребра, требуя выхода и отмщения. Руки помнили, как легко довести начатое до конца: сомкнуть пальцы чуть сильнее — и оборвать существование той, что вызывала в нем одно лишь омерзение.

Ему хотелось придушить жену так же просто, как давят

Ἀλκτώ) — зависть и разрушительную ревность. Они почти всегда упоминаются как единая триада. В переносном смысле «три фурии» обозначают воплощение беспощадной, неукротимой злобы.

ядовитое насекомое. Но он сдержался. Сдержался по одной-единственной причине: возможно — лишь возможно — эта женщина и впрямь носит под сердцем его ребенка. А значит, месть придется отложить. По крайней мере, до вердикта врача.

Алессандро разжал пальцы и отвел руки от женской шеи, на которой проступили багровые следы его хватки. Лукреция осела на пол, судорожно ловя ртом воздух. Несколько мгновений она лишь дышала — жадно, торопливо, наслаждаясь самым простым и самым драгоценным из даров. Затем медленно, почти демонстративно, провела ладонью по животу.

Княгиня чувствовала свою власть. Под ее сердцем уже совершенно точно билось начало новой жизни — жизни законного наследника его светлости. И это знание наполняло ее абсолютной уверенностью в собственной неуязвимости. Что бы ни произошло дальше, дитя князя не принесут в жертву. Его мать не заставят платить по счетам — по крайней мере, сейчас. Ну а дальше... дальше время рассудит.

— Я должна бороться за права моего ребенка, — произнесла она с хриплой решимостью, прерываемой кашлем. — Мой будущий сын — наследник фамилии. Наследник титула. Наследник всего имущества. Ублюдку Фьоры не место в родовой книге Филанджери Ла Фарина.

Алессандро посмотрел на нее так, словно видел впервые. И то, что открылось взгляду, вызвало уже не ярость — лишь

глухое, холодное презрение.

— Ты непроходимая дура, — произнес он медленно, с отчетливым, почти физически ощутимым чувством гадливости, впервые перейдя в разговоре с женой на непривычное «ты». — Твой сын и без того был бы главным наследником. Ради него не требовалось устранять ребенка Фьореллы. Но ты — в своей мелочной, слепой ревности — решила заодно разрушить и мой мир.

Он перевел дыхание и добавил тише, с горькой, вымученной насмешкой в голосе:

— Как же прав был Монтень⁶⁰: «Великие беды редко рождаются из подлинной злобы — куда чаще из ограниченного ума. Тупость, соединенная с мелочностью, способна разрушить гораздо больше, чем злая воля».

Лукреция Пьерина без чьей-либо помощи поднялась на ноги. Ее встретил убийственно холодный прищур мужа. Если бы взглядом можно было заколотить крышку гроба, глаза Алессандро Дамиано в этот момент справились бы с этим без единого удара молотка.

Филанджери вынул из кармана тонкий шелковый платок и с подчеркнутой, почти демонстративной медлительностью вытер пальцы и ладони. Этот жест был красноречивее любых слов. В нем заключалась вся глубина брезгливого отвращения, испытываемого им в отношении стоявшей перед ним

⁶⁰ Мишель де Монтень (1533–1592) — французский писатель и философ эпохи Возрождения, автор книги «Опыты».

женщины.

— Синьора Мадре, — обратился он к вдовствующей княгине, — прошу вас заняться выяснением правдивости слов этой... женщины. Синьору Мальвестри сейчас недосуг: он занят делом куда более важным.

Алессандро сделал короткую паузу, словно с усилием подбирая слова, достойные происходящего.

— Пригласите вашего врача. И выясните, говорит ли эта... — он вновь оборвал фразу, так и не найдя подходящего определения, — говорит ли эта женщина правду. Я потерплю ее присутствие в доме до тех пор, пока истина не будет установлена. Если же она солгала и ее утроба, как пересохший колодец, пуста, я лично отвезу ее в самый суровый и отдаленный монастырь Калабрии[61]⁶¹.

Лудовика Бернадетта мягко, примиряюще улыбнулась. Так обычно улыбаются те, кто всю жизнь привык гасить пожары в чужих душах.

— Хорошо, ваша светлость. Я займусь этим вопросом.

⁶¹ В Неаполитанском королевстве XVIII века знатная женщина могла быть помещена в монастырь по воле семьи или супруга под формальным предлогом «духовного уединения» (итал. *ritiro spirituale*). На практике это часто служило формой изоляции, наказания или устранения семейного скандала. Калабрия в то время считалась одной из самых удаленных и суровых областей Неаполитанского королевства. Расположенные там монастыри строгих орденов нередко использовались для фактической ссылки женщин знатного происхождения, утративших покровительство семьи. Для неаполитанской аристократки отправка в калабрийский монастырь означала изоляцию, утрату влияния и почти полное исчезновение из общественной жизни.

Можете не волноваться. Передайте синьорине Фьорелле мои самые добрые пожелания. Будем молить Господа о милости. Да защитят святая Мадонна и Сан-Дженнаро и ее саму, и ваше дитя.

Алессандро выслушал слова мачехи и молча кивнул, принимая сказанное. Не удостоив жену даже мимолетным взглядом, он развернулся и исчез в тени коридора, унося с собой запах надвигающейся грозы и горькое осознание того, что за милость, как и за недалекость, порой приходится платить слишком дорогую цену.

* * *

А ночью разразился суший кошмар. Фьореллу Паломму внезапно охватила мучительная, неудержимая рвота с примесью желчи цвета шафрана. Осмотрев больную, врач вынес суровый вердикт — «дурные соки бурлят в ее желудке и точат его изнутри».

Язык Фьоры распух от воспаления, пульсируя болезненной тяжестью, а веки налились свинцом. Головокружение накатывало волнами, сознание спутывалось в липком тумане.

Временами тело девушки сотрясали судороги, и тогда она стонала, не узнавая ни места, ни людей рядом. Маточное кровотечение усилилось, становясь всё более тревожным признаком надвигающейся беды.

Оценив всю совокупность симптомов, Артуро Мальве-

стри пришел к мрачному выводу:

— Организм синьорины Фьореллы подвергся *intossicazione universale* — общему отравлению. В подобных обстоятельствах, — произнес он медленно и с заметным напряжением в облике, — будет даже лучше, если ее чрево изгонит плод, ибо иначе и сама женщина не выстоит. Боюсь, что нам предстоит непростая битва за ее собственную жизнь.

После этих слов сердце Алессандро словно сорвалось с места и ухнуло в бездонную, адскую пропасть. Он схватил врача за рукав камзола, почти за грудки, и голос его — прежде уверенный и властный — задрожал в мольбе, растеряв прежнюю силу.

— Требуйте у меня что угодно, доктор. Деньги, земли, милости... Всё! — выдохнул он. — Только спасите ее. Спасите мою девочку. Без нее... без моего нежного, хрупкого Цветочка... мне не жить. Бог с ним, с ребенком — пусть Господь примет к себе его нерожденную душу. Главное, чтобы ОНА осталась в этом мире. Осталась со мной.

Мальвестри не стал отвечать. В ход пошли все средства, какие знала и признавала современная медицина. Фьорелле дали диоскоридиум[62]⁶² — почтенное лекарство, призван-

⁶² Диоскори́диум (итал. *dioscoridio*, лат. *dioscoridium*) — сложный опиумный препарат, распространенный в европейской медицине XVI–XVIII веков. Использовался как болеутоляющее, седативное и противосудорожное средство; состав варьировался, но обычно включал опиум, пряности и вяжущие вещества. В XVIII веке подобные препараты нередко входили в состав «семейных лекарств» и могли назначаться даже детям, что соответствовало медицинским представлениям

ное противостоять «гнилостному брожению соков», и териак^[63]⁶³ — драгоценное противоядие из шестидесяти ингредиентов, настоящее сокровище аптек Неаполя. Для удержания маточного кровотечения был приготовлен гемостатический болюс^[64]⁶⁴ — паста из шафрана, мирры, драконовой крови^[65]⁶⁵, ладана и красного вина, который сменялся тампоном с витриолем^[66]⁶⁶. Следом — кровопускание из лок-

эпохи.

⁶³ Териак (итал. *teriaca*; лат. *theriaca*, от др. — греч. *θηρίον* — животное, зверь) — сложный многокомпонентный лекарственный препарат, известный с античности и широко применявшийся в европейской медицине вплоть до XIX века. Содержал опиум и десятки растительных, минеральных и животных ингредиентов; считался универсальным противоядием, средством от «заражения соков», лихорадок и внутренних ядов. В Неаполе XVIII века входил в стандартный набор уважаемого врача.

⁶⁴ Болюс (итал. *bolo*, от лат. *bolus* — шарик) — лекарственная форма в виде плотной пасты или шарика, приготовляемой из порошков, смол и жидкой основы (вино, уксус, сироп). В медицине XVII–XVIII веков болюсы широко применялись как кровоостанавливающие, вяжущие и «укрепляющие соки» средства, в том числе при маточных кровотечениях.

⁶⁵ Драконова кровь (итал. *sangue di drago*; лат. *sanguis draconis*) — смолистое вещество красного цвета, получаемое из некоторых тропических растений (в частности, рода *Dracaena* и *Daemonorops*). В медицине XVII–XVIII веков использовалась как вяжущее и кровоостанавливающее средство, входила в состав болюсов, порошков и пластырей при кровотечениях и «разрыхлении соков».

⁶⁶ Витриоль (франц. *vitriol*) — медный купорос (сульфат меди), вещество, широко применявшееся в медицине вплоть до XVIII–XIX веков. В гинекологической практике применялся для прижигания (каутеризации) тканей, в том числе влагалища после выкидыша, с целью остановки кровотечения, «очищения» и ускорения заживления ран. Считалось, что антисептические свойства медного купороса помогают предотвратить инфекции, однако его лечебная эффектив-

тевой вены, дабы «гармонизировать бурлящий кровоток и вывести горячие пары».

Ее поили разведенным в белом вине медом с прополисом, дабы «упредить воспаление матки и умерить едкость рутного сока», давали экстракт белены — осторожно, капля за каплей, чтобы «притупить боль и усмирить судорожное возбуждение».

Алессандро сам подносил к губам любимой чашку с ромашковым отваром, а затем — холодную, почти ледяную воду, настоянную на мяте и мелиссе, дабы «освежить дух и охладить разгоряченное тело».

Алессия сняла с себя амулет с «орлиным»^[67]⁶⁷ камнем и бережно надела его Фьорелле на шею. Считалось, что он охраняет носителя и покровительствует деторождению, обе-

ность была ограниченной, а риск токсических и побочных эффектов — высоким. В условиях недостатка безопасных и действенных методов лечения прижигание оставалось одним из немногих доступных медицинских вмешательств того времени.

⁶⁷ Орлиный камень (итал. *pietra dell'aquila*, от греч. *aetós* — орёл) — азтит — мифический и одновременно природный камень, известный в античной и средневековой традиции. Бурый железняк глинистого происхождения, обычно эллипсоидальной или шарообразной формы, с полостью внутри. Название связано с легендой о том, что орлы использовали этот камень для защиты своих гнезд. В магических и медицинских представлениях Европы и Ближнего Востока азтит применялся как талисман, способствующий зачатию и благополучным родам: ему приписывали способность предотвращать выкидыши и преждевременные роды, а также облегчать и сокращать родовые схватки. Согласно популярной легенде, подобный камень носил Юлий Цезарь — якобы найденный в печени орла амулет даровал ему защиту и победу в сражениях.

регая от несчастий и преждевременной утраты жизни.

Но, несмотря на все старания, состояние Фьореллы лишь ухудшалось. Силы покидали ее, как капли воды с тающей сосульки: кап... кап... кап...

Мир вокруг вдруг стал чрезмерно ярким и громким. Фьора закрыла глаза и с облегчением нырнула в беззвучную обморочную темноту. Последнее, что она слышала, был надрывной, срывающийся от отчаяния мужской голос: «Цветочек, мой, умоляю, только не теряй сознание».

К рассвету девушка впала в тяжелое полузабытье, граничащее с бредом. Она перестала узнавать окружающих, не отвечала на вопросы, лишь бессвязно шептала что-то, обращаясь то к призракам прошлого, то к неведомым голосам. Ее пульс стал редким и слабым, дыхание — тяжелым и прерывистым.

Когда под глазами появились отеки, а белки приобрели желтоватый оттенок, доктор с тревогой произнес:

— По всей видимости, яд руты поразил печень — важнейший орган очищения крови.

К середине второго часа дня чрево Фьореллы извергло мертвый плод, но вместо облегчения пришла новая буря. После выкидыша силы стали стремительно покидать девушку.

К вечеру кожа ее сделалась сухой и обжигающе горячей, щеки на фоне общей смертельной бледности покрылись неестественным, лихорадочным румянцем. Фьору бросало то в сильный озноб так, что зубы стучали о зубы, то в пролив-

ной холодный пот, выступающий крупным бисером на лбу. Артуро Мальвестри мрачно зафиксировал:
— *Ardor uteri* — «жар матки», горячечный разлад соков, черная немочь.

Всё это означало одно — болезнь вошла в опасную, кризисную фазу. Внешне это выглядело как стремительное угасание. Кожа Фьореллы приобрела сероватый, землистый оттенок, губы растрескались и пересохли. Она впала в глубокое беспамятство.

Алессандро не отходил от постели любимой ни на шаг. В отчаянии он схватил врача за воротник. Выражение его лица было физическим воплощением кары божьей.

— Вы должны спасти ее, доктор! — прорычал он, как смертельно раненый зверь. — Просите, что угодно! Всё! Если она умрет — клянусь, вы отправитесь вслед за ней!

Мальвестри побледнел, но рук не опустил, напротив, расширил лечение. К терияку был добавлен доверов порошок[68]⁶⁸ и порошок иезуитов[69]⁶⁹ — мощные средства,

⁶⁸ Порошок Дóвера (лат. *Pulvis ipecacuanhae opiatas*, *Pulvis Doveri*) — порошкообразный лекарственный препарат XVIII–XIX веков, содержащий опиум и корень ипекакуаны с добавлением калиевой соли; пропорции могли варьироваться. Применялся как седативное, обезболивающее, снотворное и потогонное средство, особенно при горячке и сильных болях. Назван по имени английского врача Томаса Довера (1660–1742), предложившего рецептуру в 1730-х годах.

⁶⁹ Порошок иезу́итов, или иезуи́тский порошок (итал. *polvere dei Gesuiti*; лат. *pulvis gesuiticus*) — лекарственное средство из высушенной и истолченной коры хинного дерева с резко горьким вкусом. Применялся в XVII–XVIII веках как жаропонижающее средство при лихорадках, особенно перемежающихся, вклю-

призванные бороться с жаром и истощением. Им было по силам одолеть даже болотные и тропические лихорадки. В ход пошли также орвиэтан[70]⁷⁰ и митридат[71]⁷¹ — проверенные препараты старой школы, последние средства, к которым врач прибегал в случае, когда болезнь грозила перейти грань необратимого. Теперь вся надежда была именно на них.

Алессандро сам обтирал тело Фьоры полотенцем, смоченным в воде со льдом. Сам менял холодный компресс на ее лбу. Сам, с ложки, осторожно вливал ей в рот то ячменную воду, то разведенный уксус, то холодные эмульсии из семян

чая малярию. В Европу был завезен из Южной Америки испанскими монахами-иезуитами, откуда и получил свое название; выделенный химически хинин (лат. *chinino*) появился значительно позже.

⁷⁰ Орвиэтан (итал. *orvietano*; лат. *orvietanum*) — многокомпонентный лекарственный препарат-противоядие, широко применявшийся в Европе XVII–XVIII веков. Считался средством для «обезвреживания ядов» и лечения последствий отравлений; состав варьировался от девяти до 57 компонентов. В классических рецептурах наиболее часто встречались следующие ингредиенты: дягиль лекарственный, аконит волчий (в минимальных дозах), родильница лекарственная, горец змеиный, чертополох поникший, горечавка желтая, козлобородник черный, валериана лекарственная, диттани критский, германдер, ягоды лавра, ягоды можжевельника, корица, гвоздика, а также белое вино и мед; в отдельных вариантах добавлялись животные компоненты.

⁷¹ Митридат (лат. *mithridatum*; итал. *mitridato*) — многокомпонентный лекарственный препарат, широко применявшийся в европейских аптеках с античности и до XVIII века. Состоял из множества ингредиентов, включая опиум, мирру, агарик, шафран, имбирь, корицу, мускатный орех, ладан, кастореум, перец, горечавку и другие вещества; состав варьировался. Считался «сердечным» средством, обезболивающим, потогонным и универсальным противоядием.

дыни и мака — для утоления жажды, смягчения внутреннего жара и обезболивания.

Филанджери настаивал на новом кровопускании — ведь при «горячке» это считалось первым и главным средством. Врачи верили, что именно «дурная кровь» несет в себе воспаление. Однако Мальвестри возразил: пациентка уже потеряла слишком много крови.

— Новая венесекция может ускорить сердечную слабость, — заметил он мрачно.

Тем не менее, уступив настоятельным требованиям князя «сделать хоть что-то», он приставил по паре пиявок к вискам и в подреберье, чтобы «оттянуть жар» от головы и печени.

Когда пиявки, напитавшись кровью, разбухли и отпали, доктор приказал Алессии приготовить так называемые «мушкарды с кантаридином» — пластыри из порошка испанской мушки на основе спермацета — воскоподобного вещества из головы кашалота, смешанного с канифолью.

— Они вызовут пузыри на коже, — объяснил он. — И тем самым выманят болезнь изнутри наружу, подобно тому, как экзорцисты изгоняют демонов из бесноватых.

Алессандро сказал, что поставит их Фьорелле сам. Он осторожно перевернул обнаженное тело девушки на живот и прилепил клейкие серые пластыри туда, куда указал врач, — на внутреннюю сторону бедер, почти у паха, и ниже пояса. По словам доктора, в этих местах «огонь матки легче всего поддается отводу».

После этого князь вновь принялся обтирать свободные участки кожи холодным, влажным полотенцем, шепча про себя все известные молитвы, обращенные то к Господу, то к Мадонне, то к Сан-Дженнаро.

К исходу третьих суток кризис надломился. Жар стал спадать. Лихорадка ослабла. Фьорелла открыла глаза, но разум ее всё еще блуждал в тенетах бреда. Сознание было спутанным.

Она то звала матушку дрожащим голоском, то спорила на латыни с покойником-отцом, то пеняла няне на свою несчастливую жизнь, то читала отрывки сонетов, обращаясь к виконту Моразини, то упрекала Господа за то, что Он провёл ее по всем кругам ада. А потом вдруг начинала говорить с ребенком, которого уже потеряла, хотя еще не знала об этом.

Она просила у дитя прощения — за страх, за злые мысли, за слова, которых не следовало произносить. Обещала любить его, беречь и сделать всё возможное, чтобы его жизнь была счастливее, чем ее собственная.

Слушая этот бред, Алессандро вдруг почувствовал, как по щекам текут слезы. Впервые в сознательной жизни. Наверное, в последний раз он плакал лет в пять или шесть, когда еще не знал страха потерять всё и сразу.

Перешагнув через перевал кризиса, болезнь, словно хищник, не желающий выпускать добычу из когтей, отступала лениво и неохотно. Еще долгие дни она держала Фьореллу

на зыбкой границе между жизнью и смертью.

Следующую неделю девушка пребывала в тягучем, изнуряющем состоянии — не вполне живая и не полностью спасенная.

Алессандро окончательно переселился в ее покои. Он дежурил у постели Фьореллы попеременно с Алессией, не доверяя любимую больше никому. Спал тут же, на узкой кушетке, которую велел принести в ее спальню. Ел, не отходя от кровати, часто забывая о самом существовании еды.

Он перестал следить за собой: порой забывал умыться, сменить белье, о купании и бритье не вспоминал вовсе. Его собственное тело словно перестало иметь значение. Вся жизнь для него сосредоточилась в хрупкой фигурке, лежащей под теплым покрывалом.

Он поил Фьюру с ложки куртбульоном[72]⁷² — легким, почти прозрачным. Подавал ей оршад и охлажденную воду с лимонным соком. Капля за каплей, вливая осторожно вместе с напитками и саму жизнь. Отпаивал ее декоктом цикория, кордиалом[73]⁷³, оксимелем[74]⁷⁴, а также настоящим

⁷² Куртбульён (франц. court-bouillon) — легкий рыбный бульон, традиционно использовавшийся в европейской медицине XVII–XVIII веков на этапе выхода из тяжелых заболеваний. Считалось, что он «укрепляет соки», не раздражает желудок и легко усваивается ослабленным организмом. Рыбный бульон рекомендовался как наиболее желательная пища после горячки, отравлений и кровопотерь.

⁷³ Кордиал (франц. cordial, от лат. cor — сердце) — историческое название укрепляющего и стимулирующего средства, применявшегося для поддержания сердечной деятельности, повышения жизненного тонуса и общего укрепления организма. Кордиалы традиционно изготавливались на основе растительных экс-

на анисе, дуднике и лимоне веспетро[75]⁷⁵. Все эти средства были призваны укрепить организм, очистить кровь, восстановить печень после «внутреннего яда» и вернуть утраченные силы после долгой болезни.

Лихорадка всё еще возвращалась, особенно по ночам. Тогда дыхание девушки становилось неровным, лоб вновь покрывался горячей испариной, губы шептали бессвязные слова.

Сознание Фьореллы оставалось мутным, словно затянутое туманом озеро. Она то впадала в тяжелый сон, то просыпалась, не узнавая окружающих, и смотрела на Алессандро пустыми, потемневшими до предгрозовой небесной черноты глазами.

трактов, пряностей, сахара и/или спирта и использовались как вспомогательное средство при истощении, слабости, нервных расстройствах и в период выздоровления. Иногда в них добавляли такие ценные ингредиенты, как золото, жемчуг и коралл. Считалось, что они оживляют дух и защищают от болезней.

⁷⁴ Оксимель (греч. οξύ — кислый, μέλι — мёд) — традиционный лечебный напиток на основе меда и уксуса, известный с античности и широко применявшийся в народной и ранней врачебной практике. Использовался как противовоспалительное и антисептическое средство, для поддержания иммунных сил организма, улучшения пищеварения и работы желудочно-кишечного тракта. Оксимелю также приписывались общеукрепляющие и антиоксидантные свойства.

⁷⁵ Веспетро (итал. Vespetro) — ароматический травяной ликер итальянского происхождения, относящийся к категории кордиалов и дижестивов. Традиционно настаивается на смеси лекарственных и пряных растений, в том числе аниса, дудника (анжелики), цитрусовой цедры и других трав, на спиртовой основе. Использовался как общеукрепляющее и пищеварительное средство, а также для согревания и восстановления сил. В исторических и литературных текстах упоминается как лечебный настой или эликсир, применявшийся в малых дозах.

Лишь к четырнадцатым суткам болезнь окончательно повернулась к выздоровлению. Артуро Мальвестри, который всё это время почти безвылазно находился на вилле, наконец позволил себе облегченно выдохнуть.

— Что ж, — сказал он усталым, хрипловатым голосом, — могу порадовать хорошей новостью, ваша светлость: угроза смерти синьорины Фьореллы миновала.

Он тяжело опустился в кресло, в котором, казалось, все эти дни и дневал, и ночевал. Провел ладонью по осунувшемуся лицу, затем поднял взгляд на Алессандро и добавил, уже тише, с искренним изумлением:

— Признаться, то, что ваша подопечная выжила, можно считать истинным чудом. В таком хрупком сосуде — столь прочная сила духа... Это поражает. Редко кому из моих пациентов свойственна такая жажда жизни. Воистину, это признак необычайно крепкой, сильной натуры.

Поднявшись с кресла, доктор натянул на всклокоченную седую голову парик, давно отброшенный за ненадобностью, и устало улыбнулся:

— Что ж, наконец я могу покинуть вашу палаццину. Отныне синьорине Фьорелле потребуется лишь так называемая «кухонная терапия». Бульон из пулярки⁷⁶, отварные мясо и рыба, сыр, яйца, зелень и фрукты. Хороший повар сейчас ей нужен больше, чем хороший доктор. Чтобы не утом-

⁷⁶ Пулярка (от франц. *poularde*) — жирная, откормленная кастрированная курица. Ее мясо отличается особой нежностью.

лять пациентку лишними разговорами, все рекомендации по уходу и питанию я передам синьоре Алессии. В ближайшую неделю буду наведываться ежедневно, так что прощаюсь с вами лишь до завтра.

Алессандро поднялся, чтобы проводить врача. Подойдя к кассеттоне, он открыл верхний ящик и вынул заранее приготовленный мешочек с монетами.

— Не знаю, смогу ли я этими золотыми в полной мере отблагодарить вас, синьор Артуро, — произнес он негромко. — Вы даже не представляете, что сделали для меня. Вы не просто вернули мне любовь всей моей жизни... Вы вернули мне меня самого.

Доктор понимающе хмыкнул, без лишних слов убрал мешочек в карман, подхватил заметно опустевший кожаный бауле с оставшимися и не пригодившимися снадобьями, поблагодарил князя, почтительно раскланялся и вышел.

Алессандро же вернулся к кровати. На подушках лежало лишь жалкое подобие прежней Фьоры — исхудавшее, бледное, почти прозрачное. Вид — печальнее, чем сама смерть.

Он присел на край постели, бережно взял истончившиеся руки в свои и поцеловал их поочередно с такой осторожной нежностью, словно боялся причинить боль одним лишь прикосновением.

— Спасибо, что вернулась ко мне, *mi vida*[77]⁷⁷, — прошептал он. И в этих словах было больше молитвы, чем бла-

⁷⁷ Mi vida (исп.) — жизнь моя.

годарности.

Фьорелла медленно перевела на его осунувшееся лицо с многодневной иссиня-черной щетиной безучастный, потускневший взгляд. Алессандро с внезапной, непривычной болью в душе — той самой, которой, как считал, отродясь не было, — увидел ее полную отстраненность. Любимая была рядом, он держал ее руки, и в то же время — так отчаянно далека, словно между ними пролежала бездонная пропасть. От этого сердце сжималось так, что становилось дышать невмочь.

— Твоя лихорадка едва не прикончила заодно и меня, — тихо сказал он. — Я думал, что потерял тебя. В этот раз... безвозвратно.

Голос князя сорвался, охрип. А в его глазах промелькнуло то, чего никогда и никому не позволял видеть, — отголоски страха, живого, оголенного, неподдельного. Той слабости, которую всю жизнь прятал под броней непререкаемой силы и холодной уверенности.

Он снова взял ее хрупкую ладонь в свою — широкую, сильную — и осторожно, почти благоговейно, сплел пальцы со своими.

— Прости меня, — продолжил он, едва слышно. — Прости за то, что я не в силах отпустить тебя. Ты, наверное, надеялась ускользнуть от меня туда, где живут такие чистые души, как ты. В рай... Но я не смог. Не сумел тебя отпустить. Он на миг прикрыл глаза.

— Мне кажется, если бы ты умерла, я выгрыз бы тебя зубами у самой Смерти.

Он вновь поцеловал тыльную сторону хрупкой ладошки.

— Прости, что не дал тебе уйти. Прости, что не дал тебе умереть.

В глазах Фьореллы впервые мелькнуло хоть какое-то чувство — слабое, почти неуловимое, но живое. Недоумение? Замешательство?

Она долго смотрела на него, словно собирая силы, чтобы вернуть себя в этот мир.

— Чем вызвано это удивление в твоих глазах? — тихо спросил Алессандро.

Она помолчала. Дыхание ее было неглубоким, но ровным. И лишь минуту спустя ответила едва слышным голосочком:

— Вы... извинились.

Филанджери невольно усмехнулся. Устало, криво.

— И что с того?

— Я думала, вы не умеете этого делать.

Алессандро задумался, не сразу найдя слова.

— До недавнего времени я и сам так думал, — наконец произнес он. — Был уверен, что в моем лексиконе просто не существует слов, предназначенных для этого. Но твоя болезнь... — он на миг сжал ее пальцы, словно убеждаясь, что она действительно здесь, с ним. — Она переломила меня, перелопатила, перекромсала, как буря — морской берег. Я вышел из нее совершенно другим человеком.

Он вновь поднес ее руку к губам и поцеловал пальцы — медленно, бережно, как нечто бесконечно ценное.

— Отдыхай, мой Цветочек, — прошептал он. — Тебе нужно набираться сил.

Но, вопреки собственным словам, отпускать руку он не спешил. Казалось, само это прикосновение удерживает их обоих в уютном настоящем — не дает ей вновь соскользнуть в темноту болезни, а ему — утонуть в страхе, который еще не до конца отпустил сердце.

Пока их пальцы были сплетены, мир оставался цельным, дыхание — возможным, а надежда — не напрасной. И Алесандро сидел так, не двигаясь, не желая нарушить хрупкое равновесие момента, и лишь шептал на испанском так тихо, словно боялся, что громкое слово может вспугнуть саму жизнь:

— *Pacita mía... descansa. Yo velaré tu sueño u guardaré tu aliento. Tú eres mi remanso, mi cielo callado, mi pequeño mundo. Mientras respires, yo viviré. Mientras vivas, yo vivo contigo. No tengas miedo... aquí estoy. Siempre contigo*[78]⁷⁸.

⁷⁸ Пасита моя... отдыхай. Я буду оберегать твой сон и хранить твое дыхание. Ты — моя тихая гавань, мое безмолвное небо, мой маленький мир. Пока ты дышишь — и я буду жить. Пока ты жива — я буду жить тобой. Не бойся... я здесь. Всегда с тобой (исп.). [*Pacita mía* (исп.) — от *pace* — покой, мир. Дословно: мой маленький покой, мое маленькое умиротворение. Это поэтическое, почти интимное, обращение, встречающее в испанской литературе XVII–XVIII веков. Оно звучит очень мягко и глубоко, выражая высшую степень нежности по отношению к женщине].

Глава 4

Восстановление Фьореллы после пережитого отравления, выкидыша и последовавшего за этим воспаления тянулось мучительно долго. Болезнь не торопилась отпускать девушку, цеплялась за нее и не желала возвращать силы. Еще долго Фьора оставалась немощной и слабой, будто жизнь в ней всё еще раздумывала, в какую сторону повернуть: к окончательному выздоровлению или к тихому угасанию.

Для подпитки сил и здоровья доктор Мальвестри назначил ей электуарий[79]⁷⁹ на основе светлого акациевого меда. В его состав входила паста из тщательно перетертого сладкого миндаля, очищенных грецких орехов, плодов шиповника, сушеной цедры померанца, порошка из цветков лаванды, корня солодки, масла мелиссы, щепотки тертого мускатного ореха и нескольких тычинок шафрана[80]⁸⁰. Князь собственноручно кормил Фьору этой густой, ароматной массой натошак по утрам и вечером. Утром он заставлял ее запивать лекарство ячменным отваром, а вечером — парой глотков

⁷⁹ Электу́арий (лат. *electuarium*) — лекарственная форма, распространенная в медицине XVIII века: густая паста из меда, сиропа или варенья с добавлением растительных порошков, масел и пряностей.

⁸⁰ В современной интерпретации такой состав можно назвать общеукрепляющим, успокаивающим и адаптогенным, с выраженным психоэмоциональным эффектом — что особенно уместно после физической и душевной травмы.

теплого белого вина.

После мушкардов кожа Фьоры еще долго хранила заметные следы. В местах воздействия кантаридина она покрылась россыпью крупных водянистых волдырей, окруженных ярко-алым, воспаленным ореолом. Поверхность выглядела глянцевой и крайне болезненной. Она напоминала следы от глубоких ожогов, из которых при малейшем движении сочились прозрачная сукровица.

Алессия смазывала их так называемой «белой мазью»[81]⁸¹, которая неплохо подсушивала болячки, и накладывала прописанные доктором трохиски[82]⁸² с заживляющим алтеем.

И всё же бледные следы на коже остались. Врач уверял, что это пройдет. Он велел делать компрессы с миндальным молоком и смазывать эти места розовым маслом.

Алессандро все эти процедуры делал сам. Раздевал Фьюру

⁸¹ Белая мазь (лат. *Unguentum album*) — мазь из церуссы (лат. *Serussa* — оксид свинца, т. н. «свинцовые белила») была стандартным ингредиентом аптечных мазей в Неаполе 1771 года и широко применялась для смягчения ожогов, «охлаждения» воспаленной кожи, уменьшения экссудации и ускорения заживления волдырей, в том числе вызванных препаратами кантаридина. Несмотря на токсичность свинца, подобные мази считались безопасными и особенно рекомендовались пациентам из аристократических кругов.

⁸² Трохиски (итал. *trochisci*, множ. ч. от *trochiscus*) — лекарственная форма, употреблявшаяся в медицине XVII–XVIII веков: небольшие спрессованные лепешки или таблетки из растительных порошков (часто с добавлением камеди), которые перед применением растирали или разводили водой, розовой водой или маслом и накладывали наружно в виде пасты; использовались, в частности, для лечения ожогов и воспалений кожи.

донага, укладывал на живот и прикладывал к ожогам на поясице и бедрах тряпицы, смоченные в миндальном молоке. Заставлял так лежать не менее получаса. А сам в это время покрывал плечи, голени и ступни поцелуями. Особенно его влекла попка, которую мужчина любовно оглаживал, называя при этом *nata montada* — взбитыми сливками.

Иногда князь не выдерживал, вставал рядом на колени и, стянув вниз штаны, в несколько касаний к возбуждавшемуся органу спускал ей на спину свое семя, смазывая им затем покрасневшие места. Его светлость утверждал, что это лучшее средство для ожогов. Оно целебнее любых лекарственных снадобий. Раздраженная кожа, обработанная таким образом, успокоится гораздо быстрее. Но Фьоре упрямо чудилось: дело не в исцелении. Просто-напросто его светлость не упускает случая снова пометить ее собою.

И потому вечерние обтирания лоделавандом[83]⁸³ Фьора принимала с особенным удовольствием: ароматная вода, освежающая и нежная, приносила облегчение, особенно тогда, когда тело еще отзывалось болезненным жаром.

Но князь умудрялся и эту незатейливую процедуру превращать в некое подобие эротического пиршества для себя. Он проводил влажной мягкой тканью медленно, задерживая

⁸³ Лоделаванд (франц. l'eau de lavande) — ароматическая вода, получаемая путем перегонки лаванды. В XVIII веке вечерние обтирания ею были обычной и изысканной практикой: прохладная, тонко пахнущая вода освежала тело, снимала дневное утомление и успокаивала нервы, способствуя спокойному сну, особенно в душных спальнях аристократических домов.

руки в некоторых местах дольше, чем требовалось; а потом, будто извиняясь за причиненные неудобства, касался губами обработанных мест — бережно, трепетно, почти благоговейно. От этих нежных касаний становилось не легче: толпы возбуждающих мурашек рассыпались по всей коже, делая заботу князя еще одним способом привязать ее к себе.

Иногда Фьюру пугало это почти избыточное внимание его светлости. Князь Алессандро осыпал ее дарами — томиками сонетов итальянских поэтов, шкатулками с изящными заколками, редкими туалетными принадлежностями, украшениями с жемчугом и драгоценными камнями и разными прочими багателями[84]⁸⁴. Она не хотела принимать всё это, старалась в такие минуты отстраниться от мужчины, выстроить хотя бы какую-то защитную стену между ним и собою. Но разве возможно было держать дистанцию с человеком, который, сосредоточил всю свою жизнь, все свои помыслы и внимание исключительно на ней?!

Фьюрелле казалось, что Алессандро Дамиано окончательно переселился в ее спальню. Такое ощущение возникало потому, что князь почти не отходил от нее. Он завтракал, обедал и ужинал рядом. Здесь же, на той же кровати, обнимая ее, проводил ночи. Покидал будуар лишь затем, чтобы принять ванну, переодеться и побриться.

⁸⁴ Багатель (итал., франц. *bagatelle*) — пустяки, безделицы; в культуре XVIII века обозначало изысканные мелочи (ленты, миниатюры, табакерки, флаконы для духов), характерные для галантного быта и куртуазных отношений.

Последнее вызывало у Фьореллы молчаливое облегчение: щетина на лице его светлости беспокоила и нервировала ее. Небритый, он казался особенно угрожающим — диким зверем, затаившимся в засаде. Во время поцелуев жесткая борода терлась о ее кожу, оставляя красные, болезненные следы раздражения. А тщательно выбритый, он делался гораздо более безопасным и привычным.

Порой, выныривая из полудремы, Фьорелла видела князя, склонившегося над письменным столом, который по приказу его светлости перенесли из кабинета в ее покои. Шорох вскрываемых писем, негромкое переключивание бумаг, стук костяшек на счетах, скрип пера — эти звуки стали для нее привычными, почти успокаивающими. И даже само присутствие его светлости больше не тяготило так, как прежде. Казалось, она постепенно, почти незаметно для самой себя, привыкает к его присутствию в своей жизни.

За долгие дни болезни этот мужчина стал для нее таким же естественным и обыденным, как воздух, которым дышала, или солнечный свет, просачивающийся утром сквозь ставни. Страх перед ним исчез без следа: она больше не вздрагивала ни от низкого тембра его голоса, ни от уверенных и порою резких движений, не сторонилась прикосновений заботливых рук.

То, от чего когда-то сжималось сердце, теперь воспринималось спокойно, почти неизбежно. Его поцелуи сделались привычным, почти прозаическим знаком любви и участия,

как ровный ритм собственного пульса, как размеренное бие-
ние успокоенного сердца. Они больше не навевали ощущение
пугающей, волнующей тревоги.

И сам князь перестал казаться чуждым, грозным, непо-
стижимым и далеким. Он просто был рядом: приносил ле-
карства, поправлял подушки, читал вслух стихи испанских и
французских поэтов. Постепенно Алессандро Дамиано стал
фактом ее реальности — надежной и твердой опорой в мире
боли и медленного возвращения к жизни.

Нет, она не полюбила его. Не было в ее сердце того, что
чувствовала по отношению к виконту Моразини. Но в ду-
ше поселилось нечто иное — робкое и почти неосознанное
принятие этого человека. Она перестала видеть в князе на-
сильника. Он сделался тем, чье присутствие больше не на-
прягало, чьи шаги навевали не беспокойство и напряжение,
а смутное чувство уверенности, что борется со своей хворью
не одна.

Фьорелла приняла его светлость, как принимают неиз-
бежную перемену погоды. Без восторга, но и без сопротив-
ления. Просто потому, что иначе, как казалось, уже и быть
не могло. Этот мужчина занял свое особое место в ее жизни,
и его теперь уже невозможно было представить пустым.

Именно он, князь, оказался рядом в тот миг, когда Фьо-
релле предстояло пережить страшное известие о том, что по-
теряла ребенка. Его светлость говорил осторожно, подбирая
слова. Фьора слышала его голос, но не могла постичь смысл

сказанного. Мысль, еще не оформившаяся, медленно и мучительно прорастала в сознании, требуя времени, чтобы обрести ясность. И лишь когда понимание наконец настигло ее, боль обрушилась внезапно и беспощадно — такая острая, что казалось, она заново, здесь и сейчас, всем существом терзает неродившееся дитя.

Скопившиеся в страдающем сердце слезы прорвали сдерживающую заслонку и хлынули из глаз нескончаемыми потоками. Фьоре чудилось, что может утонуть, захлебнуться в этом горе.

Фьорелла винила в случившемся только себя. Ее собственное сердцебиение казалось обвинительным набатом. В глубине души девушка знала: утрата ребенка не была слепым ударом судьбы. В самые темные ночи, проведенные в монастыре, когда в голове, словно тяжелые булыжники, перекачивались мысли о произошедшем, она шептала в отчаянии не молитвы о спасении, а жестокие слова: «Господи, очисти меня от плода насилия, не дай княжескому семени прорасти в моем чреве, забери дитя его светлости к себе, сотри след случившегося, словно его никогда и не было».

Фьора молила Господа не о жизни, а об избавлении, и теперь ей казалось, что Бог услышал именно этот, самый темный, самый непростительный зов. Не Лукреция с ядом, спрятанным в шоколаде, не нелепая случайность или слабость тела — она сама — виновница своей потери. Это ее нежелание, ее отторжение стало тем ножом, что перерезал

тонкую нить еще не случившейся жизни.

В собственных глазах она превратилась в Медею^[85]⁸⁵, в детоубийцу, уничтожившую дитя не клинком в руке, а силой желания. И позднее принятие того крохи, ее попытка полюбить то, что уже было обречено, — не оправдание, а лишь горькая ирония, последний акт трагедии, где ей пришлось сыграть роль и палача, и скорбящей матери.

И спасибо Мадонне, что князь в эту минуту был рядом. Он не позволил Фьорелле впасть в бездну одинокого страдания. Его светлость поднял ее на руки и усадил к себе на колени, прижал, словно желая укрыть от самой этой боли.

Его ладони скользили по волосам и спине медленными, успокаивающими движениями, а поцелуи — трепетные, почти благоговейные — ложились на лоб и виски. Его светлость стирал потоки слез с щек и мягким, убаюкивающим голосом говорил о том, что их маленького ангела Господь взял под свое крыло; что эта утрата будет точно последней; что он сделает всё, чтобы у них были другие дети, много детей. Князь уверял, что она непременно станет матерью — нежной, любящей, самой лучшей для всех его отпрысков.

И в тепле мужских объятий, в словах, произнесенных с глубокой, почти отчаянной верой, Фьора впервые ощутила:

⁸⁵ Медея (др. — греч. Μήδεια, от μήδεια — мысль, намерение, замысел) — героиня древнегреческого мифа и одноименной трагедии Еврипида; в порыве мести и отчаяния она убивает собственных детей, рожденных от Ясона. В этом контексте образ Медеи используется как символ крайней вины, самоосуждения и разрушительной силы страсти.

боль не исчезла, но стала не такой жестокой, ибо рядом был сильный мужчина, готовый разделить не только ее утрату, но и каждую слезу.

Этим вечером его светлости не было рядом: мажордом сообщил князю, что синьор Скальфаро настоятельно желает переговорить с ним. И стоило Алессандро покинуть ее покои, как боль утраты вновь подняла голову в душе Фьоры. Не так ярко, но очень настойчиво, словно давно затаившийся зверь. Без мужского присутствия, без привычного чувства опоры и согревающего тепла, горе вернулось с прежней остротой.

Фьорелле внезапно, почти отчаянно захотелось излить скопившиеся в груди чувства на бумагу — дать им выход, пока не задушили изнутри. Это был первый подобный поэтический порыв за истекшие месяцы, и потому Фьора решила не противиться ему.

— Алессия, — обратилась она к камеристке, сидевшей у окна с вышиванием, — не могла бы ты подать мне перо, чернила и бумагу?

Служанка тотчас вскочила с места.

— Разумеется, синьорина Фьорелла. Вы, верно, желаете написать письмо своей нянюшке? Синьора Мария Кончетта уже несколько раз приходила к воротам виллы. Мне очень жаль, но его светлость велел не пускать ее к вам. Князь страшно осерчал на бедную женщину за то, что она помогла вам бежать в монастырь. Я старалась, как могла, утешить ее

— уж очень она за вас тревожилась. Рассказала ей, как обстоят ваши дела. Но письмо... да, письмо сейчас и впрямь было бы весьма кстати.

Говоря это, Алессия пододвинула к креслу-шезлонгу, в котором полулежала Фьора, легкий деревянный геридон, искусно инкрустированный перламутром и черепаховым панцирем. На столик она поставила чернильницу с гусиным пером и подала переносную деревянную подставку для письма, на которой аккуратной стопкой лежала бумага.

Фьорелла, сделав мысленную зарубку позже написать и Татине, медленно взяла верхний лист, остальные аккуратно отложила в сторону. Она обмакнула перо в густые, почти маслянистые чернила, поднесла его к слегка желтоватой бумаге — и замерла. Мысли теснились, сталкивались, стремясь разом прорваться наружу и заполнить поэтическими строками нетронутую пустоту. Фьорелла задержала дыхание, словно собирая душевные силы, прежде чем сделать первый, самый трудный шаг — облечь боль в слова.

За окном моросил дождь, и капли, будто бесконечные тихие слезы, глухо стучали по стеклу. В комнате в унисон этому плачу оплывали воском почти догоревшие свечи. Их меланхолический свет словно подпитывал ее сатурнианскую[86]⁸⁶ хворь, наделяя душу тяжелой, вязкой печалью,

⁸⁶ Болезнь Сатурна, сатурнианская меланхолия (лат. *morbus Saturni, melancholia saturnina*) — понятие, восходящее к античной и средневековой астрологии и медицинской традиции. Сатурн считался планетой печали, созерцательности и тягостных размышлений; «сатурнианский темперамент» связывали

что сочится внутри, как осенний туман над болотами.

Перо в пальцах лихорадочно поскрипывало, оставляя на бумаге дерганный, неровный след. Строчки ложились на бумагу сбивчиво и криво. Жирная штриховка на словах, не желавших подчиняться размеру и рифме, выглядела заплатами на ткани рождающегося сонета. Вымаранные фразы не красили написанное, но делали его еще более честным и искренним.

Наконец, отложив перо, Фьорелла перечитала то, что получилось:

Не ощутив сердцебиения ещё,
Тебя во чреве не почувствовав вполне,
Мой светлый Ангел, счастье хрупкое моё,
В душе я знала: ты живешь во мне.
Я о прощении не Господа молю,
А лишь тебя, мое почившее дитя.
Так поздно я любовь к тебе осознаю...
Ты в небо воспарил. Покинул ты меня.
Свой взор я в выси Рая устремляю,
И память о тебе я в сердце берегу.
Душа моя противится такой судьбе:
О слове «мама» больше не мечтаю
И точно знаю: никогда я не смогу
Без слёз, мой Ангел, думать о тебе...[87]

с глубокой меланхолией, склонностью к внутренним терзаниям и духовной тяжести.

Чувство вины вьелось в душу Фьореллы глубже самой печали, глубже боли утраты. Оно отныне стало ее тайным спутником, не позволяя забыть, что порой Бог исполняет самые страшные из наших молитв. Эта мысль жгла совесть каленым железом, не давала ни покоя, ни забвения. И с этим ощущением собственной вины — как с незримым, но вечным клеймом на душе — Фьорелле предстояло идти по жизни дальше, неся его в себе как отголосок болезненного минувшего.

* * *

Алессандро Дамиано, скрипнув ножками кресла по натертому паркету, поднялся из-за стола, сцепил руки за спиной и медленно прошелся по кабинету. Он остановился у окна и на мгновение замер в молчаливом, тяжелом раздумье. По стеклу тянулись дождевые дорожки — длинные, дрожащие, будто слезы, оплакивающие прежние представления о самом себе, о своем имени и собственной родословной.

Рассказ Карло Скальфаро и аккуратно разложенные на столе копии документов — сухие, беспощадные свидетельства из его прошлого — перевернули всё, что Алессандро считал незыблемым. Каждая исписанная на пергаменте строка, каждая восковая печать будто стирали столпы его неколебимой доселе уверенности, выстраивая совершенно новые очертания минувшего. Теперь ему казалось, что даже воз-

дух в кабинете стал плотнее, насыщеннее тайнами, которые прежде оставались намеренно сокрытыми.

Неужели в основе каждого неаполитанского семейства лежат гробницы и саркофаги, полные секретов, тщательно спрятанные под слоями времени, приличий и нежелания знать правду? Тайны, которым суждено выйти на свет лишь по воле случая, когда неожиданно сходятся в одной точке судьбы людей, коим вроде бы не суждено было пересечься.

Не найми он в свое время Карло Скальфаро, не встретиться тот в его доме с Алессией Маньяни, — правда так и осталась бы погребенной под спудом минувших лет. Она не нарушила бы устоявшегося порядка жизни. Алессандро продолжал бы считать себя тем, кем с детства приучили быть. Он никогда не узнал бы, что он аристократ лишь наполовину, что по сути — бастард, а его незаконнорожденность спрятана под замком лжи, тайн и умолчаний.

Поверенный, действуя строго в пределах полученного поручения, провел тщательное расследование, шаг за шагом восстанавливая цепь событий, давно минувших и намеренно погребенных во времени всеми участниками. В ходе этого разыскания было установлено, что находившаяся в услужении у подполковника неаполитанской армии Джорджио Алессандро Филанджери Ла Фарина Алессия Маньяни — уроженка папского анклава Беневенто — 5 марта 1733 года родила от своего господина сына, которому при крещении было дано имя Алессандро Дамиано.

Факт рождения подтверждался записью в церковноприходской книге Кьеза-ди-Санта-София-ди-Беневенто[88]⁸⁷. Аккуратная выписка из оной, выведенная рукой тамошнего писаря, с указанием даты, имен и обстоятельств, придавала неоспоримую вещественность тому, что в голове Алессандро сформировалось лишь в виде догадки.

Однако этим доказательства не исчерпывались. Карло Скальфаро, помимо заверенной выписки из приходского реестра, представил Алессандро копии королевских рескриптов: о легитимизации внебрачного ребенка и о даровании ему графского титула, а также нотариально удостоверенные свидетельские показания некого Гуидо Монтерезини, своего давнего приятеля. Тот в 1732–1733 годах состоял аттенденте[89]⁸⁸ при подполковнике Филанджери Ла Фарина и потому был непосредственным очевидцем давней истории.

В этих показаниях без обиняков утверждалось, что отец

⁸⁷ Кьеза-ди-Санта-София-ди-Беневенто (итал. Chiesa di Santa Sofia di Benevento) — одна из древнейших и наиболее значимых церквей Беневенто, основанная около 760 года лангобардским герцогом Ареxisом II. В Средние века и Новое время служила палатинской церковью правителей и считалась главной церковью города по престижу. В XVIII веке оставалась важнейшим религиозным и символическим центром города.

⁸⁸ Аттентденте (итал. attendente) — в итальянской военной и административной практике XVII–XVIII веков солдат или младший чин, прикрепленный к офицеру для личных и служебных поручений: сопровождения, передачи распоряжений, поддержания порядка и исполнения повседневных обязанностей. Функционально соответствует ординарцу; в отличие от курьера (итал. portaordini), находился при офицере постоянно и не ограничивался лишь доставкой приказов.

Алессандро состоял во внебрачной связи со своей служанкой Алессией Маньяни и что плодом этой связи стал сын, рожденный обозначенной женщиной весной 1733 года. Ребенка впоследствии забрал к себе отец — князь ди Сатриано и ди Арианиелло, распорядившись его дальнейшей судьбой так, как позволяли власть, положение и королевская милость.

Собранные воедино, эти документы складывались в цельную и связную картину, в которой прошлое обретало, наконец, четкие очертания, а истина — имена, даты и названия мест тех давних событий.

Алессандро повернулся к поверенному, терпеливо ожидавшему ответа. Карло Скальфаро чуть наклонил голову вперед и смотрел на собеседника внимательно, с тем сдержанным участием, в коем легко угадывалась профессиональная настороженность человека, привыкшего иметь дело с тайнами и их последствиями.

— Ваша светлость, — осторожно произнес он, — надеюсь, я не слишком вас расстроил?

Филанджери не ответил сразу. Он провел ладонью по спинке стоявшего рядом кресла, словно стирая пыль с раскрывшихся семейных тайн. Обойдя его, придвинул ближе к креслу поверенного и, протяжно вздохнув, опустился на сиденье. Откинулся назад, неспешно вытянул ноги вперед. Пальцы его задумчиво коснулись подбородка, скользнули по щеетине — жест рассеянный, почти машинальный.

Скальфаро понял, что его светлость тщательно взвешивает в уме слова, которые еще только предстояло произнести.

Как ни странно, известие о собственном незаконном рождении и о том, что его мать была всего лишь простой горожанкой, не обрушилось на Алессандро сокрушительным ударом. Он уловил в себе лишь слабое эхо, отголосок того потрясения, которое, вероятно, испытал бы еще несколько лет назад. Тогда подобная правда уязвила бы его самолюбие, расшатала бы тщательно выстроенный образ самого себя, заставила усомниться в прочности имени, которое носил.

Но сейчас... сейчас всё это казалось почти безразличным, словно относилось не к нему, а к далекому, чуждому человеку. Причин тому было несколько, и каждая из них, сплетаясь с другой, гасила возможную боль еще до того, как успевала возникнуть.

Во-первых, он был к такому повороту судьбы готов — пусть не разумом, а внутренним чутьем. Еще тогда, когда Карло Скальфаро как бы между прочим обмолвился о некой Алессии, прислуживавшей отцу в Беневенто, генеалогическое древо, казавшееся прочным и незыблемым, едва заметно пошатнулось.

В душе Алессандро поселился крохотный, но на редкость живучий и настойчивый червячок сомнения. Он не терзал и не грыз — лишь время от времени напоминал о себе, вынуждая смотреть на прошлое под иным углом, иначе прочитывать случавшиеся в прошлом семейные сцены, пере-

осмысливать взгляды, жесты, внезапные паузы в разговорах и те недомолвки, которые прежде казались не слишком существенными.

Во-вторых, сама Алессия. Для него она никогда не была просто кормилицей. В ее заботе о нем, в мягкой интонации голоса, в том, как умела молчать рядом, как понимала его с полуслова и полувзгляда — всегда чувствовалось нечто большее, чем обыкновенное чувство долга или старательность, оплаченная жалованьем.

Узнав, что она — его родная мать, Алессандро не испытал потрясения, подобного грому среди ясного неба. Эта правда лишь спокойно и бережно расставила по местам разрозненные детали мозаики, которые прежде упрямо отказывались складываться в целое.

Создавалось ощущение, будто эта истина давно жила в его сознании — пусть без четко оформленного слова *матта*, но с ясным, не требующим доказательств внутренним знанием самого сего факта. Поэтому образ кормилицы так легко сменил рамку — с простой, деревянной на золоченую и законную — в сердце самого Алессандро. Возможно, он никогда не станет называть ее матерью вслух, но по существу она уже давно была ею — истинно и непреложно.

В-третьих... Как человек, привыкший раскладывать хаос по полкам, Филанджери продолжил мысленный подсчет причин своего спокойствия, — с тех пор как в его жизни появилась Фьорелла Паломма, он стал смотреть на мир иначе.

Не глазами наследного князя, а взглядом живого человека, способного чувствовать, сомневаться, бояться и надеяться. Эта девушка... Она стала осью, вокруг которой медленно, но неотвратимо начал поворачиваться весь его внутренний мир. Любовь к ней — болезненная, сложная, далекая от идеала — изменила его сильнее, чем годы обучения и все военные походы вместе взятые. Она научила смотреть на многие вещи иначе. На власть — не как на вседозволенность, а как на ответственность. На людей — не как на деревянные фигуры на шахматной доске, а как на живые судьбы. Он стал другим. Не сразу, не вдруг — но всецело и бесповоротно.

И потому правда, обрушившаяся на него сегодня, не застала врасплох. Она пришлась ко времени. Если бы узнал ее раньше, в юности, когда мир был выкрашен исключительно черными и белыми красками, а гордость и высокомерие были остры, как клинок, — это откровение, возможно, сломило бы его. Но теперь... теперь он был готов к нему. Внутренне. Морально. Человечески.

Он уже знал, что титул — далеко не самое главное достоинство человека. Что чистота крови не гарантирует чистоты поступков. И что любовь — подлинная, выстраданная — способна переплавить даже уязвимость в силу.

И, наконец, в-четвертых. Эта истина ничего у него не отнимала. После смерти старшего брата княжеский титул и все отцовские владения перешли к нему по праву наследования — праву, признанному людьми и закрепленному зако-

ном. Юридическая машина оставалась слепой к тонкостям его рождения. В глазах закона он был и оставался единственным наследником, и этому праву ничуть не вредил тот факт, что он был тем, кого в Испании насмешливо именовали *el poseedor de una pluma blanca*[90]⁸⁹ — обладателем белого пера, выдающего примесь низкой крови. Открытая правда внесла коррективы в его происхождение, но не в положение. Она не имела власти над его именем и не могла изменить судьбу.

Быть может, именно поэтому осознание того, что он по сути бастард, не причиняло боли. Оно лишь расставило всё по местам — как последняя недостающая тессера в мозаике, которая не меняет общего рисунка, потому что тот и без нее был ясен и почти завершен.

Алессандро молча раскрыл папку с документами, принесенными поверенным, пробежался взглядом по аккуратно разложенным листам и тут же снова закрыл ее, словно окончательно поставив точку в своих размышлениях. Он закинул ногу на ногу, сцепил пальцы под коленом и лишь после этого заговорил:

⁸⁹ Обладатель белого пера (исп. *el poseedor de una pluma blanca*) — иносказательное обозначение человека «нечистокровного», незаконнорожденного или происходящего не из полностью признанной линии. Образ восходит к традициям испанского петушиного боя: у бойцового петуха (исп. *gallo de pelea*) наличие белого пера считалось признаком отсутствия «чистоты крови». Эталонными признавались петухи с золотистым, красным, черным и медным оперением; белые экземпляры встречались редко и выбраковывались из-за устойчивых предрассудков, связанных с происхождением и традицией.

— Я... благодарен вам, синьор Карло. Вы проделали большую и серьезную работу. А что до того, расстроили ли вы меня результатами... — он на мгновение задумался, подбирая слова. — Еще Платон сказал: «Можно простить ребенку страх перед темнотой, но подлинная трагедия жизни — когда взрослый боится света». Я бы лишь добавил: боится света правды.

Князь говорил спокойно, без позерства, но в каждом слове чувствовалась внутренняя убежденность человека, уже принявшего решение.

— Тот, кто отказывается знать истину, выбирает не покой, а отсроченную боль. В моем случае правда — это не откровение, а приговор самообману. Она не всегда освобождает от иллюзий мгновенно; чаще сначала вскрывает замки внутри нас. Бояться правды — всё равно что жить в доме без окон: крыша над головой есть, тепло вроде бы тоже... Но света не будет никогда. Всё того же пресловутого света правды.

Он чуть качнул головой, словно подводя итог собственным мыслям.

— Так что нет, вы меня не расстроили. Напротив — я признателен вам за то, что помогли узнать истину.

Закончив говорить, Алессандро потянулся к геридону, стоявшему между креслами, и взял в руку колокольчик для вызова прислуги. Короткий, чистый звон разнесся по комнате. Вскоре на пороге появился мажордом виллы.

— Вы звали меня, ваша светлость?

— Да, Гальвано. Пригласите ко мне синьору Алессию.

— Сию минуту, ваша светлость, — почтительно ответил тот и бесшумно удалился.

Оставшись вновь наедине с поверенным, Алессандро поднялся, подошел к секретеру и, отперев ключом потайной ящичек, вынул небольшой мешочек с монетами. Вернувшись к креслам, он положил кошель на геридон.

— Вот, синьор Карло. Возьмите. Вы это заслужили.

— Благодарю вас, ваша светлость, — Скальфаро забрал вознаграждение и сунул его в карман.

Алессандро снова опустился в кресло и обеими руками провел по длинным распущенным волосам, зачесывая их назад. Этот жест был почти невольным — словно стряхивал с себя тяжесть уже озвученного и готовился к разговору, который, без сомнения, окажется куда более трудным, чем всё, что было произнесено до этого.

— Ваша светлость, — наблюдавший за его действиями поверенный вдруг оживился, — если позволите дерзость вопроса, — осмелюсь спросить: по какой причине вы не носите парик? Или это лишь я никогда вас в нем не видел?

Алессандро усмехнулся — не насмешливо, а скорее задумчиво.

— Нет, синьор Карло, накладные волосы я действительно не ношу. Благо, Господь не обидел своими.

Князь вновь, уже нарочно, прочесал шевелюру пятерней.

— Для меня парик — это своего рода маска возраста. Ста-

риков он делает моложе, зеленоголовым — напротив, придаст солидности и кажущейся мудрости. А я... я предпочитаю, чтобы меня видели таким, каков я есть, без чужих волос и не своих лет.

Он на мгновение замолчал, затем добавил уже тише, с оттенком практического опыта:

— К тому же на корабле парик — предмет скорее вредный, чем полезный. Штормовой ветер не спрашивает о знатности: он срывает всё, что плохо держится. Низкие реи, колючие снасти — одно неловкое движение, и рискуешь оставить заимствованную шевелюру подвешенной на каком-нибудь крючке или, что еще хуже, за бортом корабля. В море ценят не внешний лоск, а свободу движений, удобство и ясность головы. А парик... парик мешает и тому и другому.

Алессандро пожал плечами.

— Так что я своей корабельной привычкой заменяю даже дворцовый этикет. Предпочитаю быть человеком, а не парадным портретом.

В этот момент в дверь раздался характерный, уже давно знакомый и привычный стук — негромкий, осторожный, робко просящий дозволения войти.

— Входи, Маммарелла, — произнес князь и сразу же перевел взгляд на Скальфаро.

Поверенный понял его без слов.

— Я, пожалуй, откланяюсь, ваша светлость.

Он поднялся из кресла и, направляясь к двери, вырази-

тельно взглянул на вошедшую женщину. Алессия, уловив его взгляд, заметно смутилась и тотчас опустила глаза, словно была застигнута врасплох.

— Как я понимаю, вам предстоит далеко не самый простой разговор, — добавил Скальфаро вполголоса.

В ответ Алессия метнула в его сторону неприязненный, почти враждебный взгляд. Поверенный лишь понимающе усмехнулся.

— Разрешите откланяться, ваша светлость. И еще раз благодарю вас за столь щедрую оплату моих услуг.

Он почтительно склонил голову, развернулся и вышел. Дверь мягко закрылась, отрезав комнату от внешнего мира. Наступила тишина — плотная, напряженная, наполненная удерживаемыми в душах обоих присутствующих в кабинете словами.

Алессандро неотрывно смотрел на кормилицу.

— Садись в кресло, Мамма... — он вдруг осекся на полуслове.

Алессия вскинула на него глаза — темные, почти черные, такие же, как у него самого. В этот миг Филанджери кольнула мысль, острая и ясная: и как он раньше не замечал этого сходства? Столь очевидного, столь неоспоримого. У него же и впрямь материнские глаза. И цвет и характер волос тот же.

— Маммарелла, присаживайся, — поправился он, стараясь сохранить спокойствие. — Нам с тобой нужно серьезно поговорить. О многом.

Алессия поспешно села в кресло и чинно сложила дрожащие руки на коленях. Тут же, словно не зная, куда их деть, расправила концы канзу, потом машинально убрала за ухо выбившийся из гладко зачесанных и собранных в пучок волос локон. Каждое ее движение выдавало волнение, которое женщина тщетно пыталась скрыть.

Алессандро, наблюдая за этой нервной суетливостью, мягко улыбнулся и неожиданно даже для самого себя сказал: — Мама... не стоит так волноваться.

Лицо Алессии в тот же миг преобразилось. Испуг, растерянность, неверие, изумление, радость и облегчение — всё это разом отразилось в ее чертах, словно луч свет прошелся по палитре испытываемых чувств. Она прикрыла рот ладонью, и по щекам потекли крупные, тяжелые слезы.

Алессандро подошел к ней, осторожно взял за плечи, поднял и притянул к себе. Обнял — просто и крепко, без слов и каких-либо объяснений.

Алессия беззвучно зарыдала, прижимаясь головой к его груди, и в этой тишине, нарушаемой лишь ее прерывистым дыханием да редкими всхлипываниями, окончательно стерлась последняя граница, разделявшая некогда кормилицу и ее... сына.

Когда слезы у плачущей женщины иссякли, Алессандро усадил ее снова в кресло, после чего опустил в свое и выжидательно посмотрел на... родную мать.

Алессия долго не решалась заговорить. Она сидела, сгор-

бившись, словно под тяжестью лет и воспоминаний, и всё ещё сжимала в пальцах край канзу — так, будто этот кусочек ткани удерживал ее от падения в бездну прошлого.

— Я должна сказать тебе всё, — наконец выдохнула она глухо. — И если после этого ты отвернешься от меня... значит, такова воля Божья.

Алессандро ничего не ответил, лишь сел напротив и молча кивнул, давая ей право продолжить.

— Твой отец... — голос ее дрогнул. — Он взял меня... силой. Я тогда была совсем девчонкой. Такой же, как синьорина Фьорелла сейчас... Глупой, доверчивой, не понимающей, как устроен мир.

Она на мгновение закрыла глаза.

— Моя вина в том тоже есть. Я не сразу заметила, что его светлость стал смотреть на меня иначе. Мне было недосуг. Я убиралась в его покоях, стирала, готовила, штопала — дел хватало. Радовалась, как последняя дурочка, что досталась такая необременительная служба, и не придавала значения его долгим взглядам. А надо было... Мне стоило насторожиться.

Алессия судорожно вздохнула.

— Во время землетрясения тридцать второго года наш дом разрушился до основания. Мать, бабушка, младшая сестренка... они все были внутри, — женщина на миг запнулась, но всё же договорила: — Они погибли. Всё имущество растащили мародеры. Нам с отцом негде было жить.

Алессандро сжал подлокотники кресла, но не перебил.

— Отец пристроил меня в услужение к командующему неаполитанским гарнизоном, присланным наводить порядок в разрушенном городе. Я считала это великим благом, милостью Господней. А когда... когда его светлость овладел мною... — она понизила голос почти до шепота, — он был у меня первым. Я не знала, куда идти. Признаться во всём отцу — не могла. Да и что бы это изменило?

Она горько усмехнулась.

— Поэтому так и осталась при князе. И очень скоро понесла. Твой батюшка был добр ко мне, по-своему заботлив... Но я жила в постоянном страхе, что отнимет у меня ребенка. Потому и не сказала ему ничего. Ушла, пристроилась в услужение к одному священнику, надеялась там укрыться.

Алессия посмотрела на Алессандро — пристально, почти испуганно.

— Но князь нашел меня. Не знаю как — только нашел. А когда ты родился... — губы ее дрогнули в слабой улыбке, — синьор Джорджо сразу признал тебя. Да и грех ему было не признать своего отпрыска: ты же был похож на него так, будто он сам выплюнул дитя изо рта[91]⁹⁰. Ни тени сомнения.

Она тихо усмехнулась сквозь вновь выступившие слезы.

⁹⁰ Будто выплюнул изо рта (неап. *pare scetato 'a vocca soja*) — неаполитанское разговорное выражение, обозначающее поразительное внешнее сходство сына с отцом; употребляется, когда хотят подчеркнуть очевидность родства и «узнаваемость крови». Образ грубоватый, народный, характерный для южноитальянской устной речи XVIII–XIX веков.

— У нас в Беневенто таких сыновей, что пошли в отцовскую породу, называли дубовыми щепками: один удар — и сразу видно, от какого дерева она откололась. Вот и ты был такой щепкой — крепкой, упрямой, породистой. Кровь не обманешь. Его светлость это понимал. Потому и не сомневался — ни в тебе, ни в том, чья ты кровь.

Алессия промокнула глаза концом канзу.

— Князь всегда смотрел на тебя и видел себя. Только без прожитых лет, без груза решений и ошибок. И он очень любил тебя. Гораздо больше, чем своего законного сына.

Кормилица вновь замолчала, будто обдумывая, о чем поведать дальше, а потом вновь заговорила:

— Мы крестили тебя в главной церкви Беневенто — благо она во время землетрясения уцелела. Там и запись соответствующая есть. Это уж потом его светлость бумаги поддельные выправил — будто тебя родила не я, а его законная супруга.

Алессандро невесело хмыкнул.

— Я не хотела разлучаться с тобой, — продолжила Алессия. — Потому синьор Джоджио забрал меня с собой в Неаполь и представил кормилицей. Синьора Виттория... — женщина помолчала, подбирая слова. — Она душой-то не была. Всё быстро смекнула. Твой батюшка принуждал ее признать тебя как родного сына. Что там между ними произошло — мне не ведомо. Знаю только, что княгиня страдала какой-то нервной болезнью. И в припадке душевного рас-

стройства... с жизнью покончила.

Алессия поспешно добавила:

— Но моей вины в том нет. Господь знает: я говорю истинную правду.

Женщина выпрямилась, словно собираясь с остатками сил.

— Я сразу сказала твоему батюшке: сохраню тайну лишь при одном условии — он больше не тронет меня. Я буду при тебе, буду считаться кормилицей, но не его любовницей. Он согласился. Не сразу — но согласился.

Алессандро заметил, как румянец смущения, более яркий, чем закат перед ветреным днем, запылал на бледном прежде лице.

— Время прошло, и князь снова женился. Синьора Лудовика... — в голосе Алессии появилось тепло, — она — хорошая женщина. Княгиня приняла и тебя, и твоего старшего брата. Меня поначалу не притесняла. Это уже потом... когда твой батюшка открыл ей тайну... Тогда-то она и отослала меня в ваш родовой замок в Понтеканьяно.

Алессия замолчала. В комнате повисла тяжелая, почти осязаемая тишина.

Алессандро медленно поднял взгляд.

— Значит... вдовствующая княгиня тоже знает правду?

Алессия кивнула.

— Как не знать. Твой батюшка все важные бумаги, касающиеся тебя, ей передал. Они, верно, и сейчас у нее хранятся.

Женщина умолкла, будто исчерпав себя до последней капли.

Молчал и Алессандро — теперь князь, а по сути — незаконнорожденный сын и одновременно живое доказательство чужого греха и чужой воли.

Он смотрел в пустоту перед собой, размышляя о том, как причудливо и жестоко судьба сплела в один узел страсть, насилие, родную кровь, тайну и власть. Всё, что он только что услышал, ложилось на память тяжелыми, холодными пластами — словно вскрывали старые захоронения, откуда поднимался не запах тлена, а правда, от которой темнело в глазах.

Но было в рассказе Алессии нечто такое, что потрясло Алессандро до глубины души. Осознание пришло внезапно, почти физически — как удар в самое сердце. Он в точности повторил судьбу своего отца. Один в один. Тоже овладел женщиной, которая была ему желанна, — не испросив согласия, не услышав отказа, не остановившись. Решил, что сила чувства и княжеское право даруют ему оправдание. Он тоже позволил страсти заглушить совесть. А когда Фьора сбежала, когда исчезла, словно испуганная птичка, — не колеблясь, разыскал ее. Нашел и насильно вернул в свою жизнь ровно так, как это сделал когда-то его родитель. Та же дорога. Те же поступки. Такие же ошибки. Тяжкое отцовское наследие.

Алессандро медленно сжал кулаки. Ногти впились в ладони, но он почти не чувствовал боли.

Вот оно, — подумал он. — Родовое проклятье. Не в бу-

магах, не в гербах и не в крови — в выборе сердца.

Филанджери закрыл глаза. Перед ним встало лицо Фьоры в ту самую, первую, их ночь. Испуганное, встревоженное. А потом... Гордо поднятый подбородок. Слезы, которые она сдерживала из последних сил. Та же смесь боли и достоинства, которую он только что видел в глазах Алессии, когда та рассказывала свою историю.

И тут внутри Алессандро что-то переломилось.

«Нет, — сказал он себе твердо. — На этом сходство заканчивается. Развязка нашей с Фьореллой истории будет иной».

Он не станет прятать любимую, словно постыдную тайну. Она не будет ютиться в тени законной семьи, не будет довольствоваться ролью кормилицы собственных детей. Она будет рядом с ним. Открыто и гордо.

Она будет носить имя матери княжеских наследников так же достойно, как он носит свой титул. И если весь мир восстанет против — он восстанет против мира. Отцу в свое время не хватило то ли силы чувства, то ли ответственности, то ли смелости. У него же всего этого с избытком.

Алессандро медленно поднялся и выпрямился. В его взгляде больше не было растерянности — только холодная, ясная решимость. Он будет не он, если не переломит это проклятье. Его история любви не закончится слезами в одиночестве и тайными записями в церковных книгах. Она закончится светом. Она — и Филанджери знал это с пугающе твердой уверенностью — обязательно будет со счастливым

концом.

Увидев, что князь поднялся, встала на ноги и Алессия. Движение это было почти инстинктивным — заученным за долгие годы служения, когда тело откликается быстрее мысли.

— Ваша светлость... — она вновь перешла на привычный, мягко-почтительный тон, за которым прятались и тревога, и просьба. — Прошу вас, пусть всё останется так, как есть. Зовите меня, как и прежде, Маммареллой. Это имя... — она на миг прижала ладонь к груди, — оно греет мне сердце. Я не хочу, чтобы хоть кто-то усомнился в вашей законности. Ваш отец и я... — Алессия запнулась, подбирая слова, — мы оба многим пожертвовали ради вашего будущего. Я отказалась от вас только затем, чтобы вы могли быть счастливы. Потому прошу: оставьте всё, как было.

Алессандро внимательно посмотрел на нее — не как князь на кормилицу, а как сын на мать, которой пришлось прожить эту жизнь в тени не по собственной воле.

— Хорошо... мама, — тихо сказал он и улыбнулся — тепло и мягко. — На людях я по-прежнему буду звать тебя Маммареллой.

В глазах Алессии блеснула радость — тихая, благодарная. Она ответила улыбкой, но почти сразу напряглась, словно вспомнила о чем-то тревожащем ее.

— Есть еще одно, что я должна сказать вам непременно, ваша светлость, — произнесла она после короткой паузы. —

Отпустите синьорину Фьореллу. Хотя бы на время. Дайте ей побыть одной, осмыслить всё, что случилось. Даруйте ей хотя бы пару месяцев покоя, чтобы смогла прийти в себя.

Алессия шагнула ближе, понизила голос, и слова ее стали особенно образными, почти исповедальными. Верно, она вспомнила что-то из собственной жизни:

— Быть рядом с вами сейчас для нее — всё равно что гореть на медленном огне. Вам доводилось обжигать руку? — она подняла ладонь. — Представьте, что источник боли не исчезает. Минута за минутой он оставляет новые ожоги на коже. И у вас нет возможности выдернуть руку из пламени. Нет спасения. Нет передышки. Подумайте, каково это.

Алессандро выслушал ее молча. Затем медленно покачал головой.

— Мне было бы больно, бесспорно, — ответил он спокойно, — но к физической боли я привык. Я умею терпеть. А вот представить себе, что не буду видеть ее эти два месяца... — он замолчал, подбирая слова, и в его голосе впервые прорезалась уязвимость. — Нет, Маммарелла. Этого я не могу. Прости.

Он сделал шаг к окну, словно ища там опору. Посмотрел на слезы дождя, стекающие по стеклу, и вновь обернулся лицом к матери.

— Пойми: эта девушка стала для меня не просто важной частью жизни. Она — моя необходимость. Мой воздух. Без нее я не смогу свободно дышать. А если я не буду дышать —

значит, не смогу жить.

Алессия смотрела на него долго и пристально. В ее взгляде было всё сразу: боль прожитых лет, горечь от услышленного и нежность матери, которая слишком хорошо знает своего сына. Она грустно улыбнулась.

— Как же сильно ты похож на своего отца...

Алессандро протяжно вздохнул и так же выдохнул.

— Похож, — согласился он после короткой паузы. — Наверное, да. Но в одном я точно сильнее и тверже него.

Он поднял голову, и в его взгляде вспыхнула решимость.

— Я знаю, где и в чем он сломался. И знаю, что я... не имею права повторить его путь.

* * *

Отправляясь в покои Фьореллы после долгого и обстоятельного разговора в своем кабинете с ее светлостью вдовствующей княгиней, Алессандро уже имел в голове цельную и ясную картину: историю собственного рождения, последующего признания и внесения его имени в установленный порядок наследственной преемственности — с дарованием ему места в семье и в истории дома, от которого он был отторгнут самим фактом своего появления на свет. Разрозненные прежде элементы наконец выстроились в стройную цепь, не оставлявшую места ни умолчаниям, ни туманным догадкам.

Документы, извлеченные из позолоченного серебряного

ларца, щедро украшенного драгоценными камнями, который передала ему мачеха, расставили всё по своим местам. Из них следовало, что легитимизация Алессандро Дамиано состоялась в июне 1733 года — в ту пору, когда Неаполитанское королевство еще находилось под властью австрийских Габсбургов, а самому незаконнорожденному сыну князя ди Сатриано и ди Арианиелло едва исполнилось три месяца от роду.

Узаконивание было оформлено королевским рескриптом, изданным от имени императора Карла VI, тогдашнего короля Неаполя, и скрепленным подписью и печатью вице-королевской канцелярии Джулио Висконти Борромео Арэзе[92]⁹¹. Этим актом Алессандро признавался законным сыном, получал право носить фамилию отца и быть вписанным в род с теми наследственными правами, которые в документе с беспристрастной юридической точностью были оговорены особо.

При этом рескрипт не затрагивал установленного порядка первородства и строгого закона мужской примогенитуры[93]⁹²: княжеский титул и майорат оставались за старшим

⁹¹ Джулио Висконти Борромео Арэзе (1664–1750) — итальянский государственный, военный и дипломатический деятель, граф Пьеве ди Бреббиа. Вице-король Неаполя с 1733 по 1734 год.

⁹² Правило мужской примогенитуры (итал. *La primogenitura*) — наследственный принцип, согласно которому все основные титулы, майорат и неделимые родовые владения переходят к старшему законному сыну; младшие сыновья, включая узаконненных внебрачных, могли получать лишь те права и имущества, кото-

братом — Джулиано Лучио, законным сыном князя ди Сатриано и ди Арианиелло. Алессандро отводилось место признанного, но вторичного достойного, однако лишенного титула, наследника.

Лишь год спустя, в 1734 году, с приходом к власти в Неаполе Карла VII Бурбона, судьба сделала еще один поворот. По королевской милости, за особые заслуги и по прошению отца, перешедшего на военную службу к новому государю и ставшего *hombre de peso en la Corte de Su Majestad* — человеком большого веса при дворе Его Величества, — годовалый Алессандро Дамиано Филанджери Ла Фарина был особым рескриптом пожалован восстановленным титулом графа Авеллино.

И теперь, направляясь в опочивальню любимой женщины, пятый князь ди Сатриано и ди Арианиелло, а также первый из вновь пожалованных графов Авеллино нес в себе тяжелое и отрезвляющее знание о том, какой ценой и какими извилистыми, полными греха, вины и скорбей путями была выстроена его жизнь — его имя и его место — в горделивых, освященных вековыми традициями рядах неаполитанской знати. Всё, что казалось ему прежде естественным правом крови, теперь обретало иное измерение и имело свою меру расплаты.

Узаконивание Алессандро Дамиано было оплачено жерт-

рые были специально оговорены в актах пожалования или завещаниях и не затрагивали целостности рода и титула.

вой, принесенной не им самим, но его отцом. По словам Лу-
довики Бернадетты, первая законная жена третьего князя ди
Сатриано и ди Арианиелло не вынесла ни измены супруга,
ни морального унижения, ни настойчивого, почти жестокого
давления, с которым отец Алессандро требовал от нее при-
знать своим его внебрачного сына. Бурные сцены следова-
ли одна за другой, и женщина, и без того надломленная бо-
лезнями, имевшая нестабильную психику, однажды сорва-
лась. В порыве отчаяния она выбросилась из окна той самой
комнаты, в которую Алессандро много лет спустя по иронии
судьбы поселил Фьореллу Паломму.

Филанджери не знал, какую память хранили эти стены, не
догадывался, что эти покои были немymi свидетелями чу-
жого отчаяния. И теперь, осознав всё это, он твердо решил
как можно скорее увезти Фьюру с виллы и перебраться с ней
в неаполитанское палаццо — подальше от места, где про-
шрое до сих пор дышит болью, а тишина хранит отголоски
чужого предсмертного крика.

Мачеха рассказала, что отец до конца своих дней винил
себя в гибели первой жены. Он не любил ее. Этот брак был
навязан ему волей деда Алессандро, холодным расчетом ро-
да и титула. Но нелюбовь не стала для него оправданием.
Случившаяся трагедия легла кровавым пятном на совесть
Джорджио Алессандро и не смывалась ни временем, ни во-
енной славой, ни пожалованными королем милостями.

На смертном одре князь признался второй жене, что,

несмотря на годы службы и привычку к смерти, несмотря на то, что не раз приходилось лишать людей жизни, гибель Виттории Аличе стала для него ударом, от которого так и не оправился. «На войне, — говорил он, — кровь имеет оправдание и цель. Но эта смерть была иной... бессмысленной и напрасной».

Алессандро теперь ясно видел то, что прежде ускользало от него: не всякая победа приносит удовлетворение. Бывают достижения, воздвигнутые на чужой крови и слезах, и не каждая совесть способна принять их без надлома.

Именно с такими мыслями князь бесшумно переступил порог опочивальни Фьореллы. Комната была погружена в мягкий полумрак, наполненный теплом и покоем. Любимая спала, уютно укутавшись тяжелым, теплым покрывалом, и ее ровное дыхание действовало на него благотворнее любых успокоительных капель.

На таволино[94]⁹³, придвинутом к изголовью кровати, дрожал огонек свечи. Его неяркий свет выхватывал из сумрака листок бумаги, исписанный почерком Фьореллы. Алессандро осторожно взял его и прочел сонет, сочиненный ею в часы его отсутствия.

В этих строках Фьора изливала боль и тихую, сдержанную скорбь по утраченному ребенку — их общему дитя, чья внезапная и такая обидная гибель оставила в их судьбах не спешившую затягиваться рану. Слова сонета были просты и

⁹³ Таволино (итал. *tavolino da notte*) — ночной столик.

потому особенно трогательны. Они отозвались в груди несостоявшегося отца физически ощутимой щекоткой непосредственно в сердце, заставив его болезненно сжаться и учащенно затрепетать.

Алессандро безумно захотелось разбудить девушку, заключить ее в объятия, зацеловать всю и прошептать: «*Vida mia*, ты еще станешь матерью. Самой нежной, самой любящей, самой лучшей матерью для наших детей».

Но князь сдержался. Осторожно положил листок на прежнее место, молча разделся и лег рядом. Он обнял девушку и прижался грудью к ее спине — бережно, почти благоговейно. И вдруг, словно почувствовав его присутствие сквозь сон, Фьора развернулась в кольцо рук и прижалась к нему теснее, уткнувшись, как слепой котенок, носом прямо в грудь, туда, где билось любящее сердце.

Алессандро невольно улыбнулся — мягко, с тем редким, почти детским удовольствием, какое позволял себе лишь наедине с ней, — и осторожно коснулся губами волос, пахнущих лавандовым мылом и свойственным лишь ей теплым и уютным запахом.

И снова, как всегда, его настигла мучительная мысль: как сделать так, чтобы эта девушка стала не тайной любовницей, а законной женой? Филанджери в который раз мысленно проклял тот день, когда, еще будучи женихом, приехал в дом Лукреции и по собственной глупости и нетерпению оставил его раньше, не дождавшись обещанного обеда и зна-

комства с племянницей будущей жены. Тогда всё могло сложиться иначе. Тогда он женился бы на той, кого избрало сердце. Тогда у него были бы все законные права на Фьореллу — без насилия, без принуждения, без тени всего того плохого, что теперь стояло между ними. И главное — не пришлось бы повторять путь отца.

Впрочем, в его истории было одно не слишком радостное, но всё же утешение: Лукреция — не Виттория Аличе. Эта женщина своего не упустит. Тем более теперь, когда она, правдами и неправдами, сумела забеременеть от него.

Деликатное положение княгини подтвердили два врача — сперва доктор мачехи, затем Артуро Мальвестри. Но вот что странно: узнав, что законная жена носит его наследника, Алессандро не испытал абсолютно никаких эмоций. Ни радости, ни самодовольства, ни даже слабого движения души.

Совсем иначе было с беременностью Фьоры. Тогда в груди разливалось такое безграничное тепло, что, порой казалось, за спиной вырастают крылья.

Теперь, прижимая любимую к себе, Алессандро ясно осознал: никогда прежде он не знал ни такой гармонии, ни такого редкого согласия с самим собой, какое испытывает все последние дни. Фьорелла в его объятиях... Она впервые не отталкивает его и временами сама тянется к нему, даже во сне. И этого уже достаточно, чтоб чувствовать себя счастливым. Ни сегодняшнее откровение о его происхождении, ни рассказы Алессии и Лудовики Бернадетты не способны

омрачить это тихое, драгоценное счастье.

Теперь он сделает всё, чтобы его сероглазое чудо не выскользнуло из рук. Он будет не он, если позволит случиться этому.

Пока он бережет Фьору. Пока не принуждает ее к близости. Но через три — четыре дня... он вновь подарит своему нежному Цветочку надежду на материнство — не из долга, а из безграничного чувства любви, переполняющего его сердце, отчаянно верящее в возможность их светлого совместного будущего.

Глава 5

— *Tú eres mi fuerza u mi debilidad. Mi esperanza u mi desesperación. Por ti pierdo el juicio, y sin ti lo pierdo por igual. Eres mi negra locura u mi dulce locura. Mi gozo u mi pena. Mi sol u mi maldición. Eres mi destino, u todo cuanto necesito en esta vida*[95]⁹⁴.

Фьорелла не столько слышала эти слова, сколько ощущала их теплым мужским дыханием у самых губ, едва касавшимся кожи. Она очнулась от легких, почти невесомых прикосновений к щеке и виску, от того интимного, полусонного ощущения, в котором еще не различимы ни время, ни место.

И тут же в нос ударил знакомый, уже ставший почти привычным запах — терпкий, густой, приглушенный аромат табака, смешанный с теплом мужского тела. Вслед за этим, как за ключом, открывшим путь воспоминаниям, мгновенно всплыло осознание: она находится в супружеской спальне палатки Филанджери.

Память, до того затуманенная сном, начала торопливо возвращать события вчерашнего дня и минувшей ночи.

Накануне князь распорядился перевезти всех своих жен-

⁹⁴ Ты — моя сила и моя слабость. Моя надежда и мое отчаяние. Из-за тебя я теряю рассудок, и без тебя я точно так же его теряю. Ты — мое черное безумие и моя сладостная мука. Моя радость и моя печаль. Мой солнечный свет и мое проклятие. Ты — мой рок и всё, что мне необходимо в этой жизни (исп.).

щин в неаполитанское палаццо. Из обрывков разговоров со слугами Фьорелла узнала, что его светлость, пока они жили на вилле «Делле-Розе-ди-Позиллипо», велел произвести в столичном дворце некую «перестановку».

К ее несказанному разочарованию, она коснулась прежде всего выделенных ей покоев. Теперь они располагались в опасной близости от апартаментов самого князя. Точнее, ее будуар отделяла от его личных комнат лишь общая супружеская спальня. В ней стояла внушительных размеров кровать, слишком широкая и подчеркнуто демонстративная, чтобы считать обычным предметом мебели.

Все три помещения — мужские покои, спальня и женский будуар — были смежными и сообщались друг с другом. Таким образом, его светлость князь получал доступ к ее комнатам в любое время суток — днем и ночью, без предупреждения и без лишних свидетелей. Впрочем, и прежде он не слишком утруждал себя в этом смысле самоограничениями.

Однако больше всего Фьореллу тяготило вовсе не это. В ее собственной спальне не было кровати! Чего только не оказалось в ее трехкомнатных покоях: изящная козетка[96]⁹⁵, уютный диванчик *veilleuse*[97]⁹⁶, массивный шез-

⁹⁵ Козётка (от франц. *causette* — легкая, непринужденная беседа) — компактный диванчик на двоих, с изогнутой спинкой и мягкими подушками, позволявший полулежать лицом друг к другу в интимной беседе или отдыхе.

⁹⁶ Диванчик *veilleuse* (франц.) — буквально: ночник; небольшой диван с низкой спинкой и подлокотниками, предназначенный для дам, чтобы удобно полулежать, облокотившись, во время чтения или дремоты.

лонг *à la Turquie*[98]⁹⁷, кресла дюшес-бризе[99]⁹⁸ и дюшес-эн-батан[100]⁹⁹, компактный *tête-à-tête*[101]¹⁰⁰, громоздкое канапе[102]¹⁰¹, классический *méridienne*[103]¹⁰² — мягкая мебель на любой вкус, для отдыха, бесед, полулежания и праздного созерцания. Но полноценного спального места не было вовсе. Отдельная кровать для нее, как выяснилось, не подразумевалась.

Заметив ее недоумение, князь прокомментировал это без тени колебания и сомнения:

— Отныне ты будешь спать исключительно в супружеской спальне.

Алессия, стоявшая рядом, робко попыталась вступить за госпожу:

— Ваша светлость, но вы же знаете... у женщин бывают...

⁹⁷ Шезлонг *à la Turquie* — турецкий вариант шезлонга (франц. chaise-longue) с изогнутым ложементом.

⁹⁸ Дюшес-бризе (франц. duchesse brisée) — буквально: разорванная герцогиня; два соединенных диванчика с центральным откидным ложементом, для парного полулежачего отдыха с возможностью дремоты.

⁹⁹ Дюшес энбатан (франц. duchesse en battant) — буквально: герцогиня со створкой; кресло с откидным «бьющимся» крылом, превращающимся в спальное место для дремоты.

¹⁰⁰ *Tête-à-tête* (франц.) — узкий диванчик S-образной формы, где двое сидят полулежа лицом друг к другу, идеален для тихого отдыха или беседы.

¹⁰¹ Канапé (франц. canapé) — классический диван с мягкой, откидной спинкой и подлокотниками, позволяющий полулежать и расслабляться.

¹⁰² *Méridienne* (франц.) — буквально: отдых, сон (в полдень); полудиван (типа шезлонга).

такие дни, когда...

Князь не позволил ей договорить.

— В эти дни Фьорелла также будет спать в нашей общей постели. Единственная уступка, на которую я готов пойти, — не стану принуждать ее в эти дни к супружеской близости.

От этих слов настроение Фьореллы рухнуло в пропасть уныния, стыда и безнадежности так стремительно, что она отказалась от предложенного Алессией знакомства со стольным палаццо князя.

Единственное, что она всё-таки узнала, — покои Лукреции, равно как и покои вдовствующей княгини, будут располагаться на том же этаже, но в другом крыле дворца — достаточно далеко для того, чтобы часто пересекаться с ними.

Заметив, что Фьора открыла глаза, Алессандро Дамиано нежно провел тыльной стороной пальцев по ее щеке.

— Проснулась, Цветочек мой?

Он склонился ниже, коснувшись губами уголка ее губ — легкое, почти воздушное прикосновение.

— Знаешь, я истомился по тебе за месяц твоей болезни. Вроде бы минувшей ночью взял тебя несколько раз, но, проснувшись, понял: хочу снова.

Он взял ее ладонь и приложил к своему обнаженному и возбужденному органу, большому, горячему и... очень твердому.

— Чувствуешь, что ты делаешь со мной?

Фьорелла действительно чувствовала. Мужская плоть

пульсировала от напряжения, почти звенела.

— Неужели вам тех четырех раз, что были ночью, мало? — ее голос прозвучал не столько вопросом, сколько упреком, в котором смешались и досада, и расстройство.

— Мне всегда тебя мало, — прошептал князь, положив ладонь на ее обнаженную грудь. Большой палец поиграл с соском, мгновенно отвердевшем под прикосновением. — У нас без малого два месяца не было близости. Мой дерзкий и настойчивый боец истосковался по твоему... узкому и такому желанному лону.

Его рука переместилась ниже, к сокровенному месту. Пальцы принялись ласкать бархатные складочки. Движения властные и уверенные, но не лишённые эротической нежности.

Фьорелла ощутила, что мурашки, как злые рыжие муравьи, уже кусают спину, а внизу живота собирается хорошо знакомое тепло. Она рассердилась на подобный произвол собственного тела. Видимо, нежелание близящегося соития отразилось на лице, потому что его светлость раздраженно поморщился:

— Ну что ты опять кривишься? *Mi pecado sabroso*[104]¹⁰³... тебе же нравятся наши *juegos del*

¹⁰³ *Mi pecado sabroso* (исп.) — мой сладостный (сочный, плотский) грех. В испанском языке XVIII века это слово подчеркивало именно физическое, чувственное наслаждение.

Слова прозвучали мягко, бархатно, но в них уже чувствовалась нарастающая требовательность. Несмотря на зацепившуюся за уголки жестких губ легкую полуулыбку, взгляд его светлости сделался острым, цепким и прожигающим.

Фьорелла невольно поморщилась — и вот тут уже князь не выдержал. Он приподнялся, опершись на вытянутую руку, и произнес с чувством, в котором смешались страсть и досада:

— Знаешь, меня до чертиков бесит, что даже себе не хочешь признаться: ты плавишься от того, что я делаю с тобой. Я же вижу — в тебе проснулась страстная, чувственная женщина. Ты откликаешься на каждое мое прикосновение, каждую ласку. Сколько еще будешь отрицать свою собственную природу? Отрицать очевидное.

Фьорелла лишь плотнее сжала губы. Она старалась не смотреть князю в глаза, цепляясь взглядом за позолоченную бахрому балдахина.

— Очевидно лишь одно, ваша светлость: всё, что вы перечислили, делает мое тело, не я. Все ваши действия вызвали бы отклик даже у куклы, обладай она хоть малой долей физиологии.

Фьорелла протяжно и тягостно вздохнула.

— За время нашего... общения я поняла: похоть живет в каждом, но она управляема. Кто-то бессилен перед ее на-

¹⁰⁴ *Juegos del amor* (исп.) — любовные игры.

тиском, а кто-то умеет осознанно затыкать ей рот. Моя душа по-прежнему отрицает всё то, что вы творите с моим телом. Беда в том, что я не властна над собственной плотью. Мне остается лишь смиренно ждать, когда пресытитесь мною.

— Беда? Ты именно так это воспринимаешь? — прохрипел князь, и в его голосе звякнула угрожающая сталь. — Ну что же, пусть в твоей жизни станет одной бедой больше.

Князь начал действовать резко, почти грубо, так, как уже давно не вел себя по отношению к ней. Он подмял Фьору под себя и без долгих прелюдий и осторожности соединил их тела сразу на всю глубину. Фьорелла выгнулась, ощущая пугающе мощную внутреннюю наполненность. Где-то на периферии сознания мелькнула горькая благодарность собственному телу за то, что оно оказалось готово принять внушительный орган князя и избавить ее от лишней боли. Она закусил губу, закрыла глаза и начала мысленно отсчитывать секунды, ожидая конца этой экзекуции.

На этот раз финал наступил быстро. Мужчина сделал несколько сокрушительных толчков, до боли сжал ее плечо и со звериным рыком излил семя внутрь тела. Сейчас, в отличие от четырех ночных моментов близости, Фьора не испытала того плотского наслаждения, которое выталкивало ее душу к сверкающим во мраке звездам прежде.

А вот Алессандро запредельно сумасшедшее удовольствие не просто накрыло — оно раздавило его, расплющило, взорвалось внутри, словно ядро в раскаленном стволе пушки. Экстаз вобрал в себя мощь вулканического выброса, прошивая всё естество от макушки до пят.

«Черт меня побери... — пронеслось в его затуманенном мозгу. — Как же мне хорошо с этой девушкой!»

И в самом деле, ни одна другая женщина не могла подарить ему этой бездны блаженства. Никакая подмена, никакое мастерство продажных девиц не стоили и тени того наслаждения, что дарил упрямый Цветочек.

Ему всегда было мало Фьореллы. За эту ночь он брал ее тело четырежды, пытаясь восполнить вынужденное воздержание, но утро показало: жажда лишь усилилась. Он хотел не просто ее тела — он тщился заполучить ответное желание. Чтобы ласкала его сама, играла с ним, манила, целовала по доброй воле. Ему отчаянно не хватало ее любви.

Филанджери осознал пугающую истину: его страсть переродилась в нечто всепоглощающее и безумное. Ему сделалось жизненно необходимым утолять пыл этого безумия именно с этой девушкой. Утолять его снова и снова. И только с ней! Потому что именно она его и разжигала. Никакая другая женщина не была способна справиться с пылаю-

щим огнем ощущений, бурлящих в нем. Для него близость с Фьорой была подобна нежному бланманже[106]¹⁰⁵, обильно приправленному дурманящим бетелем[107]¹⁰⁶: сладость, которая не утоляла голод, а вызывала лихорадочное, почти безумное возбуждение и стойкое привыкание. И ее холодность, ее отторжение и осознанная дистанция резали сердце по живому. Право слово, проще совокупиться со всеми монахинями[108]¹⁰⁷ женского монастыря, чем добиться любви от этой девушки. Но обрезанный grano[109]¹⁰⁸ ему цена, если отступит.

Обессиленно рухнув на Фьору, князь придавил хрупкое тело своим весом. Он уткнулся носом в изгиб шеи, вдыхая запах ее кожи. Когда Фьорелла попыталась высвободиться

¹⁰⁵ Бланманжé (франц. blanc-manger) — изысканный холодный десерт (желе из молока с миндалем), распространенный в аристократической Европе XVII–XVIII веков; ассоциировался с мягкостью, сладостью и утонченным вкусом.

¹⁰⁶ Бетель (лат. *Piper betle*) — тонизирующее и возбуждающее средство из листьев одноименного растения, популярное на Востоке. В XVIII веке европейцы приписывали ему свойства мощного афродизиака, вызывающего прилив жара и чувственного восторга.

¹⁰⁷ Совокупиться с монахинями (неап. *Fà 'ammore cu 'e monache*) — идиома, означающая желать невозможного, надеяться на недостижимое, преследовать заведомо тщетную химеру. Употреблялась иронически или с горькой насмешкой, без буквального смысла.

¹⁰⁸ Обрезанный гра́но (итал. *grano tosato*); гра́но (буквально — зернышко) — самая мелкая ходовая монета Неаполитанского королевства XVIII века. «Обрезанным» называли grano, у которого был срезан край ради незаконного изъятия металла; такая монета считалась неполноценной и почти ничего не стоящей. Выражение употреблялось в значении «грощ цена», «полная ничтожность».

из этого тяжелого плена, он нехотя скатился в сторону.

Глядя в потолок, Алессандро произнес с бархатистой угрозой:

— Ты сказала, что будешь ждать, когда мне это надоест... Так вот знай: ждать придется вечность. Мне это не надоест никогда. И еще одно: пора расширить горизонты твоей покорности. Сегодня у меня будет непростой день, поэтому вечером доставишь мне изысканное удовольствие. Пора, наконец, приучать тебя играть на моем кожаном флажолете[110]¹⁰⁹. Поверь, этот урок тебе запомнится точно.

* * *

В глубине души, там, где хозяйничали инстинкты и возникшая еще с ночи сытая сладостная нега, Фьорелла ощутила странное довольство от признания его светлости в вечной жажде по ней. Но сердце и разум, последний в особенности, бурно протестовали против прозвучавшей угрозы, связанной с оральными ласками. Нет! Со всем этим нужно срочно заканчивать. Всё вновь возвращается на круги своя: его неограниченная власть, ее вынужденное подчинение. Князь

¹⁰⁹ Флажолёт (итал. flagioletto, от старофр. flageolet — маленькая флейта) — старинный деревянный духовой музыкальный инструмент наподобие маленькой флейты с наконечником. В этом контексте — эвфемизм мужского члена. В Европе XVIII века такие метафоры были обычны в эротической переписке и салонной речи Неаполя (ср. Казанова, «История моей жизни»). «Играть» подразумевает оральный контакт.

снова и снова будет брать ее тело. Заставлять ласкать ртом и языком его плоть. А дальше что? Неизбежная угроза новой беременности? Новая попытка убийства ее ребенка? Лукреция уже ясно дала понять: бастард от этой связи не появится на свет.

«Думай, Фьора, думай!» — лихорадочно билась в тенетах осознаваемых умом обстоятельств одна-единственная, трепетная мысль. Она металась, как пойманная птица, ударяясь о прутья рассудка и снова проваливаясь в яму усталой и тоскливой безнадежности.

«Ищи выход, Фьора! — подстегивала она себя. — Придумай, как разорвать этот порочный круг, пока он не сомкнулся на твоей шее удушающей удавкой».

Фьорелла ясно чувствовала: стоит промедлить — и привычка заменит сопротивление, покорность станет удобной формой жизни, а терпение — ее постоянным и извечным спутником. И тогда цепь событий, которую пока еще можно назвать обстоятельствами, превратится в судьбу. Нельзя позволить этому случиться. Нужно ждать не милостей, а искать возможности спасения.

* * *

После завтрака князь, верный своей привычке не утруждать себя объяснениями, покинул палаццо. Вместе с ним уехала и Алессия Маньяни. Фьореллу это не удивило: в ми-

нугу редкого откровения Алессандро признался, что кормилица на самом деле — его родная мать. Эта новость не ошеломила девушку. Особая, видимая глазу связь этих двоих давно стала для нее привычной деталью того нежеланного мира, в коем оказалась.

Когда двери за ними сомкнулись, и в покаях воцарилась полная тишина, Фьора решила воспользоваться свободным временем. Она достала из секретера поэтический альбом, разложила на столе перья, чернила, флакончик с клеем, кисточку, ленты и засушенные цветы, заранее приготовленные для рамок и виньеток. В такие минуты ей казалось, что возвращает себе хотя бы крошечную часть прежней жизни — той, где мысли подчинялись спокойному и размеренному ритму сердца.

Но не успела она сделать и нескольких штрихов, как дверь в покои отворилась, и на пороге появилась... ее светлость княгиня.

Фьорелла машинально напряглась. Она уже приготовилась к новому потоку колких упреков, холодных нравоучений и едких замечаний, однако на этот раз всё было иначе.

Лукреция вошла торопливо, и, без долгих предисловий, спросила почти спокойно:

— Хочешь увидаться со своей няней?

Фьора даже не сразу поняла смысл услышанного.

— С няней?.. — переспросила она, словно боялась, что не совсем правильно расслышала сказанное.

— Синьора Валентини связалась со мной, — Лукреция продолжила говорить абсолютно безэмоционально. — Она несколько раз пыталась увидеться с тобой еще там, на вилле князя, но его светлость запретил приближаться к тебе.

Сердце Фьореллы словно сорвалось с цепи. Татина Марьючча — ее нянюшка, ее первая защитница, ее детская уютная гавань... Одна лишь мысль о встрече с ней наполнила грудь теплом, от которого защипало глаза.

— Конечно хочу! — вырвалось у Фьоры почти радостно. И тут же, опомнившись, она добавила с тревогой: — Но... разве меня выпустят из палаццо?

Лукреция чуть склонила голову, словно заранее ожидала этого вопроса.

— Об этом не беспокойся. Я скажу мажордому, что едем в церковь — заказать реквием по душе твоего покойного дядюшки. Если еще помнишь, синьора Бернардо сбросили в море с корабля именно в этот день два года назад. Я поручусь за тебя перед дворецким. С нами поедут выездные лакеи: они увидят, как мы войдем в церковь, — и никаких вопросов у них не возникнет.

Лукреция Пьерина на миг замолчала, а после продолжила: — С синьорой Валентини я договорилась так: она будет ждать нас около полудня в Кьеза-Санта-Катерина-а-Формьелло[111]¹¹⁰.

¹¹⁰ Санта-Катерина-а-Формьелло (итал. La chiesa di Santa Caterina a Formiello) — католический храм в Неаполе, в восточной оконечности исторического центра

Фьорелла не стала раздумывать ни мгновения. Решение было принято прежде, чем разум успел возразить.

Она торопливо накинула на голову черную кружевную мантилью и потянулась за купленным князем красным плащом фасона кардинал[112]¹¹¹ — вызывающе ярким на фоне ее нынешней жизни. Но Лукреция остановила ее жестом.

— Нет. Сегодня ты оденешься иначе.

И без лишних объяснений заставила Фьореллу облачиться в утепленную соттогонну[113]¹¹² — тяжелую, подбитую драгетом[114]¹¹³ нижнюю юбку, а сверху — в стеганую мантиллу[115]¹¹⁴ из коричневого с легким светлым узором индийского хлопка. У этой накидки был очень глубокий капюшон, в котором можно было спрятать не только лицо, но и эмоции.

Фьора не стала задаваться вопросами по поводу выбран-

города, на улице Виа Карбонара и площади Энрико де Николы, недалеко от ворот под названием Порты Капуана.

¹¹¹ Кардинал (итал. mantello alla cardinale) — просторный женский плащ с большим капюшоном, вошедший в моду около 1760 года; в Неаполе начала 1770-х годов оставался распространенным предметом осенне-зимнего гардероба, особенно в дорожной и повседневной среде.

¹¹² Соттогонна (итал. sottogonna) — утепленная нижняя юбка, предназначенная для защиты от холода и сырости; носилась под платьем в осенне-зимний период.

¹¹³ Драгет (дро-) (франц. droguet) — род шерстяной или полушерстяной ткани.

¹¹⁴ Мантилла (итал. mantella) — женская накидка, распространенная в Неаполе XVIII века; вариант с глубоким капюшоном (итал. con cappuccio profondo) носили в сырую и ветреную погоду.

ных предметов одежды. Сейчас это было не важно. Мысли ее уже летели вперед — туда, где, пахнувшие оливковым мылом знакомые руки могли коснуться ее волос так, как это не делал никто другой.

Как ни странно, Лукреция действительно сумела обо всем договориться. Мажордом не возражал, лакеи были вызваны, карета подана. И вскоре они вдвоем, без лишних взглядов и объяснений, покинули палаццо князя.

В карете Лукреция Пьерина молчала. Фьореллу это, признаться, только радовало. Она сидела, выпрямившись, и делала вид, будто с живейшим интересом разглядывает улицы за окном.

Солнце Неаполитанского залива лилось золотом на жемчужину города — набережную Кьяйя[116]¹¹⁵. Прекрасная Вилла Реале[117]¹¹⁶ с ее тенистыми аллеями и чугунной решеткой, отделяющей зелень от оживленной набережной, и в позднюю осень не теряла своего притягательного облика. Вторая половина ноября приглушила ее блеск: кроны деревьев поредели, в листве проступила ржаво-золотая проседь.

Несмотря на то, что прозрачный и влажный воздух, нес с

¹¹⁵ Набережная Кьяйя (итал. Chiaia) — престижная прибрежная часть Неаполя, сложившаяся в XVII–XVIII веках как район аристократических палаццо, гостиниц и мест для прогулок знати.

¹¹⁶ Вилла Реале (итал. Villa Reale) — королевский сад и прогулочная зона у набережной Кьяйя (ныне Villa Comunale), популярное место светских прогулок и парадного корсо.

моря прохладу, послеобеденное корсо[118]¹¹⁷ всё еще собирало публику, однако движение карет стало куда более размеренным. Золоченая отделка экипажей сияла уже не ослепительно, а мягко, отражая блеклый свет короткого дня. И бегущие перед каретами воланти[119]¹¹⁸ зажигали факелы гораздо раньше, чем летом.

В противоположность блистательной Кьяйе, борго Санта-Лучия[120]¹¹⁹ представлял собой иную картину. Дома здесь были скромнее, не столь опрятные, со множеством लोकанд[121]¹²⁰ — второстепенных гостиниц, где останавливались негоцианты с севера и бродячие артисты.

Вдоль берега простирался рыбный рынок, где под выцветшими парусиновыми навесами торговцы фрукти-ди-маре[122]¹²¹ выставляли свой товар: огромное разнообразие даров моря, от нежных мидий и устриц до лангустинов,

¹¹⁷ Корсо (итал. corso) — традиционная светская прогулка знати, обычно во второй половине дня, с демонстрацией экипажей, нарядов и статуса.

¹¹⁸ Воланти (итал. volanti, от volare — летать) — в Неаполе XVIII века специальные слуги или факельщики, бежавшие впереди карет знати по узким и темным улицам, освещая путь факелами и разгоняя толпу.

¹¹⁹ Борго Санта-Лучия (итал. Borgo Santa Lucia) — в XVIII веке в Неаполе менее престижный квартал у моря, застроенный скромными домами, гостиницами для купцов и жильем простого люда.

¹²⁰ Локанда (итал. locanda) — недорогая гостиница или трактир, предназначенный для купцов, странствующих артистов и путешественников среднего достатка.

¹²¹ Фруtti-ди-маре (итал. frutti di mare) — буквально: плоды моря: общее название морепродуктов (моллюсков, ракообразных и морской рыбы).

кальмаров и омаров, от венерок[123]¹²², морских каштанов[124]¹²³, цикад[125]¹²⁴, ежей и гребешков до креветок и каракатиц.

От прибрежной полосы, известной как набережная Кьяйя, тянулась одноименная респектабельная улица — собственно Ривьера ди Кьяйя. Здесь селились дворяне и состоятельные горожане. Тут, куда ни глянь, — всё сплошь палаццо с мощными стенами и порталами из рустованного камня под массивными фронтонами. С некоторых из них глядят оскаленные звериные морды. В других изобилует модный узор рокайль[126]¹²⁵. Одни фасады украшены пузатыми, как животы у галюнных фигур корабля, кованными балкончиками. У других лоджии основательные, обильно украшенные гипсовой лепниной.

Эта солидная улица вела к площади Ларго-ди-Кастелло[127]¹²⁶ и далее — к самой главной артерии Неаполя, Виа-

¹²² Венёрки (неап. *vongole*) — двустворчатые моллюски семейства венерид; один из самых распространенных и любимых даров моря, употреблявшийся как в простонародной, так и в аристократической кухне.

¹²³ Морские каштаны (итал. *fasolari*) — народное название крупных съедобных двустворчатых морских моллюсков с плотным, сладковатым мясом, высоко ценившиеся на рыбных рынках Неаполя XVIII века.

¹²⁴ Морская цика́да (неап. *spernocchia*, итал. *cicada di mare*) — небольшое съедобное морское ракообразное с твердым панцирем, с удлинённым телом и сложенными передними ногами, приспособленными для хватания.

¹²⁵ Рокайль (франц. *rocaille*) — элемент орнамента в искусстве XVIII века, основанный на мотиве стилизованных раковин, камешков, свитков.

¹²⁶ Ла́рго-ди-Касте́лло (итал. *Largo di Castello*) — площадь Неаполя у крепост-

Толедо[128]¹²⁷. Здесь, среди торговых лавок, модных магазинов, мастерских и шумных кофеен, кипела жизнь, не стихая ни днем, ни ночью.

В отличие от главной улицы, остальные протягивались узкими, извилистыми лентами между высокими домами, нередко пяти-шестиэтажными, с плоскими крышами и простой архитектурой. Окна, опускающиеся почти до земли, были прикрыты железными решетками, а многие — еще и деревянными ставнями «персиане»[129]¹²⁸.

Проезжая по этим улицам в карете, Фьорелла видела висящие на стенах домов, как декоративные гирлянды, желто-пузые тыквы — припасы на зиму небогатых семей. По фасадам зданий изливались волнистыми темно-серыми потеками следы жидкостей, выливаемых из окон на улицу. Здесь пахло довольно дурно. Однако Фьора знала: своего апогея запах нечистот достигал на окраинах Неаполя.

К примеру, в восточной стороне города, за Капуанскими воротами,[130]¹²⁹ куда направлялась их карета, находи-

ных сооружений, важный городской узел, связывавший прибрежные районы с центром.

¹²⁷ Виа Толéдо (итал. Via Toledo) — главная улица Неаполя, заложенная в XVI веке; торговая, административная и социальная артерия города.

¹²⁸ Персиáне (итал. persiane) — деревянные ставни с жалюзийными планками, защищающие от солнца и взглядов с улицы.

¹²⁹ Капуáнские ворота (итал. Porta Capuana) — восточные городские ворота Неаполя, ведущие в сторону Кáпуи; окрестности считались одними из самых мрачных.

лась Виа Имбреччиата[131]¹³⁰, уходящая за пределы городских стен в сторону болотистых низин Поджореале[132]¹³¹. Эта местность славилась своими притонами и сомнительными заведениями. Тот, кто проезжал по этой улице, мог с легкостью вообразить себе чистилище на земле.

Там же высилось здание воспитательного дома Реал-Каза-дель-Аннуциата[133]¹³² — закопченное и мрачное строение с «колесом подкидышей»[134]¹³³ в полуподвале, куда можно было положить сверток с младенцем — плодом греха и разврата.

Еще дальше, словно грозное предостережение, стояла Карчери-делла-Викария[135]¹³⁴ — городская тюрьма — вы-

¹³⁰ Виа Имбреччиата (неап. Imbrecciata, от breccia — речная галька) — улица в неблагополучной части Неаполя XVIII века, известная антисанитарией и бедностью, а также квартал «красных фонарей», существовавший с XV по XIX века. Он начинался сразу за воротами Порта-Капуана и к середине XIX века был полностью обнесен стеной.

¹³¹ Поджореале (итал. Poggioreale) — исторический район Неаполя, расположенный к востоку от старых городских стен. В XVIII веке представлял собой обширную заболоченную низину (отсюда название), где находилось кладбище Фонтанелле (подземные оссуарии).

¹³² Реал-Каза-дель-Аннуциата (итал. Real Casa dell'Annunziata) — главный и самый известный неаполитанский приют для подкидышей и незаконнорожденных детей, существовавший со Средневековья и действовавший на протяжении всего XVIII века.

¹³³ Колесо подкидышей (итал. ruota degli esposti) — механизм, позволявший анонимно оставить ребенка в приюте.

¹³⁴ Карчери-делла-Викария (итал. Carceri della Vicaria) — одно из тюремных зданий Неаполя XVIII века; публичная демонстрация наказаний была частью го-

сокая, угрюмая, черная, за железными решетками которой то и дело выглядывали звериные лица узников. А на карнизах здания, как напоминания о неотвратимой каре за злодеяния, торчали головы недавно казненных.

Карета остановилась неподалеку от церкви Санта-Катерина-а-Формьелло. Дорога от Кьяйя заняла не больше двадцати минут, но казалось, будто они пересекли не город, а целый мир. Контраст был резким и впечатляющим: от блистательной, аристократической улицы, на которой располагалось палаццо его светлости князя, — к суровым, почерневшим от времени Капуанским воротам.

Как ни странно, по прибытии Лукреция Пьерина не сделала ни малейшего движения. Она осталась сидеть, выпрямившись, сложив руки на коленях. Фьорелла повернулась к ней и взглянула выжидающе. В неподвижном молчании тетки чувствовалось напряжение — она явно собиралась сказать нечто важное. Интуиция не подвела Фьору.

— Я не пойду с тобой, — произнесла Лукреция ровно, без паузы, словно давно отрепетировала эти слова. — В церковь ты войдешь одна. Выездным лакеям я скажу, что почувствовала себя дурно. В моем положении, ты это на своем примере знаешь, такое случается.

Она на мгновение отвела взгляд, затем продолжила — уже тише, но жестче:

— Домой ты больше не вернешься.

Слова упали между ними, как удар маннайи[136]¹³⁵, отрезающей все связи между сидящими в экипаже женщинами.

— Ты поговоришь с Марией Кончеттой, а после подойдешь к скаччино[137]¹³⁶. Он сидит у входа. Это бородатый старик, — Лукреция говорила деловито, отрывисто. — Его зовут Джузеппе. Скажешь, что ты от синьоры Малези. Это моя девичья фамилия. Моего имени и теперешней фамилии не называй. Я ему заплатила. Он проводит тебя к заднему выходу, ведущему в монастырский сад, и выведет из обители через скрытую калитку. Куда пойдешь дальше, я знать не хочу.

Она наконец повернулась к Фьорелле и посмотрела ей прямо в глаза — цепко и жестко.

— Скажу ясно одно: если осмелишься вернуться в палаццо моего супруга, на мое милосердие можешь не рассчитывать. «Право фартука»[138]¹³⁷ пусть и не дарует мне абсолютной власти в княжеском доме, но оно развяжет мне руки во имя блага семьи. И тогда я буду действовать куда беспо-

¹³⁵ Маннайя (итал. mannaia, от лат. mannaia — топор) — в Неаполе XVIII в. механическое устройство для обезглавливания, предшественник гильотины; использовалось преимущественно для казни дворян.

¹³⁶ Скаччино (итал. scaccino) — церковный сторож и привратник в католической церкви; служитель, отвечавший за ключи, открывание и закрывание храма и порядок у входа.

¹³⁷ Право фартука (неап. 'o diritto d' 'o grembiule) — неаполитанское выражение XVIII века, символизирующее власть женщины в доме и семье; неформальное право жены распоряжаться домашним хозяйством и финансами, а также ее решающее влияние на внутрисемейные дела.

щаднее.

Лукреция сунула руку в карман и протянула кошель. Он был тяжелым; монеты внутри звякнули глухо.

— Возьми. Здесь достаточно. Я знаю, тебе это понадобится.

Фьорелла не стала противиться. Она молча приняла кошель и сразу же поняла, чем он для нее является. Не помощью — откупом. Платой за исчезновение.

Несколько мгновений Фьора молчала, собираясь с мыслями, затем подняла взгляд.

— Я... отдаю себе отчет, — сказала она тихо, — вы помогаете мне не из благодушия. Я даже отчасти понимаю ваши мотивы и... искренне сочувствую вам. Вы знаете: в том, что произошло, нет моей вины. Видит Бог, я не желала ни этой связи, ни той боли, что она и мне, и вам принесла.

Фьорелла перевела дыхание, словно каждое следующее слово давалось с усилием.

— Я не знаю, доведется ли нам когда-нибудь увидеться вновь. Поэтому должна сказать еще кое-что. Я не держу на вас зла за то, что чуть не умерла и потеряла ребенка. Вы были лишь инструментом провидения Господня. Да, у вас был свой мотив — я это признаю. Но не мне вас судить за ваш поступок.

Фьорелла на мгновение опустила глаза, затем продолжила:

— Мой отец любил повторять: «*Noli lapides in vitam*

alienam iacere, nisi inter eorum fragmenta vivere vis. — Не бросай камни в чужую жизнь, если не хочешь жить среди их осколков». Я понимала это так: желая зла другому, ты лишь репетируешь его для себя.

Девушка грустно улыбнулась.

— Так вот... Я от души желаю вам выносить и родить наследника его светлости. Не знаю, какой матерью станете, но этот ребенок... Он имеет право прийти в этот мир.

Фьорелла не сказала больше ни слова. Лишь коротко кивнула, словно прощаясь не с человеком, а с целой главой собственной жизни, и дала знак выездному лакею, что готова покинуть карету. Тот поспешно открыл дверцу и разложил ступеньку. Фьора приняла помощь, поблагодарила и, не оборачиваясь, ступила на холодный камень мостовой.

* * *

Выстроенная из светлого туфа в сочетании с темно-серым пиперно[139]¹³⁸, Кьеза-Санта-Катерина-а-Формьелло казалась воплощением строгого величия. Отец научил Фьореллу видеть музыку в камне, и потому ее сердце замерло при виде величественной купольной ротонды, венчающей Ларго-дел-

¹³⁸ Пипёрно (итал. *piperno*) — камень магматического происхождения, разновидность туфа или игнимбрита, который встречается в районах Южной Италии, пострадавших от взрывной вулканической активности.

ле-Дуэ-Порте[140]¹³⁹. Это здание, исполненное строгой гармонии, казалось, подчиняло себе всё окружающее пространство, превращая обычный перекресток в подобие античного форума.

Свое название это место получило из-за расположения между двумя важными городскими воротами — древними Порта Капуана и более поздними, встроенными в стену замка Кастель-Капуано. Оно традиционно было оживленным центром шумной городской жизни. Двухъярусный фасад церкви, с его строгими классическими колоннами, темными пилястрами, карнизами, обрамлениями окон и окулюса[141]¹⁴⁰, служил безусловным украшением. А статуя святой Екатерины в нише над порталом словно бы охраняла вход в дом Господень.

Слева к зданию примыкал древний монастырский корпус с небольшими, почти слепыми окнами, принадлежащий отцам-доминиканцам; справа пространство было открытым и вело к Порта Капуана и рыночной площади. Церковь стояла на границе двух миров: суетного и сакрального. На ступенях

¹³⁹ Лáрго (итал. Largo) — характерный для Неаполя тип площади. В отличие от парадной «пьяццы», ларго представляло собой естественное расширение улицы или свободное пространство на пересечении дорог, часто служившее достойным обрамлением для фасадов дворцов и храмов.

¹⁴⁰ Окулюс (от лат. *oculus*, буквально — глаз) — круглое или овальное окно в стене или куполе здания, предназначенное для освещения внутреннего пространства; широко использовалось в античной и ренессансной архитектуре, так называемый «бычий глаз».

сидели две грязные женщины в лохмотьях, просящие подаяние и открыто кормящие детей грудью. Фьорелла сунула в руку одной из них монетку и, потянув на себя тяжелую дверь, переступила порог церкви.

Она всегда замечала, что в храмах время течет иначе. Попадаешь в пространство дома Божьего — и звуки города будто отсекаются ножом. Так было и теперь. Снаружи шумел рынок у Порты Капуана, гремели колеса повозок и карет, перекликались торговцы, но здесь, под сводами церкви, разливалась благоговейная тишина. Тут и воздух был особенным — густым от запаха прогорающего воска, ладана и той специфической каменной пыли, что скапливается веками.

У входа, по обе стороны двери, стояли две аквасантьеры[142]¹⁴¹ — мраморные чаши со святой водой, отполированные прикосновениями тысяч рук. Прихожане опускали в них пальцы и крестились, словно смывая с себя шум улицы прежде, чем вступить в храм божий.

Фьорелла сделала так же. Она подошла к той чаше, что стояла у правой стены, коснулась холодной воды кончиками пальцев и медленно осенила себя крестным знамением — лоб, грудь, плечи — без спешки, с вниманием к каждому движению.

На краткое мгновение ей показалось, что вместе с этим

¹⁴¹ Аквасантьера (итал. *acquasantiere*) — кропильница; мраморная или каменная чаша со святой водой, установленная у входа в католическую церковь для омовения пальцев и совершения крестного знамения при входе.

жестом оставляет за порогом церкви всё, что принесла с собой сюда: тревогу, сомнение, растерянность. Отняв руку, Фьорелла глубоко вздохнула и шагнула дальше, под своды церкви уже не как встревоженная беглянка, а как человек, пришедший к определенному решению.

Единственный неф храма казался просторным и торжественным. Пол под ногами был выложен древней майоликовой плиткой. Узоры потускнели, но еще различимы: строгая геометрия, цветы, холодные синие и контрастные охристые тона.

Фьорелла всегда смотрела на эти плитки с благоговением: сколько ног прошли по ним, неся Господу свои беды и радости, мольбы и надежды, страхи и упования, упреки и клятвы, слова раскаяния и благодарности.

Фьора знала от отца, что этот храм — не просто обитель доминиканцев, а настоящий пантеон веры. Она подошла к приделу, где покоились мощи двухсот сорока мучеников Отранто[143]¹⁴². Сердце девушки всегда сжималось при мысли о том страшном августовском дне 1480 года, когда эти люди предпочли смерть под турецкими саблями отречению от Христа. В полумраке церкви присутствие этого свидетельства глубины веры создавало атмосферу священного, благоговейного трепета.

¹⁴² Отранто (итал. Otranto) — древний портовый город в Апулии на юге Италии, расположенный на берегу Адриатического моря; известен своим кафедральным собором с мозаичным полом XII века и трагической османской осадой 1480 года.

Пройдя вглубь, Фьорелла оказалась в пресвитерии, который фактически служил капеллой семьи Спинелли, герцогов Кариати. По обе стороны от алтаря в два яруса располагались шесть надгробных монументов.

Фьора долго рассматривала скульптурные фигуры двух неаполитанских дворян: они стояли в нишах, закованные в полные доспехи, словно вечные часовые своего славного рода.

На тимпанах гробниц застыли изваяния святых — строго Винсента Феррера[144]¹⁴³, юного Иоанна Евангелиста и самой Екатерины Александрийской[145]¹⁴⁴. И над всем этим пространством царил нежный лик Мадонны.

На высоких хорах по обе от стороны алтаря, темнели органные шкафы с рядами блестящих труб. Фьорелла слышала их вместе лишь однажды — в праздник святой Екатерины, когда музыка сходилась, как молитва, обращенная к небу сразу двумя устами.

Где-то скрипнула дверь, и эхо мягко прокатилось под сводами. Фьорелле стало тише и спокойнее на сердце: это место действовало на нее странно утешающе. По непонятной причине показалось, что на этот раз она действительно покину-

¹⁴³ Винсент (Викентий) Феррер (1350–1419) — католический святой, монах-доминиканец, философ, богослов и величайший проповедник. Канонизирован в 1455 году.

¹⁴⁴ Екатерина Александрийская (287–305) — христианская великомученица, родом из Александрии, мученическую кончину которой относят ко времени правления римского императора Максимиана.

ла его светлость навсегда.

Рада ли она этому? Как ни странно, безоговорочного «да» Фьорелла произнести не могла. Нет, она сделала именно то, чего желала, то, к чему стремилась. И всё же сердце отзывалось на эту мысль тихой болью — не за себя, а за НЕГО. Фьора ясно видела князя Алессандро в своих мыслях: встревоженного, опечаленного, потерявшего покой. Он будет искать ее. Будет беспокоиться. Будет страдать. И эта мысль, к собственному удивлению, тяготила ее сильнее, чем ожидала.

Фьорелла прошла в левый трансепт. Там, в полумраке, стояла статуя Мадонны Розария[146]¹⁴⁵, держащая младенца Иисуса. По сторонам — святая Екатерина Сиенская[147]¹⁴⁶ и святой Доминик[148]¹⁴⁷: строгость и преданность, вера и поклонение. Лик Богоматери спокоен, почти отрешен, но в этом спокойствии — обещание милости.

Фьорелла опустилась на колени. Слова пришли сами собой, без напряжения, будто давно ждали этой минуты.

¹⁴⁵ Мадонна Розария (итал. Madonna del Rosario) — иконографический образ Богоматери «Девы Розария». Согласно преданию, Богородица вручила святому Доминику розарий — особые четки, а также наставила в молитвенном правиле, которое стало одной из важнейших католических практик. Розарий традиционно состоит из пяти наборов по десять малых бусин («декад»), разделенных крупными звеньями, и завершается распятием.

¹⁴⁶ Екатерина Сиенская (1347–1380) — святая Римско-католической церкви, доминиканская терциария, мистик и богослов; одна из покровительниц Италии, позднее провозглашена Учителем Церкви.

¹⁴⁷ Святой Доминик де Гусман Гарсес (ок. 1170–1221) — основатель Ордена проповедников (доминиканцев), проповедник и реформатор церковной жизни.

— Пресвятая Дева, Матерь милосердия, Ты, что держишь на руках Утешение мира! Взгляни на того, кто страдает не по своей воле. Даруй Алессандро Дамиано покой и забвение. Исцели его сердце от страсти, ставшей для него пагубой, сотри мое имя из его мыслей, дней и ночей. Не наказывай его за чувство, которое он не выбирал, но освободи от него, как освобождают от боли и страдания. Если я была для него испытанием — сделай так, чтобы оно завершилось. Если раной — даруй исцеление. Если судьбой — укажи ему новый путь, где свет Твоей благодати осветит дорогу к истинному счастью. А мне... мне дай силу не возвращаться туда, откуда ушла.

Фьорелла перекрестилась и поднялась с колен. На ее плечо неожиданно опустилась чья-то рука. Девушка вздрогнула и резко обернулась. Перед ней стояла та самая женщина, что в младенчестве носила ее на руках, укачивала ночами и шептала молитвы, когда ее, совсем еще кроху, мучили лихорадки и дурные сны.

— Девочка моя... — выдохнула Мария Кончетта, и Фьора сама не заметила, как оказалась прижатой к пышной женской груди.

Синьора Валентини провела ладонью по волосам воспитанницы, как делала это в давние годы, и тяжело вздохнула.

— Гляжу на тебя — и сердце ноет. Совсем ты исхудала, моя девочка, — произнесла она вполголоса. — Глаза потухшие... совсем не девичьи уже. Всё пережитое в них отража-

ется, как серые тучи в чистом озере.

Фьорелла отвела взгляд, а нянюшка позвала:

— Пойдем-ка, присядем. Не зря говорят: в ногах правды нет.

Они расположились на ближайшей скамье. Няня сложила руки на коленях, сцепив пальцы.

— Слушай меня внимательно, Фьора, — начала она просто, без долгих предисловий. — Жизнь — она штука суровая, но не злопамятная. И с чистого листа ее начинать совсем не грех. Нужно только решиться.

Фьорелла молчала.

— Забудь, — продолжила заботливые наставления Мария Кончетта, — забудь всё, что с тобой делал князь. Не тебе за чужой грех расплачиваться. Зло, боль не могут длиться вечно; в конце концов, хорошее всегда побеждает. Рано или поздно хорошие времена наступят и для тебя.

Женщина накрыла кисть ее руки своей теплой ладонью. Это было не просто знаком участия. Фьорелла чувствовала, что няня искренне хочет разделить ее боль, забрать себе часть страданий.

— Не в стенах дома божьего вести такие речи, но я скажу, как есть, — верю, Господь простит меня. Ведь пекусь не о себе, а о той, чья душа, словно горный ручей, свежа и чиста.

Женщина глубоко и сочувственно вздохнула.

— Так вот, слушай меня внимательно. Есть разные способы всё поправить. Я специально про то разузнала, — она по-

низила голос еще сильнее. — Стягивающая «вода девственниц», настоящая на коре дуба, ивы, каштана и сумаха, порошок из высушенных корок граната, болюсы из чернильных орешков, квасцы, сок айвы, «свинцовый сахар»[149]¹⁴⁸. Средств много, и все они проверены. Есть и такие, что заменяют девственную кровь. Ампулы «Санто Сангве»[150]¹⁴⁹ называются. Маленькие пузырьки, с ноготь величиной, запаянные в воск. Говорят, внутри — бычья кровь, загущенная маслом, подкрашенная кошенилью и смешанная с экстрактом пиявок — так, чтобы она не темнела и не сворачивалась раньше времени. Перед... тем самым... ну, ты понимаешь, их вводят внутрь. От тепла и давления воск лопается, и наружу вытекает густая, теплая, алая жидкость, неотличимая от девичьей крови. Женихам этого обычно хватает. Большинство так и не догадываются, что были у своих невест не первыми. Если хочешь, можем прямо сейчас в аптеку при здешнем монастыре обратиться. Церковь хоть и не одобряет подобный обман, но монахи свою выгоду не упустят. Тутюшняя аптека славится на весь Неаполь. Наверняка мы в ней смо-

¹⁴⁸ Вода девственниц и прочие адстрингенты (от лат. *adstringere* — стягивать) — группа сильнодействующих вяжущих средств, широко применявшихся в медицине и «косметике интимного обмана» XVIII века. Сложные составы на основе коры дуба, чернильных орешков (галлов), квасцов и токсичного «свинцового сахара» вызывали резкое сокращение тканей. В Неаполе эпохи Бурбонов эти средства использовались повитухами для остановки кровотечений, а куртизанками и невестами — для создания временной иллюзии девственности за счет имитации узости тканей.

¹⁴⁹ Сántо Сánгве (лат. *santo sanguine*) — святая кровь.

жем подобрать подходящее средство. Ну а если уж совсем надежно захочешь, так и к хирургу обратиться можно. Есть такие мастера... сделают так, что и следа никто не отыщет. Будет так, будто всей этой грязи в твоей жизни и не бывало.

Фьорелла резко, как от пощечины, вскинула голову.

— Нет, — сказала она твердо. — Я не стану никому лгать...

— Да послушай же ты, упрямица моя, — с мягкой досадой перебила ее няня. — Мне дали адрес одного врача. Говорят, он человек аккуратный, и руки у него золотые. Никто ничего не узнает. Ты же не по своей вине не смогла сохранить «венец девства». Что с того, если захочешь всё поправить? А виконт Моразини... — тут в голосе ее появилась уверенность. — Он любит тебя. Я это точно знаю, своими глазами видела, как сильно он страдает и переживает. Сколько раз ко мне приезжал, всё выводывал, спрашивал меня о тебе, беспокоился очень. Синьор Ранелли... Он человек благородный, милый и надежный, как бракко[151]¹⁵⁰. И сердце у него доброе. Он тебя, любую примет. Виконт с радостью спасет твою честь. Женится без разговоров. Смует твой позор браком. Но тебе же самой легче будет, спокойнее, если воспользуешься услугами хирурга или этими средствами. И

¹⁵⁰ Бра́кко (итал. bracco) — старинная порода итальянских легавых, ценившаяся аристократией XVIII века. Эти собаки славились не только охотничьим чутьем, но и исключительным миролюбием, преданностью и мягким нравом. Сравнение с бракко в Неаполе было высшим признанием надежности и доброй души человека.

рассказывать виконту ничего не придется. Зачем мужчине знать всю боль женщины? Да, был князь. Притеснял своей жесткой опекой, воли-свободы не давал. И всё. Всю правду до конца говорить и не нужно.

Фьорелла медленно покачала головой.

— Нет, Татина. Всю правду буду знать я. И эта правда — знание о моем позоре — не позволит мне обмануть синьора Витторе. Совесть не позволит. Я слишком его уважаю... и люблю, чтобы приносить в его жизнь ложь и грязь. Да, он благороден. Да, он примет меня. В том я даже не сомневаюсь. Но не хочу любви из жалости. У меня тоже есть гордость и самоуважение. Пусть и запятнанные грехом, пусть от них остались жалкие лохмотья... — она горько усмехнулась, — но что есть, то есть. Сердце не позволит мне привнести в наши отношения обман.

Фьорелла грустно вздохнула.

— Впрочем, о каких отношениях я говорю? Всё это уже в прошлом. Эту страницу жизни я давно перелистнула. Теперь нужно выстраивать судьбу заново.

Мария Кончетта поднесла пальцы ко рту и покачала головой. Она молчала и смотрела на Фьюру не то с сожалением, не то с неодобрением.

— И что же ты теперь будешь делать, упрямица моя? — наконец спросила она.

— Сначала, как советовала бадесса Агнесса, отправлюсь в паломничество к Мадонне ди Монтеверджине, — ответила

Фьорелла. — А потом... потом видно будет.

Няня посмотрела на нее долгим, пронизывающим взглядом. В этом взгляде было и сочувствие, и тревога, и гордость. Она полезла в карман и вынула два небольших кожаных кошель.

— Виконт Моразини каждый месяц шлет мне из твоего наследства жалование и деньги на содержание двух принадлежащих тебе домов: отцовского в Неаполе и дядиногo в Позилипо, — начала она буднично. — Ты знаешь, мне много не нужно. Вот всё, что удалось сберечь. Возьми. Тебе пригодится.

Фьорелла хотела возразить, но Мария Кончетта подняла руку.

— Даже не думай спорить. Когда вернешься из Монтеверджине — приезжай ко мне. Я буду ждать тебе в Позилипо. Напишу своим на Сицилию. Укроемся там на время. Если, конечно...

Она посмотрела на девушку гораздо более внимательно и с осторожностью в голосе произнесла:

— Если не захочешь вернуться в палаццо его светлости князя.

— Нет, — тихо, но твердо возразила Фьорелла. — Этого я точно не захочу.

— Ну вот и славно, — кивнула няня. — Значит, буду ждать тебя. Поедем на Сицилию вместе.

Фьорелла сжала кошель в ладонях.

— Спасибо, Татина. Так и поступим. А теперь вот что... Она достала заранее приготовленные два дуката.

— Закажи заупокойную мессу по дядюшке, когда я уйду. Сегодня, если ты помнишь, годовщина со дня его гибели.

Синьора Валентини взяла деньги.

— Всё сделаю. Не переживай.

Они расцеловались, после чего Фьорелла поднялась, накинула поверх черной мантильи капюшон и пошла к выходу, остановилась на миг, оглянулась и увидела, как Мария Кончетта крестит ее дрожащей рукой.

Фьора подошла к сидящему у двери на табурете старику-привратнику. Сказала ему всё, что велела Лукреция. Тот без лишних слов проводил ее к другому выходу из церкви, ведущему в монастырский кьостро. Там кратким путем провел к тайному выходу из монастыря.

Когда дверь закрылась, ей в лицо ударил холодный ветер с моря, но внутри, как ни странно, проклюнулся упрямый росток решимости. Пусть путь, какой она нарисовала в уме, был не из простых, сама мысль, что сможет по нему пройти, уже окрыляла ее.

Врожденные принципы, впитанные с молоком матери, и представления о морали, заложенные родителями, стали соломинкой в топком болоте безнравственности, в которое ее окунули. А фамильная гордость и здоровое самоуважение — душеспасительным маяком, который давал надежду на то, что сможет выбраться из того ужасного жизненного шторма,

в коем не по своей воле оказалась.

Глава 6

Выйдя из дверей монастыря, Фьорелла замерла на месте, пропуская едущее по дороге детское похоронное карреттино^[152]¹⁵¹, на котором был размещен маленький саркофаг, накрытый голубым покрывальцем. По углам скорбной тележки были приторочены гипсовые херувимы^[153]¹⁵², наряженные в белые балахоны. Следом за повозкой шли две заплаканные женщины в черных одеждах, видимо, мать и бабушка почившего ребенка.

Фьорелла застыла, потрясенная драматизмом увиденной сцены. Чужая боль отозвалась в ее сердце эхом собственной, еще не до конца утихнувшей утраты. Глядя на этот маленький саркофаг с наивными ангелочками, Фьора почувствовала, как ком подкатывает к горлу. Ее руки невольно потянулись к животу, словно пытаясь защитить то, чего уже там нет, а глаза затуманились слезами, мешая разглядеть лица плачущих женщин. Время будто остановилось: шум и гомон улицы, цокот копыт, людские голоса — всё это растворилось, уступив место недавним печальным воспоминаниям.

¹⁵¹ Карреттино (итал. *carrettino* — тележка) — в Неаполе XVIII века простая двухколесная повозка, часто использовавшаяся беднотой в качестве ритуального транспорта для перевозки гроба во время похоронных процессий.

¹⁵² Херувим (с др. — евр. мн. *ka-rubim*) — в религиозной мифологии — ангел высшего чина.

Очнулась Фьорелла лишь тогда, когда проходящая мимо матрона прикрикнула на двух мальчишек-лаццарони, вздумавших гонять по брусчатке рядом с проезжающими похоронными дрожками металлическое колесо. Суровый окрик неаполитанки, с виду похожей на ведьму из сказки, мгновенно, точно воробьев, завидевших кошку, спугнул озорников. Сверкая в прорехах нехитрой одежки загорелой, до цвета флорентийской бронзы, кожей, с хохотом и визгом, столь неуместными рядом с печальным зрелищем, они ринулись наутек в ближайший переулок.

Неожиданно за спиной раздались резкие квакающие звуки, лишь отдаленно напоминавшие музыку. Фьорелла обернулась: на углу обители расположились уличные оборванцы. Один из них сжимал в руках каккавеллу[154]¹⁵³ — круглый жестяной горшок, обтянутый козлиной кожей. В прореху была вставлена палка, которой суонаторе[155]¹⁵⁴ остервенело елозил вверх-вниз, будто взбивал масло в кадушке. Однако из глубин инструмента вместо сливок выплескивалось лишь утробное, булькающее урчание. Музыкант раскачивался с блаженной улыбкой, упиваясь этим жутким «кваканьем».

¹⁵³ Каккавёлла (неап. *caccavèlla*) — неаполитанский музыкальный инструмент, фрикционный барабан, состоящий из цилиндрической звуковой коробки, закрытой сверху натянутой мембраной, с бамбуковой палкой, закрепленной по центру. Он входит в число классических инструментов неаполитанской песни. Другое название инструмента — путипу́ (неап. *putipù*).

¹⁵⁴ Суонаторе (итал. *suonatore*) — странствующий/бродячий музыкант.

Ему вторил на разбитой мандолине молодой, дочерна загорелый постеджиаторе[156]¹⁵⁵. Звуки вырывались из-под его пальцев надтреснутыми рывками, точно из фальшивого колокола. Трио завершал слепой старик с триккабаллаккой[157]¹⁵⁶. Затарахтев деревянной трещоткой невпопад, он радостно оскалился, являя миру единственный желтый зуб на стертой челюсти.

Смотреть на него было жутко: бельма пустых глаз перекатывались меж кроваво-красных век, напоминая вареные яйца, вращающиеся на фарфоровом блюде. В своей фантасмагоричной уродливости он казался выходцем из кошмаров Иеронима Босха[158]¹⁵⁷. Но подлинное безумие началось, когда слепец, морща пергаментную рожу, принялся выкрикивать слова песни:

Я подцепил нарядную милашку.
У ней такая славная мордашка!

¹⁵⁵ Постеджиаторе (итал. *posteggiatore*) — бродячий музыкант в Неаполе, чаще всего играющий на мандолине.

¹⁵⁶ Триккабаллакка (неап. *triccabballacca*) — традиционный музыкальный инструмент юга Италии, хлопушка, состоящая из трёх ударных молотков, установленных на основании. Два внешних молотка закреплены на шарнирах у основания и перемещаются внутрь для удара по центральной части. Ритмичный звук издается щелчком дерева по дереву и одновременным звуком маленьких металлических дисков, называемых «джинглами», установленных на инструменте.

¹⁵⁷ Иероним Босх, настоящее имя — Ерун Антонион ван Акен (1450–1516) — нидерландский потомственный художник, один из крупнейших мастеров периода Северного Возрождения.

Об этом песенку я вам спою:
С ней пошалою — и окажусь в раю!
Хлоп-хлоп-хлоп, трещи, моя трещотка!
Девчонка — мёд, а я — шальная глотка!
Она — как бланманже, а я — голодный кот,
Коль нос воротит — в девках и помрёт! [159]

Комические куплеты перемежались нестройным хором неблагозвучных «буи-буи», «куи-куи», «вжиги-вжиги», «ри-ри-ри». Единственным слушателем этого «оркестра» был невысокий мужичонка с отсутствующим из-за срамной болезни носом [160]¹⁵⁸. Видно, он оказался недостаточно богат, чтобы заменить утраченную часть лица металлическим протезом, но всё же располагал средствами, позволившими купить новостной листок и его клочком заклеить уродливый изъян.

Тут же, на перекрестке двух улиц, слонялся лоточник с ослом. Запрокинув голову и живописно нахлобучив коричневую шляпу, он луженой глоткой расхваливал лук-порей и капусту, тогда как животное осторожно карабкалось вверх по склону, перебирая копытами по разбитым камням мостовой.

На неаполитанском диалекте таких торговцев овощами называют «падулано» [161]¹⁵⁹. Они приходят с болота, под

¹⁵⁸ Западение носа (седловидная форма носа) у больных сифилисом возникает из-за разрушения носового хряща специфическими опухолями — гуммами.

¹⁵⁹ Падулано (неап. padulano, от padule — болото) — болотник.

которым подразумевают низменную равнину мутной реки Себето[162]¹⁶⁰. Там, на вязкой, болотистой почве, произрастает множество поздних овощей, и именно ими этот падулано, напрягая всю мощь своих легких, хвастался теперь на всю округу голосом, вредным для слуха всякого благовоспитанного человека.

На самом верхнем этаже дома, выходящего окнами на монашескую обитель, женщина услышала его крик и вышла на балкон. Торг пошел не словами, а знаками и жестами — универсальным языком простого люда. Несколько быстрых пасов руками — и сделка состоялась. Женщина спустила на веревке корзину, на дне которой звякнуло несколько монет. Плетенка вернулась наверх, уже набитая зеленью и овощами, а падулано двинулся дальше, шествуя рядом со своим терпеливым осликом.

Фьорелла смотрела то на него, то на музыкантов и думала о том, как пугающе тесно переплетены в родном городе нити жизни и смерти. Всего мгновение назад сердце разрывалось от вида похоронного карреттино и чужой материнской скорби, а теперь слух терзали бесстыдные куплеты беззубого старика и нестройный гул каккавеллы.

В Неаполе святость монастырских стен часто соседствует с уродством греха, а молитвенная тишина пожирается пест-

¹⁶⁰ Себёто (итал. Sebeto) — ныне исчезнувшая река близ Неаполя, в прошлом протекавшая через низменные, заболоченные земли и впадавшая в Неаполитанский залив.

рым, балаганным шумом. Здесь подле детского саркофага скачут мальчишки-лаццарони, а человек с ликом босховского грешника распевает песни о рае.

Постояв еще немного и поразмыслив о странном и жестоком сплетении радости и горя, Фьорелла бросила в шляпу, лежащую у ног музыкантов, пару медных монет, развернулась и пошла по направлению к меркато[163]¹⁶¹.

По выщербленному желобку брусчатки стекали нечистоты, выливаемые нерадивыми служанками из верхних этажей домов прямо на улицу. Оглядев свои аккуратные туфельки, Фьорелла решила прикупить на рынке более удобную и практичную обувь. Если она намеревается совершить паломничество в Сантуарио[164]¹⁶² ди Монтеверджине, то пешком по размокшим от дождей дорогам в открытой обуви далеко не уйдешь.

Фьора запрокинула голову. Небо нависло над городом тяжелым серым колпаком, грозящим раздавить своей тяжестью каждого жителя Неаполя. Дождя пока не было, но собирающиеся тучи предвещали в ближайшие дни затяжную морось. Сейчас Фьорелла была очень даже признательна Лукреции, которая заставила так утеплиться. Да, это были не самые изысканные предметы одежды, но они отлично защищали от сырого ветра, дующего с залива.

Улица на подходах к меркато кишела любопытными фи-

¹⁶¹ Мерка́то (итал. mercato) — рынок.

¹⁶² Сантуа́рио (итал. santuario) — святилище, храм.

гурами. Вот мимо прошел человек, несущий в одной руке ведро с кипятком, а в другой — плоскую корзину с нарезанными щупальцами осьминога и поднос с сухарями. За небольшую цену в пару грано любой желающий мог выбрать себе порцию отвратительного лакомства, согреть его в горячей воде и съесть на месте.

По пятам за ним, внося свой вклад в оглушительный шум улицы, брел «пиццайоло»[165]¹⁶³ — поставщик излюбленного лакомства, которое обожают все неаполитанцы. Распевая свои зазывалки, он свернул вниз в боковой переулок.

При видимом бездельи каждый неаполитанец в любую минуту непременно чем-то занят. Больше всего он любит торговать. В Неаполе этим не занимается разве что самый ленивый. Казалось бы, еще минуту назад у человека не было ничего в руках, но, как только он замечает платежеспособного покупателя, у него чудесным образом появляется хоть что-то для продажи.

Самым ходовым товаром являются всякого рода амулеты от еттатуры[166]¹⁶⁴. Это и курничелло[167]¹⁶⁵ — маленький рог, обычно выполненный из красного коралла или се-

¹⁶³ Пиццайоло (неап. *pizzajuolo*) — уличный продавец пиццы и лепешек фокя́чча (итал. *focaccia*).

¹⁶⁴ Еттату́ра (неап. *jettatura*, буквально — сглаз) — понятие, которое существовало у неаполитанцев и некоторых других жителей южной Италии и означало сглаз, порчу, дурной глаз.

¹⁶⁵ Курниче́лло (неап. *curniciello*) — красный рог — один из самых известных талисманов удачи в Неаполе.

ребра, и мано корнута[168]¹⁶⁶ — рука, вырезанная из дерева или того же коралла, образующая рожки, и мешочки с солью, призванные защитить от нечистой силы. Всё это, по мнению всякого неаполитанца, должно способствовать ограждению от зависти и дурного глаза.

Вот и сейчас почти каждый встречный предлагал Фьорелле что-нибудь да купить: то черепок какой-то глиняной вазы с раскопок Геркуланума[169]¹⁶⁷, Стабий или Помпей, то обломок капители, то статуэтку уродца-пана или просто кусочки мраморных мозаик, найденные где-нибудь в разрушенном храме или разграбленной гробнице. Остроумнейшие, с хитрой, таинственной улыбочкой протягивали ей бронзовых Приапов[170]¹⁶⁸.

По сути, весь Неаполь — это один большой меркато. На любой улице здесь можно купить всё, что тебе необходимо, то, о чем подумалось сию минуту и даже то, что и в голову бы не пришло. Здесь на каждом углу торгуют фруктами, овощами и морепродуктами. Утолить голод можно также, не по-

¹⁶⁶ Ма́но корну́та (неап. *mano cornuta*, буквально — рука-рожки) — вырезанная из красного коралла рука с двумя выставленными рожками, символом защиты от сглаза.

¹⁶⁷ Геркулáну́м (лат. *Herculaneum*, итал. *Ercolano*) — древнеримский город в итальянском регионе Кампания, на берегу Неаполитанского залива, рядом с современным Эрколано. Равно как и города Помпеи и Стабии, прекратил существование во время извержения Везувия осенью 79 года — был погребен под слоем пирокластических потоков.

¹⁶⁸ Приа́п (лат. *Priapus*) — римский бог плодородия; изображался с чрезвычайно развитым и, как правило, эрегированным, половым членом.

кидая здешних улиц. Хотите только что выловленные устрицы или прочие фрутти-ди-маре — вот они! Вареные каштаны или макароны с разным соусом? Имеется и такое. Желаете утолить жажду — предложат на выбор темно-рубиновое «Граньяно»[171]¹⁶⁹ или белое «Фьяно ди Авеллино»[172]¹⁷⁰.

И никто из дегустирующих эти яства и напитки не станет заморачиваться, куда деть лимонные и арбузные корки, устричные раковины и очистки морепродуктов. Всё это летит тут же на мостовую и вливается в потоки грязи и нечистот, стекающих по сайтеллам[173]¹⁷¹ тротуаров к морю. Именно от этого гнилостный запах, смешанный с воздухом, пропитанным морскими солями, никогда не выветривается из тесных улиц столицы.

Еще более удручающее впечатление на Фьореллу всегда производила пьяцца Меркато-а-Капуана — большая площадь прямо перед Капуанскими воротами. Это был один из старейших рынков Неаполя, действовавший с незапамятных времен и специализировавшийся на торговле зерном, овощами, скотом и ремесленными товарами.

¹⁶⁹ Граньяно (итал. Gragnano) — красное вино региона Кампания. Известно с начала XVIII века. Имеет глубокие корни в истории южной Италии, особенно в районе города Граньяно, который находится недалеко от Неаполя.

¹⁷⁰ Фьяно ди Авеллино (итал. Fiano di Avellino) — итальянское сухое белое вино, производимое в провинции Авеллино, в регионе Кампания.

¹⁷¹ Сайте́лла (неап. saittella) — отверстие, расположенное по краям тротуара, куда с улиц Неаполя стекала дождевая вода и нечистоты, направляющиеся в канализационную трубу, ведущую к морю.

Именно сюда Фьорелла и пришла. Это место разительно отличалось от парадной части города. Но именно здесь располагались ряды ремесленников, чьи товары были проще и много дешевле, чем в магазинчиках на Виа Толедо. Фьора точно знала: тут есть лавки, торгующие простой обувью. Она однажды была здесь с няней. Татина покупала себе сопраскарпе[174]¹⁷² — грязевые ботинки для дождливой погоды.

Торговля тут шла полным ходом. На лотках зеленщиц в белых чепцах были разложены ряды латука, порея, брокколи, цикория, фенхеля, бетолы[175]¹⁷³, связки петрушки и сельдерея, емкости с бобами и фасолью, а на земле в корзинах красовались тыквы, репа и редька.

Тут же, посреди зеленого огорода, — расчлененные и окровавленные коровьи туши, разложенные на грязных прилавках. Рядом с ними, прямо на земле, стояли поддоны с требухой. Грязная взъерошенная сука с отвисшими до земли сосцами и окровавленной мордой вылизывала ошметки говяжьих легких.

Чуть поодаль на лотке упитанного торговца виднелись

¹⁷² Сопраскарпе (итал. *soprascarpe*, буквально — над-обувь) — в Неаполе XVIII века упрощенное название защитной обуви, калоши, мокроступы, надеваемые поверх основной для защиты от грязи и воды. В народной среде Неаполя того времени их также называли *scarpe da fango* (грязевые ботинки) или *scarpe da pioggia* (ботинки для дождя). Они изготавливались из грубой промасленной кожи или имели высокую деревянную подошву, позволявшую пересекать сточные канавы и нечистоты на мостовых, не испортив дорогую обувь или чулки.

¹⁷³ Бётола (итал. *bietola*) — мангольд, двулетнее травянистое растение; подвид свеклы обыкновенной. Родственен сахарной, кормовой и обыкновенной свекле.

рядками выложенные зеленые дятлы с красными головками — любимое лакомство всех неаполитанцев, равно как и освежаванные тушки зайцев, лежавшие на прилавке у его соседа.

В стороне от них стояли ослики, навьюченные хворостом до такой степени, что их почти не было видно из-под внушительной ноши. Этот товар также выставлен для продажи.

Тут же мальчишка-подросток продавал двух брыкливых коз и одного мула с длинными ушами. Рядом с ними расположилась со своим товаром молодая цветочница. Ее темные волосы закручены на висках в замысловатые узлы, напоминающие волюты[176]¹⁷⁴, какими обычно архитекторы украшают капители Ионических колонн.

Неподалеку от цветочницы, прямо на земле сидела слепая старуха-попрошайка. Ее смуглый, точеный, будто вырезанный из самшита, профиль застыл неподвижно. Она жадно вбирала ушами все звуки. Они, верно, воссоздавали в ее голове все те картины, которые не могла видеть глазами.

Среди прилавков сновали разносчики цукатов, сушеного чернослива, лимонных корочек в сладкой глазури, леденцов на палочках и засахаренных орешков.

К одной из торговых кальдалессе[177]¹⁷⁵ подбежала дев-

¹⁷⁴ Волю́та (итал. *voluta*, от лат. *volutare* — катать, закручивать) — завиток, спираль, архитектурный мотив, представляющий собой спиралевидный завиток с кружком («глазком») в центре.

¹⁷⁵ Кальдале́ссе (итал. *caldalesse*, от итал. *caldo* — горячий и *lesso* — отварной) — буквально: «горячее варево»; старинное итальянское разговорное название

чушка лет семи, протянула монетку и подставила свой передник. Дородная женщина, продающая вареную фасоль зачерпнула из глиняного горшка деревянной ложкой и вывалила густое варево прямо в фартучек маленькой покупательницы. Девчушка улыбнулась, поблагодарила торговку и довольная побежала туда, откуда пришла.

Фьорелла то и дело ловила на слух зазывные крики торговцев, перекатывающиеся по рынку, как волны:

— Налетай, добрый люд, бери, пока живо и шевелится!

— По самой бросовой цене отдаю, ниже — уж закопать в землю!

— Даром почти, клянусь святыми, себе в убыток!

Им вторили голоса покупателей — колкие, прижимистые:

— Больно дорого у тебя!

— Да ты с ума сошел!

— Я что, деньги кую что ли?

— Век тебе самому есть такие мелкие яйца по такой непомерной цене!

Крики, смех, торг и притворные вздохи сплетались в один гулкий хор, и Фьоре казалось, будто весь рынок дышит, спорит и живет привычно шумной, взволнованной жизнью.

Вдруг возле корзин с дынями-канталупами^[178]¹⁷⁶ и при-

продаваемой горячей еды (отварных каштанов, макарон, бобов, люпина и т. п.). Соответственно, торговка кальдалессе — это продавщица простой горячей еды на вынос.

¹⁷⁶ Канталупа — сорт мускусных дынь; около 1700 года такие дыни были завезены из Армении в Италию и возделывалась в папском имении Канталупо (итал.

лавком, увешанным связками лука, взметнулась женская перебранка — резкая и неприятная, как удар ножа о точильный камень.

— Эй ты, гусыня ощипанная! — крикнула одна торговка, уперев руки в боки. — Ты что же, сманиваешь у меня покупателей?

— А тебе бы не торговать надо, а быка идти доить, — не осталась в долгу другая.

— Да тебя саму впору подоить, — расхохоталась первая. — Гляньте, люди добрые, какие она проволы[179]¹⁷⁷ из корсета выкатила — прямо не грудь, а сырная лавка!

Все вокруг прыснули со смеху. Вторая торговка залилась краской, потом вскинула подбородок:

— А ты, как вижу, слюной изошла от зависти. Твоих-то головастиков твой мужик и с зажженной свечой ночью отыскать не сможет.

— Да было бы чему завидовать! — отрезала первая. — Такую тяжесть, как у тебя, на себе таскать — спина отвалится. Мне и моих корзин с дынями за глаза хватает, а ты свое добро как недоеная корова еле-еле не себе волочишь!

Ругань еще долго каталась по рынку, словно камешки по мостовой, собирая смешки, охи и шепотки, но Фьорелла скрылась за прилавками, унося на губах легкую улыбку. Она

Cantalupo) близ Рима, отчего и получили свое название.

¹⁷⁷ Провола (неап. provola) — традиционный неаполитанский округлый сыр из буйволиного или коровьего молока. Из-за своей формы в народном языке часто служил комичным и грубоватым сравнением для пышных женских форм.

знала: такие сценки не несут в себе подлинной злости. Это скорее спектакль на потребу зрителей, дабы привлечь побольше покупателей к собственному товару.

Торговки всякого рода снедью — растрепанные, голосистые, не стесняющиеся в выражениях — назойливо расхваливали свой товар. Их яростные пререкания с покупателями о цене смешивались с воплями скуньищи[180]¹⁷⁸ — пронырливых, шустрых мальчишек, которые с ловкостью обезьян просачивались сквозь толпу, предлагая себя в носильщики приобретенных товаров, а иногда и заманивая растерявшуюся девушку приобретением всякой дряни — от «магических» амулетов до фальшивых реликвариев[181]¹⁷⁹.

Обойдя лавки с москательными товарами[182]¹⁸⁰, Фьорелла отыскала нужный ряд и пошла вдоль прилавков, осматривая грубые, но надежные изделия местных сапожников. Она искала не изящные туфли с пряжками, а то, за чем когда-то приходила сюда ее няня — надежную защиту от сырости и грязи.

Фьора пробиралась сквозь толпу, придерживая полы ман-

¹⁷⁸ Скуньищи (неап. *scugnizzi*) — уличные мальчишки, беспризорники из бедных слоев Неаполя XVIII века; выполняли случайные работы, в том числе носили покупки и поклажу за плату, служили посыльными и поденными.

¹⁷⁹ Реликварий — сосуд или ковчег для хранения святых реликвий; в этом случае — поддельный предмет, выдаваемый за вместилище святыни.

¹⁸⁰ Москательные товары (от перс. *мошк* — мускус) — устаревшее название предметов бытовой химии (красок, клеев, технических масел и др.) как предметов торговли.

теллы руками: в такой давке и святой берег бы не только деньги, но и пуговицы.

— Синьорина! — как ворона на падаль, налетела на нее пожилая торговка, женщина неопрятная, с руками, покрасневшими от холода. Она ухватила край мантилы так цепко, что Фьорелле пришлось остановиться возле нее. — Ищите обувь, чтоб грязь не запачкала ваши туфельки? Впереди декабрь, а он что промокший дворовый пес — с ласковыми глазами да грязными лапами. Гляньте-ка, какие дзуоккеле[183]¹⁸¹ предложу! Подошва из тополя, высокая да легкая, клянусь Мадонной! Ремешки — кожа теленка, а не веревочные подвязки. Держатся на ноге крепче, чем обида на сердце любого неаполитанца. В такой обуви можно по лужам, как по ковру, ходить! На такой подошве ноги не идут — они стучат, как кастаньеты[184]¹⁸² у уличных плясунов.

Фьорелла невольно посмотрела вниз: дзуоккеле стояли ровным строем, как деревянные солдатики, выскобленные до белизны, но у всех них был один недостаток — открытый верх.

¹⁸¹ Дзубоккеле (неап. *zuocchele*) — деревянные сабо, распространенная в Неаполе XVIII века повседневная обувь простонародья; носились как мужчинами, так и женщинами, защищали ноги от грязи и влаги узких городских улиц и часто сопровождалась громким стуком при ходьбе, ставшим характерной приметой неаполитанского быта того времени.

¹⁸² Кастаньеты (исп. *castañetas*, от лат. *castanea* — каштан) — парный ударный музыкальный инструмент, каждая часть которого состоит из двух пластинок-ракушек, соединенных шнурком. Наибольшее распространение получили в Испании, Южной Италии и Латинской Америке.

— Э-э, синьорина, — вмешался сосед торговки, мужчина средних лет, гладко выбритый, с глазом живым и быстрым, как у человека, который знает, как переманить чужую монету себе в карман. Он улыбнулся Фьоре так, будто она была его хорошей знакомой. — Не слушайте вы эту болтливую трафечеру[185]¹⁸³. На ее дзуоккеле только ноги ломать: шагнете — и косточки зазвонят, как мелочь в кармане. Вам ведь не на ярмарке плясать, верно? Если придется нежные ножки оседлать[186]¹⁸⁴ и идти долго, то нужны не дзуоккеле, а галоше[187]¹⁸⁵.

Он наклонился ближе, понизил голос, и в его речи появилось то особое неаполитанское сочувствие, которое всегда чуть-чуть приправлено выгодой:

— Сами знаете: декабрь — что шотландская мгла, синьорина. Промочит любого, хоть он трижды неаполитанец. У ее дзуоккеле верх открыт — и вся сырость вам в чулки, да в косточки проберется. А в моих галоше ваши ножки будут как

¹⁸³ Трафечера (неап. Trafecchèra) — буквально: та, что ведет traféso (делишки, сомнительные сделки); пренебрежительное название мелкой торговли или посредницы, замешанной в нечестных или полузаконных делах; мошенница, торговка, спекулянтка.

¹⁸⁴ Оседлать ноги — идти пешком. Здесь перефразировано неаполитанское разговорное выражение XVIII века 'ncavallà 'e cosce (оседлать бедра), употреблявшегося в значении отправиться в путь без лошади или повозки, полагаясь лишь на собственные ноги.

¹⁸⁵ Галоше (итал. galòsce, множ. ч. от galòsca) — в Неаполе XVIII века — калоши, защитные накладки на обувь, изготовленные из кожи или войлока, которые надевались поверх основной обуви для защиты от уличной грязи и влаги.

у Христа за пазухой. В Неаполе не зря говорят: «В декабре смеется тот, кто сухим ходит». Вы же наверняка хотите смеяться, а не кукусься? Верно я говорю?

Фьорелла улыбнулась торговцу. В его словах было зерно правды, ну и щепотка театра, без которого здесь не продавали даже иголку.

— Вы сможете подобрать мне обувь по ноге? — спросила она, и сама услышала, что голос ее устал: толчея, гомон, сырость — всё отнимало силы, как мелкий вор — монеты в переулке.

Мужчина перегнулся через прилавок, взглянул на ее туфельки, уже испачканные по краю.

— О! — воскликнул он, как будто увидел редкую драгоценность. — Таким миниатюрным ножкам, как у вас, позавидовал бы сам Муначиелло[188]¹⁸⁶! Вам разве что детские галоше подойдут... Но, синьорина, должен сказать, что вам крупно повезло. Есть у меня и такие.

Слово «повезло» он произнес так, будто благословлял ее. Наклонился, исчез на миг за прилавком — и вынырнул с парой галоше, светло-коричневых, мягких на вид, с кожей, отполированной до теплого блеска. Поверху бежал орнамент — желто-красно-зеленый, словно кто-то поймал в ладонь кусочек карнавала и пришел к обуви, чтобы тот не улетел.

¹⁸⁶ Муначиелло (неап. 'O Munaciello) — буквально: маленький монашек; персонаж неаполитанского городского фольклора, обычно описываемый как невысокий человек в монашеской рясе, с непропорционально маленькими ногами (маленькими ступнями), из-за чего его походка кажется странной и шаркающей.

— Вот, гляньте, красота какая, — он поднес их ближе, и Фьорелла ощутила легкий запах дубленой кожи. — Любо-дорого поглядеть. Примерим?

Она кивнула. Торговец обогнул прилавок, ловко опустил-ся на одно колено — будто перед алтарем, но с куда более земной целью — и надел одно галоше из пары поверх ее туфельки. Та села так точно, что Фьорелла почувствовала: вот оно, редкое удовольствие — вещь, которая не спорит с тобой, а сразу делается твоей.

— Говорю же, у меня глаз — алмаз, — самодовольно хмыкнул мужчина. — Примерьте вторую и пройдитеесь. Сразу поймете: в моих галоше сможете хоть до Рима прошагать.

Фьорелла натянула вторую, сделала несколько шагов прямо по сырому камню. Было вполне комфортно.

— Сколько за них просите? — спросила она торговца.

— Для такой красавицы отдам по детской цене.

Он развел руками, как святой на фреске, обещающий милость, и озвучил эту «детскую» цену:

— Десять карлино[189]¹⁸⁷.

Фьорелла усмехнулась, вспомнив слова нянюшки: «Неаполитанцы умеют брать за слово „красавица“ не меньше, чем за перстень с камнем». Однако торговаться не стала — в па-

¹⁸⁷ Карлино (итал. Carlini) — название итальянской золотой и серебряной монеты. Впервые она была отчеканена в Неаполитанском королевстве во время правления Карла I Анжуйского (1266–1282), по имени которого и получил свое название. В качестве денежной единицы просуществовала вплоть до объединения Италии и введения итальянской лиры в 1861 году. 1 карлино — 10 грано.

мяти всплыло другое наставление Татины Марьюччи: «Кто в сырую погоду за цену спорит, тот домой непременно простуду приносит».

Фьора отсчитала деньги, расплатилась с торговцем, взяла в руки купленный товар и, не задерживаясь, двинулась дальше по ряду. Там, где продавали дорожные мелочи — ремни, свечи, кресала, — она заметила бизаччу[190]¹⁸⁸: перемётную суму, такую, какую обычно носили паломники.

Она оказалась вполне добротной: шерсть плотная, швы прошиты крепко, темные кожаные вставки — гладкие, а вышивка — красивая и аккуратная. Сразу было видно: в каждый стежок вложили много мастерства и терпения.

Фьорелла перекинула ремень через плечо: сумка легла удобно, не тянула, не резала — то, что нужно. Еще пять карлино ушли из ее кошелька, а вместе с ними — и опасение оказаться неподготовленной к долгой дороге.

Когда Фьора наконец вынырнула из рыночной толчеи, воздух показался ей куда более свободным, хотя сырость всё еще висела в нем, точно мокрая простыня на веревке. Девушка поплотнее запахла мантеллу, крепче прижала к боку бизаччу с купленными галоше и поспешила прочь, всё

¹⁸⁸ Биза́чча (итал. bisaccia, от лат. bisaccium — сумка) — традиционная парная переметная сума, состоящая из двух мешков, соединенных широкой полосой ткани или кожи. Ее перекидывали через плечо или крепили на крупе лошади (осла), что позволяло равномерно распределить вес провизии и вещей, необходимых паломнику в пути. В Кампании такие сумки часто изготавливались из грубого полотна или шерсти.

еще не вполне понимая, куда именно держит путь. Одно было ясно: сегодня пускаться в паломничество смысла нет. Значит, следует отыскать какую-нибудь локанду, переночевать, а уж завтра, с новыми силами, отправляться в дорогу.

И тут, словно сам Господь подслушал ее мысли, Фьора уловила обрывки чужого разговора. Какой-то форестьеро[191]¹⁸⁹, судя по выговору англичанин, на ломаном итальянском спрашивал у проходившего мимо сбира, где находится ближайшая локанда. Служитель закона молча махнул рукой в переулок справа. Фьорелла, не раздумывая, свернула по указанному маршруту.

Выросшая в тиши отцовской библиотеки, она всегда с испугом смотрела на кишачий людской муравейник Неаполя. Крики разноязыкой толпы, подобные гомону стаи безумных чаек, били ей по ушам.

Веттурино[192]¹⁹⁰, назойливо навязывавшие услуги извоза, с глазами, полными алчности и скрытого презрения, приотворно почтительно кланялись ей, а, не получив согласия на поездку, отпускали вслед непристойные шуточки.

Им не уступали и портантини[193]¹⁹¹, зазывавшие пере-

¹⁸⁹ Форестьеро (итал. forestiero) — иностранец.

¹⁹⁰ Веттурино (неап. vetturino) — в Неаполе XVIII века частный извозчик, предоставляющий услуги перевозки пассажиров и грузов на лошадях. Это был важный элемент городской инфраструктуры, занимавший промежуточное положение между общественным транспортом (который в современном понимании тогда почти отсутствовал) и частным наймом экипажа у знати.

¹⁹¹ Портантини (portantini, множ. число от portantino) — носильщики порт-

править «красивую синьорину» к месту назначения в видавших виды портшезах. Их льстивые речи пахли дешевым пойлом, а насмешки отдавали выгребной ямой.

Порой дорогу Фьорелле преграждали факкини[194]¹⁹² — угрюмые носильщики тяжестей, чьи спины, казалось, навсегда срослись с весом чужих сундуков и тюков. Проталкиваясь сквозь толпу, они хрипло сыпали ругательствами и едва не сбивали девушку с ног своими громоздкими ношами.

Среди всей этой пугающей мужской массы, словно ядовитые грибы после дождя, возникали чистильщики обуви с лицами, изгрызенными оспой и французской болезнью[195]¹⁹³, и глазами, полными тоски и отчаяния. Они суетливо крутились у ног Фьореллы, нашептывая что-то о чудодейственной силе обувных смазок и вечной прочности своих щеток.

Фьорелла плотнее куталась в теплую мантиллу и с горечью думала, что весь этот беспорядок — неотъемлемая часть неаполитанской жизни. Сердиться на него — всё равно что браниться с морскими волнами. Этот город — с его бурлящим людским морем, грязью, шумом и резкими ароматами

шезов и паланкинов (итал. portantina). [Портшез (франц. от porter — носить, и chaise — стул) — небольшие носилки, в форме стула; род паланкина].

¹⁹² Факки́ни (итал. fachini, множ. ч. от fachino) — носильщик тяжестей в Италии.

¹⁹³ Французская болезнь (итал. mal francese) — распространенное в Неаполе XVIII века народное и медицинское название сифилиса. Болезнь была широко распространена в портовых городах Южной Италии и нередко оставляла заметные следы на лице и теле, что делало ее зримой приметой нищеты, тяжелых условий жизни и социального дна.

— напоминал дикого, неприрученного мула, вечно брыкающегося и кричащего. И хотя душа ее тянулась к покою и гармонии, Фьорелла понимала: она сможет выжить в Неаполе, лишь приняв этот хаос. Возможно, тогда и научится различать в нем особую, своеобразную красоту. Ведь даже в бесконечной суматохе города жила своя витальная сила — уникальная, пленительная энергия, затягивавшая в бурлящий вихрь и не желавшая отпустить.

Очень скоро Фьорелла отыскала локанду «Джардино»[196]¹⁹⁴, получившую свое название из-за фасада, увитого виноградными лозами. Они уже утратили летнюю пышность: листья побурели и порыжели, местами свернувшись, как обожженная бумага. Переплетенные лозы тянулись вдоль стен, оголяя древесную вязь и придавая дому вид одновременно запущенный, но и по-своему живописный.

Здесь, как и повсюду в Неаполе, взору ее открылась сцена, сотканная из резких и почти нарочитых контрастов. Перед входом в гостиницу стояли две разряженные синьоры с изящными зонтами-параплуэ[197]¹⁹⁵, словно сошедшие со страниц модного журнала. У ног одной из них восседала удивительно белая собачонка, похожая на моток пушистой пряжи, — хрупкое и бесполезное украшение праздной жизни.

А всего в нескольких шагах, у угла того же здания, жалаась тесной кучкой стайка чумазных мальчишек-оборвышей

¹⁹⁴ Джардино (итал. Giardino) — сад.

¹⁹⁵ Параплуэ (франц. parapluie) — зонтик от дождя.

разных лет. С затаенным азартом они наблюдали за тем, как двое самых старших резались в морру[198]¹⁹⁶, выкрикивая числа и с силой выбрасывая перед собой пальцы.

В этом соседстве шелка и лохмотьев, благовоний и уличной грязи, изысканной праздности и голодной нищеты и заключалась сама сущность Неаполя — города, где богатство и бедность не просто сосуществовали, а дышали одним воздухом, сталкивались локтями и делили одну и ту же мостовую, не находя между собой ни преград, ни примирения.

Когда Фьорелла переступила порог локанды, на Неаполь уже начали опускаться ранние осенние сумерки. За стойкой, освещенной коптящей масляной лампой, стояла хозяйка — женщина неопределенных лет с лицом, изрезанным морщинами, как кора старой оливы, и пронзительным, цепким взглядом, способным на расстоянии взвесить кошелек клиента.

— Синьора, — голос Фьореллы слегка дрогнул, — найдется ли у вас отдельная комната? И скромный ужин. Мне не нужно роскоши, лишь покой.

Локандьера[199]¹⁹⁷ окинула гостью оценивающим взором, задержавшись на тонких запястьях и изнеженных ручках без перчаток.

— Пять карлино, красавица. И это только потому, что у

¹⁹⁶ Мórра (итал. morra) — игра на пальцах: камень, ножницы, бумага.

¹⁹⁷ Локандьёра (итал. locandiera) — хозяйка харчевни, содержательница гостиницы или комнаты для найма.

меня доброе сердце, — озвучила женщина цену, вытирая руки о передник. — И, что важно, за такую плату я даже не спрошу твоего имени.

Фьорелла, не колеблясь, выложила на стойку пять монет и, помедлив секунду, добавила еще столько же.

— Если кто-то будет искать меня... или спрашивать о девушке моего облика... — сердце Фьореллы пустилось вскачь. — Прошу вас, скажите, что не видели меня. Что здесь нет и не было никого похожего.

Хозяйка прищурилась, в ее глазах мелькнула тень подозрения, тяжелая, как грозовая туча над Везувием. Фьорелла поспешно добавила:

— Я решилась на паломничество в Сантуарио ди Монтеверджине. Мой опекун... он человек властный и суровый. Его светлость не одобряет моего богоугодного рвения. Мне приходится идти тайком, чтобы вымолить милость у Мадонны.

Взгляд хозяйки зацепился за перевешенную на плече девушки бизаччу, и лицо ее вдруг смягчилось. Она сгребла монеты ладонью и понимающе кивнула.

— Пусть Дева Мария сопутствует тебе, деточка. Не бойся. Ни одна живая душа, будь то хоть сам король Фердинанд, и тот не узнает от меня, что ты переступила порог моей локанды. Миру не нужно знать про иные женские дела. У нашей сестры случаются тайны, о которых мужчинам лучше не догадываться вовсе. А уж обеты Мадонне ди Монтеверджине

и вовсе следует приносить в одиночестве. Так что считай: ты стала для всех невидимкой.

Комната, в которую Фьореллу проводили, пахла старым деревом и сухими травами. Она была до крайности простой: кровать с тугим соломенным тюфяком, застеленным грубой, но безупречно чистой и выглаженной синей саржей; колченогая табуретка и маленький столик у окна, где в одиноком подсвечнике хозяйка собственноручно зажгла тусклый огонек. На тумбочке ждал фаянсовый тазик для умывания и тяжелый кувшин с ледяной водой.

Вскоре локандьера сама принесла поднос. Аромат горячего фасолевого супа — густого, настоявшегося на чесноке и оливковом масле, с размокшими корками вчерашнего хлеба — заставил Фьореллу вспомнить о том, что с утра не ела. Рядом на тарелке золотились мелкие сардины, зажаренные до хруста вместе с ломтиками подрумяненных цукини и баклажанов. Несколько кусков зрелого пикантного качокавалло[200]¹⁹⁸, ломоть свежего хлеба и полная гроздь темного винограда довершали трапезу. Вино в глиняной кружке было терпким и прохладным, разбавленным водой ровно настоль-

¹⁹⁸ Качокавалло (итал. Caciocavallo) — традиционный южноитальянский сыр из коровьего или овечьего молока, обладающий плотной текстурой и оригинальной формой в виде капли или мешочка. Название буквально переводится как «сыр на лошади», что связано со старинным способом созревания: головки связывают парами и подвешивают для просушки на горизонтальные перекладины, словно переметные сумки через спину коня. С возрастом вкус этого сыра меняется от нежного молочного до достаточно острого и пикантного.

ко, чтобы согреть душу, но не захмелеть.

Фьорелла ела медленно, глядя на танцующее пламя свечи. Смыв дорожную пыль и скинув опостылевшее платье, она забралась под одеяло. Солома под ней тихо шуршала, убаюкивая. События этого бесконечного, полного переживаний и надежд дня постепенно начали отступать.

Погружаясь в зыбкий сон, наплывавший со скоростью осенних сумерек, Фьорелла вновь вспомнила о его светлости:

— Господи Всемиловитый, — беззвучно шептала она, — молю, сделай так, чтобы князь Алессандро не вздумал искать меня сегодня. А завтра... завтра я исчезну из этого города. Затеряюсь в толпе паломников, спешащих принести обеты Мамме Скъявоне[201]¹⁹⁹ в праздник Введения во храм[202]²⁰⁰. Там, среди тысяч людей, его светлость меня ни

¹⁹⁹ Мамма Скъявоне (неап. Mamma Schiavone, также Schiavona; традиционно толкуется как «славянка» или «чужеземка», в народном восприятии также «темная») — почитаемая чудотворная икона Девы Марии в святилище Монтеверджине (итал. Montevergine), Кампания. Икона известна также под названиями Мадонна из Монтеверджине (итал. Madonna di Montevergine), Черная Мадонна (итал. Madonna Nera), а также Мадонна дёлле Браччёлле (итал. Madonna delle Braccelle, от braccelle — рукава мантии), по характерной композиции иконы, где фигура Богоматери (форма мантии и жест укрывания) словно образует защитный покров.

²⁰⁰ Праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм (итал. Presentazione della Beata Vergine Maria) — православный и католический праздник, отмечаемый в Италии 21 ноября (по новому стилю). В народной традиции он связан с началом зимы, паломничествами и обетами, символизирующими очищение и обновление.

за что не отыщет.

Уплывая в мир грез, Фьорелла продолжала молить небо, чтобы его светлость поскорее забыл ее имя, не терзал себя поисками и наконец обрел иное счастье — то, в котором ей больше не будет места.

* * *

Алессия долго мялась и всё же попросила сына съездить с ней в Беневенто. Ей хотелось привезти Алессандро на могилы своих родных. Она мечтала, чтобы он — его светлость князь, ее отпрыск, продолжение ее крови — поклонился теням прошлого и молча признал: они тоже его предки. И еще ей нужно было убедиться самой, увидеть собственными глазами, что память о родителях, бабушке и безвременно ушедшей сестре не стерлась с лица земли: что время не свалило кресты, что дожди не смыли буквы, что сорняки забвения не сомкнулись над надгробными плитами.

Алессандро, дороживший каждой минутой, проведенной с Фьореллой, не хотел покидать ее надолго. Он не желал растягивать это путешествие, хотя сыновний долг неумолимо звал почтить прах предков.

Однако Филанджери умел устраивать жизнь так, чтобы неизбежное не становилось мучительным. Он велел заказать

частный рейс кареты «Турн-и-Таксис»[203]²⁰¹ — ту самую «экстра-почту», что предназначалась для людей, привыкших платить за скорость, свободу действий и комфорт.

Удовольствие выходило дорогим: двенадцать дукатов в обе стороны. Но Алессандро не умел — да и не желал — экономить на удобстве. Индивидуальный заказ на почтовую карету даровал те преимущества, которые были недоступны обычному путнику: никаких случайных попутчиков с их утомительными разговорами и чуждыми запахами, никаких лишних задержек и вынужденных простоев.

Золоченый герб на дверце и статус срочного рейса открывали двери почтовых станций так же легко, как высокий титул — двери домов. Смена лошадей была приоритетной, без пререканий и промедлений.

Двое всадников Королевской почтовой гвардии, при саблях и мушкетах, держались по бокам, а впереди скакал гонец с сигнальным рожком. Его протяжный, резкий звук заранее расчищал дорогу, словно разрезал для летящего вперед экипажа сам воздух.

Едва путники ступали на землю, свежая четверка уже би-

²⁰¹ «Турн-и-Таксис» (нем. Thurn und Taxis, итал. Corriere di Thurn e Taxis) — европейский почтово-курьерский дом, обслуживавший в XVII–XVIII веках государственную и частную корреспонденцию, а также перевозку пассажиров в почтовых каретах по установленным маршрутам в Священной Римской империи, Итальянских государствах, Франции, Испании и Нидерландах (включая Австрийские Нидерланды). Представители аристократического рода Турн-и-Таксис владели европейским почтовым учреждением с 1490 по 1867 год.

ла копытом, горячая, нетерпеливая, готовая нести пассажиров дальше.

Но главным мерилom роскоши была даже не скорость, а свобода: возможность выбирать час отправления и возвращения, не подстраиваясь ни под кого. Время в этом случае принадлежало только пассажирам.

Путь до Беневенто пролетел стремительно — чуть меньше четырех часов под торопливое перестукивание конских копыт, скрип рессор и скрежет колес по камням тракта. Воздух за окнами менялся: то тянуло холодком от ложбин, то пахло влажной землей, то веяло дымом из печных труб деревенских домов.

Всю дорогу, исполняя просьбу сына, Алессия воскрешала в памяти тени прошлого: она неторопливо плела из слов полотно своего детства, делилась воспоминаниями о мудрой бабушке, о родительском доме, о младшей сестре, и было видно, что эти рассказы согревают ей сердце.

Однако в потоке признаний не нашлось места упоминаниям о почившем князе — стоило разговору коснуться границ, за которыми начиналась их общая история, как Алессия умолкала. Алессандро улавливал эти умолчания, ясно понимая, как мучительно матери беречь память о его отце и насколько глубока та незримая рана, которую она не желала облекать в слова.

Прибыв на место, они провели около двух часов среди кладбищенской тишины, наблюдая за тем, как местные слу-

жащие за щедрую плату приводят в порядок заброшенные могилы. Они срывали бурьян, обметали камень, выпрямляли покосившиеся кресты и плиты, сажали цветы.

Алессия молчала, и только дрожащие пальцы, касавшиеся выветренного камня надгробий, выдавали ее волнение. В какой-то миг мать князя глубоко вздохнула и не стала вытирать слезу, катившуюся по щеке. Казалось, она боялась, что, смахнув ее, сотрет и то, ради чего приехала сюда.

Обратный путь оказался тяжелее. В кости незаметно налилась свинцовая усталость, качка стала раздражающе однообразной, а дорожная пыль — вездесущей. Алессия заметно побледнела, и даже Алессандро, привыкший к дорогам, почувствовал, что тело требует отдыха.

Но на подъезде к Неаполю, глядя в окно на сгущающиеся сумерки, Филанджери вдруг испытал вполне объяснимый подъем, как будто за плечами осталась не только дорога, но и внутреннее напряжение.

Во-первых, он радовался тому, что всё прошло гладко — без заминок, досадных мелочей и неприятных случайностей. А во-вторых... Усталость постепенно отступила, уступая место сладкому предвкушению. Алессандро знал: совсем скоро дорога останется позади, и он вновь сможет обнять и поцеловать свое маленькое теплое солнышко — ту, чье сияние согревало его душу даже в самые пасмурные и непростые дни. От одной этой мысли на губах сама собой появилась тихая, счастливая улыбка. Мать, сидевшая напротив, поймала это

мимолетное выражение радости на лице сына и, догадываясь о его причине, невольно улыбнулась ему в ответ.

* * *

Неаполитанский дворец, обычно наполненный эхом шагов и приглушенными разговорами слуг, встретил хозяина тяжелым безмолвием, в котором, казалось, сам воздух пропитался тоскливым предчувствием крупных неприятностей. Паоло Гравано, старый мажордом палаццо Филанджери, чья безупречная выправка всегда была гордостью дома, сейчас выглядел жалкой тенью самого себя. При виде князя он побледнел и задрожал всем телом, напомнив Алессандро испанскую натильяс^[204]²⁰², готовую растечься от малейшего толчка.

Князь, едва переступив порог дома, почувствовал, как внутри натягивается тугая струна. Сердце, еще мгновение назад полнившееся надеждой на светлую встречу, мгновенно почуяло неладное.

— Что-то случилось, Паоло? — голос князя прозвучал резко, разрезая тишину атрио.

— В доме беда, ваша светлость, — выдохнул мажордом, преданно и испуганно глядя на господина. — Ее светлость

²⁰² Натильяс (исп. Natillas, от исп. nata — сливки) — десерт из заварного крема в Испании. По своей консистенции, это жидкий льющийся крем, а не загустевший. Обычно подается как десерт в чашках, посыпанный корицей.

вдовствующая княгиня... она при смерти. Синьор Орацио Паскуале, ее личный врач, уже там, в ее покоях. Он делает всё возможное, чтобы облегчить страдания синьоры Лудовики, но она... она не приходит в сознание.

Алессандро шагнул к дворецкому, его лицо потемнело, холод предчувствия самого худшего коснулся позвоночника.

— Что с ней произошло? Как это случилось? Говори толком!

Паоло замялся, теребя полы камзола. Слова давались ему с трудом, словно каждое он выжимал из себя по капле.

— Дело в ссоре, ваша светлость... Синьора Лудовика с утра была не в духе, жаловалась на стеснение в груди и просила подать сердечные капли. А потом она узнала... что княгиня... синьора Лукреция увезла синьорину Фьореллу в церковь Санта-Катерина-а-Формьелло. Оказывается, сегодня годовщина гибели прежнего мужа ее светлости... Вот она и поехала с племянницей заказать заупокойную мессу. Ну и...

— Что с Фьорой? — перебил его Алессандро, и в интонации самого этого вопроса был такой выплеск страха, зажегся такой опасный огонь, что Паоло Гравано невольно отшатнулся. — Она дома? Где она? Где синьорина Фьорелла?

Мажордом, казалось, стал блее своей накрахмаленной сорочки. Его лицо приобрело какой-то землистый оттенок.

— В том-то и проблема, ваша светлость... Синьорина Фьорелла пропала.

Мир вокруг Алессандро на мгновение поплыл. Гнев, вспыхнувший в нем, был подобен взрыву вулкана. Он в мгновение ока преодолел разделявшее их с дворецким расстояние и с силой схватил старика за грудки, встряхнув так, что у того клацнули зубы.

— Глупец! — прорычал князь. — Я давал тебе ясный приказ: не спускать с нее глаз! Не выпускать из дворца без моего ведома!

— Но синьора Лукреция... она велела... она настояла... она сказала... — залепетал мажордом, едва дыша от страха.

— Плевать мне на то, что она сказала! — голос Алессандро сорвался на крик, эхом разлетевшийся по сводам вестибюля.

В этот момент теплая ладонь Алессии осторожно, но уверенно легла на его напряженное предплечье. Она была единственной, кто сохранял относительное спокойствие в разыгрывающейся драме.

— Ваша светлость, молю вас, остыньте, — тихо, но с мягким давлением произнесла она. — Ярость сейчас не поможет. Нужно прежде всего узнать о состоянии синьоры Лудовики.

Алессандро, тяжело дыша, с рычанием оттолкнул мажордома. Алессия, видя, что князь немного пришел в себя, повернулась к Паоло. Ее взгляд был пронзительным и напряженным.

— Синьор Паоло, продолжайте. Вы упомянули ссору. Что

именно произошло, когда синьора Лукреция вернулась?

Мажордом, стараясь не смотреть на князя, начал рассказ. Он тщательно и осторожно, словно шел по натянутому в воздухе канату, подбирал каждое слово.

— Синьора Лукреция... Она вернулась из церкви одна. Узнав об этом, вдовствующая княгиня страшно рассердилась. Началась перебранка прямо здесь, в атриуме. Синьора Лудовика кричала, что нельзя было забирать девушку из дома без вашего разрешения, что вы запретили это делать... Но синьора Лукреция... она не желала слушать. Она заявила, что сама здесь хозяйка, что она носит под сердцем наследника рода Филанджери и не потерпит поучений от вдовы умершего князя. И еще... — Паоло запнулся, бросив опасливый взгляд на Алессандро, — княгиня сказала, что синьора Лудовика — сама грешница, потому что «покрывает бесстыдство, творящееся под этой крышей».

При этих словах Алессандро замер. Тяжелое молчание повисло в воздухе.

— И тогда синьоре Лудовике стало плохо? — спросила Алессия.

— Именно так. Вдовствующая княгиня схватилась за сердце, лицо ее побагровело, и она рухнула прямо на ковер. Доктор Паскуале говорит, что у синьоры Лудовики случился апоплексический удар. Надежды почти нет.

Алессандро закрыл глаза, чувствуя, как на него навалива-

ется гора размером с сицилийскую Этну[205]²⁰³.

— А Фьорелла... — глухо выдавил он. — Ее искали? Как она вообще могла исчезнуть?

— Выездные лакеи клянутся, что сами не понимают, как так вышло, — мажордом начал говорить спешно. — Синьоре Лукреции по прибытии на место стало дурно, и она осталась сидеть в карете, приказав девушке идти в храм одной. Лакеи ждали возвращения синьорины Фьореллы чуть более получаса. Они говорят, что следили за церковным порталом. Девушка из храма не выходила точно. Когда один из слуг зашел внутрь церкви — ее там уже не было. Привратник божится святым Дженнаро, что никто в коричневой мантиле через главные ворота не выходил. Синьорина Фьорелла словно испарилась, ваша светлость. Как сквозь землю провалилась.

Алессандро перевел взгляд на Алессию. В его глазах сквозила ледяная уверенность и жгучая ненависть.

— Это всё она... — прошептал он, и голос его был полон яда. — Эта змея всё рассчитала. Она знала, что меня не будет дома. На днях Лукреция просила меня отвезти ее в Кьеза-Санта-Катерина-а-Формьелло. Я сказал ей, что в этот день буду занят. Что мы с тобой уезжаем в Беневенто. Вчера вечером княгиня отлучалась из палаццо. Верно, готовила побег Фьоры из этой чертовой церкви.

²⁰³ Этна (итал. Etna) — действующий вулкан на острове Сицилия, в XVIII веке считавшийся самой высокой горой Королевства двух Сицилий (ок. 3300 м). В сознании современников служил привычным образом непомерной, подавляющей тяжести.

— Не стоит чертыхаться, ваша светлость, — Алессия мягко урезонила сына, хотя ее собственные глаза горели тревогой и теперь уже нескрываемым волнением.

— Где она? Где эта Иуда в женском облиции? Верно, про таких, как моя жена говорят, что одна женщина стоит семи дьяволов[206]²⁰⁴. Я вышвырну эту ядовитую гадюку из своего дома. От нее одни лишь беды.

— Ваша светлость, сейчас этого делать не стоит, — Алессия пыталась сбить волну гнева, захлестнувшую князя. — Помните, княгиня носит ваше дитя. Идемте лучше к вашей мачехе: вам следует переговорить с доктором. Быть может, еще остается хотя бы слабая надежда на ее спасение?

Однако подниматься им не пришлось. На верхней площадке широкой мраморной лестницы появилась фигура сеньора Паскуале. Доктор медленно спускался вниз, и одного взгляда на его осунувшееся, скорбное лицо Алессандро хватило, чтобы понять: в палаццо Филанджери поселилась не просто беда — к ним в дом пришло непоправимое горе.

* * *

Князь ворвался в будуар жены подобно грозовому фронту. Казалось, он принес с собой не только дорожную пыль, но и вполне ощутимый запах бурлящего гнева. Воздух в комна-

²⁰⁴ Una donna fa per sette diavoli — итальянская поговорка.

те, пропитанный ароматами пудры и розовой воды, буквально заискрился от напряжения.

Лукреция, облаченная в тяжелое шелковое платье для ужина, сидела перед зеркалом в безупречно неподвижной, эффектной позе, которая уподобляла ее мраморной статуе. Подчеркнутая небрежная расслабленность граничила с вызовом.

Новая камеристка княгини, испуганно втянув голову в плечи, колдовала над высокой прической хозяйки. Филанджери безмолвным кивком головы указал служанке на дверь. Девушка, не смея поднять глаз, прошмыгнула мимо него серой мышью и исчезла в полумраке коридора.

Лукреция Пьерина не обернулась. Лишь в отражении венецианского зеркала глаза встретились с горящим взором супруга. Ее спина, прямая и ровная, как доска, выдала едва сдерживаемое волнение и нервное напряжение.

Алессандро молчал, и это молчание давило ей на плечи ощутимее, чем груз осознаваемой вины. Лукреция знала этот способ супруга выводить людей на эмоции: не криком, не угрозами, а одним лишь молчаливым взглядом, под которым собеседник чересчур отчетливо начинал слышать собственные мысли.

Княгиня ди Сатриано и ди Арианиелло не была сентиментальна и не любила слово «раскаяние». Но факт оставался фактом: вдовствующая княгиня умирала, и Лукреция знала, что толчок к тому дала именно она.

Мачеха мужа была из тех женщин, которые кажутся бессмертными. Именно поэтому Лукреция Пьерина была неосторожна в выборе слов, и когда синьора Лудовика вдруг побагровела и осела на холодный мрамор атрио, она поняла, что не рассчитала силу словесного удара. Лукреция хотела лишь ослабить противницу, вынудить ее отступить и оставить в покое, но вышло иначе: парой ядовито-колких фраз она выбила опору у старого организма, который давно держался не столько на лекарствах, сколько на упрямстве и почти животной воле к жизни — на привычке не уступать собственной немощи.

Лукреция не плакала. Она слишком хорошо знала цену слезам. Но вина жила в ней телесно: тяжестью в груди, взволнованным биением сердца, дрожью в пальцах, которую приходилось прятать, стискивая кулак. Она представляла себе, как вдовствующая княгиня лежит на постели в полумраке покоев, как губы синьоры Лудовики шевелятся, пытаюсь выговорить что-то важное: последнюю волю... проклятие... имя. И Лукреции настойчиво мерещилось, что это имя — именно ее.

С бегством Фьореллы всё было иначе. Лукреция Пьерина вспоминала об этом без малейшего комка в горле — напротив, с холодным удовлетворением, почти с тайным торжеством. Она сумела повернуть это дельце без шума и следов, чисто, элегантно, так, как умела лишь она одна.

Фьорелла и впрямь должна быть ей благодарна, ведь она,

Лукреция, всего лишь подтолкнула эту нелепую девчонку к исполнению заветной мечты. Фьора вырвалась из пут его светлости князя, теперь она на воле. Разве не об этом та грезила, разве не об этом мечтала?

Так что нет, именно здесь Лукреция не испытывала ни тени вины. Лишь легкость — почти физическую — от осознания, что она избавилась, наконец, от соперницы. Острое чувство победы тешило самолюбие. Она не разрушила судьбу этой девочки, она всего лишь расставила фигуры так, чтобы каждая из них пошла своей дорогой. И эта партия, без сомнения, осталась за ней, законной женой князя.

— Вы уже вернулись, ваша светлость? — Лукреция первой нарушила тишину. Она постаралась придать голосу светскую легкость. — Надеюсь, поездка в Беневенто не была слишком утомительной? Было бы прискорбно, если бы вы не смогли составить мне компанию за ужином. Мне крайне любопытно узнать, что за спешные дела погнали в столь дальнюю дорогу.

Слова рассыпались бисером по паркету, не встретив ни малейшего отклика. Гнетущее присутствие князя за спиной сводило с ума. Не выдержав, Лукреция резко развернулась. Лицо мужа было словно высечено из серого неаполитанского туфа: скулы резко очертились, желваки ходили под натянувшейся кожей. По спине женщины пробежала волна колкого, ледяного холода.

— Почему вы молчите? — спросила она теперь уже тише,

теряя былую уверенность.

— Смотрю на вас и гадаю: где были мои глаза и мозги в тот день, когда я вел вас к алтарю? — голос Алессандро, похожий на с трудом сдерживаемый яростный рокот, звучал глухо. — Как не разгадал, что за этой красивой оболочкой скрывается расчетливая, ядовитая тварь, чье единственное призвание — отравлять всё живое вокруг себя. Как мог забыть неаполитанскую поговорку: «С женой под боком — готовься к бедам и жутким морокам»[207]²⁰⁵?

Лицо Лукреции мгновенно покрылось неровными красными пятнами экстатического негодования.

— Вы назвали меня тварью? Так знайте: эту тварь во мне взрастили вы сами! — воскликнула она, вскакивая со стула. — Ваша высокомерная отчужденность, ваше пренебрежение, вечное игнорирование моих чувств... Это была лишь защита. Если бы я не научилась кусаться, вы превратили бы меня в половую тряпку, о которую так удобно вытирать сапоги после охоты!

— Я предлагал вам мирный исход, — отчеканил князь. — Предлагал разъехаться, давал полную свободу действий, даже благословлял на адюльтер. Это был ваш выбор — остаться и продолжать отравлять мне жизнь.

— У меня не было выбора! — в запальчивости выкрикнула княгиня. — Или вы забыли клятвы перед ликом Господа?

²⁰⁵ Здесь использована неаполитанская поговорка: *Chi tene 'a mugliera a lato, sta sempe tribbulato*.

Разве не вы обещали делить со мной стол, кров и постель в болезни и здравии? Неужели вашему слову цена — ломаный грано в базарный день?

Ее упрек разбился о каменное безразличие мужа. Поняв, что мораль здесь бессильна, Лукреция сменила тактику. Выпрямляясь во весь рост, она с достоинством в голосе произнесла:

— Смею напомнить, что я — законная хозяйка в этом доме. Именно я, а не вдовствующая княгиня или ваша удобная ночная подстилка. Я ношу наследника рода Филанджери. И я заставляю уважать мои права!

— Ваши права? — в глазах князя вспыхнула едкая ирония. — Вы когда-нибудь видели над входом в мое палаццо медную инсенью[208]²⁰⁶ с профилем женской головки? Нет? Я тоже. Жить под вывеской «здесь правит женщина» я не намерен.

Он сделал шаг вперед, и Лукреция невольно отшатнулась.

— Вы — причина смерти моей мачехи. Из-за вас я вновь потерял ту, без которой моя жизнь — точно пустыня зимой. Поэтому вы немедленно соберете свои вещи и покинете мой дом. Мне безразлично, куда отправитесь, хоть в преиспод-

²⁰⁶ Инсенья (итал. insegna) — вывеска, обычно в виде расписной или кованой металлической таблички, указывающая на ремесло хозяина дома. Выражение *vivere sotto l'insegna della testa di donna* (жить под вывеской женской головки) — едкая неаполитанская идиома XVIII века. Она означала позорное для дворянина положение, при котором в доме главенствует женщина, а мужчина лишен права голоса и воли.

нюю. Находиться под одной крышей со змеей, которая источает ядовитые мифиты[209]²⁰⁷, я более не в силах. Вам место не в моем доме, а в Аверне[210]²⁰⁸ — там, где земля дышит серой и смертью.

Филанджери выпрямился, словно сбрасывая с плеч невидимые цепи.

— Завтра же я инициирую процесс юридического разделения *a mensa et thoro*[211]²⁰⁹. На этом всё. Вашу прошлую камеристку я выгнал взащей. Вам же даю возможность убраться отсюда подобра-поздорову.

Лукреция побледнела до проступившей на лице зелени, но на ее губах заиграла вымученная, горькая улыбка. Она демонстративно положила ладонь на живот.

— Я всё же верю, что вы остынете. Меж нами еще возможен аккоммодамент[212]²¹⁰. Это дитя свяжет нас крепче лю-

²⁰⁷ Мифиты (лат. *mephitis*) — ядовитые испарения из земных трещин и вулканических зон Кампании; в переносном смысле — тлетворное, отравляющее дыхание или влияние.

²⁰⁸ Авёрна (лат. *Avernus*, от греч. ἄορνος — лишенный птиц) — адская бездна у древних римлян. Образовано от названия вулканического кратера недалеко от античного города Кумы к западу от Неаполя, считавшееся входом в подземный мир; употреблялось как образ места гибельного, проклятого, откуда нет возврата.

²⁰⁹ Юрическое разделение *a mensa et thoro* (лат. *Divortium a mensa et thoro* — разделение от стола и ложа) — юридическая форма раздельного проживания и имущественного разделения в Королевстве Неаполь XVIII века; супруги прекращали совместную жизнь и хозяйство, оставаясь формально в браке, поскольку развод католическим правом не допускался.

²¹⁰ Аккоммодамент (франц. *accommodement*) — примирение, соглашение.

бых юридических уз.

— Убирайтесь, — прошипел Алессандро. — Не заставляйте меня проклинать тот миг, когда этот ребенок был зачат.

Княгиня вздернула подбородок, хотя он мелко дрожал.

— Не ждите от меня слезных ламентаций[213]²¹¹. Я не паду к вам в ноги. Уверена, придет день, когда сами будете молить меня о возвращении.

— Ждите этого хоть до скончания веков, — бросил он, уже направляясь к выходу. — Скорее в аду зацветут розы, чем добровольно впущу вас снова в свою жизнь. Вы нужны мне не больше, чем дворовому псу кружевной парасоль. Единственное, что я для вас сделаю — пришлю всех слуг палатцы, чтобы помогли собраться и исчезнуть отсюда как можно скорее.

Дверь захлопнулась с таким грохотом, что задрожали хрустальные подвески на люстре. Лукреция осталась в тишине, нарушаемой лишь ее прерывистым дыханием. Она закусил губу до крови и, поглаживая живот, прошептала во тьму:

— Ничего, сынок... Ничего. Настанет день, и твой неразумный отец еще приползет к нам на коленях.

²¹¹ Ламентации (лат. *lamentatio*, итал. *lamentazione*) — жалобные причитания, плаксивые излияния чувств; в речи XVIII века слово употреблялось с оттенком презрения или насмешки, особенно в устах того, кто отвергал демонстративную женскую чувствительность. В прямом смысле — жалобная песнь на слова пророка Иеремии, исполняемая на страстной неделе при католическом богослужении.

Алессандро вынул курительную трубку изо рта и с видимым облегчением выпустил клубящиеся кольца дыма, которые медленно таяли в сумеречном воздухе кабинета. Точно так же в свете свечей таяли его надежды на спокойную жизнь.

Все формальности, связанные с кончиной ее светлости вдовствующей княгини, были соблюдены с безупречной точностью, как будто некто невидимый завел часы сложного церемониала, и они отмеряли каждый шаг тяжеловесного ритуала, предписанного для похорон столь знатных особ.

Вызванный спешно семейный духовник уже оставил четкую запись в церковных книгах, зафиксировав тем же ровным почерком, каким выводил отметки о рождении, крещении и венчании, уход ее светлости вдовствующей княгини в лучший мир.

Карло Скальфаро со своими подручными и нотариусом синьоры Лудовики проводили процедуру описи имущества в покоях усопшей. Они со скрупулезной точностью перечисляли принадлежащие ей драгоценности, мебель, картины, фарфор, часы и разные прочие дорогие предметы обихода — всё до последней безделицы. Эта опись должна была быть составлена до оглашения завещания, дабы зафиксировать полный и неизменный состав имущества, исключить возможные

утраты, подмены или сокрытие ценностей и тем самым ограждать наследников от будущих споров и подозрений. Лишь после этого, при ясном понимании того, что именно подлежит разделу, закон позволял перейти к чтению последней воли усопшей.

Алессандро сам, не доверяя секретарю, начертал на плотной бумаге с гербовой печатью извещения о кончине вдовствующей княгини, адресованные королю Фердинанду IV и королеве Марии-Каролине. Они уже были переправлены с посыльным в королевскую канцелярию. Так же собственно-ручно им было составлено письмо его высокопреосвященству архиепископу Неаполя Антонио Серсале, приходившемуся покойной родным дядей. Слова соболезнования ложились на бумагу сухими, почти официальными фразами.

Секретарю князь поручил разослать с посыльными всем знатым семьям города и ближайшим родственникам покойной в другие регионы письма, опечатанные черным воском. Управляющий Густаво Дзаппакоста получил четкие распоряжения относительно пышных похорон — таких, какие соответствовали бы имени и положению усопшей.

По дому уже шла тихая, отлаженная суэта. Мажордом распорядился переодеть прислугу в черные ливреи, над воротами палаццо повесили щит с гербом покойной, затянутый траурным крепом. Всё было сделано как следует. И всё же Алессандро не покидало навязчивое ощущение, что главное — то самое, из-за чего он не находил себе места, — еще впе-

реди.

За безупречной декорацией скорби скрывалась иная, живая боль. Потеря той, кого считал почти матерью, меркла перед прожигающей сердце дырой, оставленной бегством Фьореллы. Мысль об исчезновении любимой девушки причиняла куда более острые страдания, чем траур по мачехе.

Алессандро ждал... Ждал возвращения двух групп слуг, посланных с разными поручениями. Первая обходила все альберго, локанды и постоялые дворы в районе Капуанских ворот, разыскивая Фьореллу Паломму. Здесь ему оченьгодились сыскные листы, заготовленные еще во время прошлого исчезновения Фьоры. Тем же слугам было велено расспросить и скаччино церкви Санта-Катерина-а-Формьелло.

Вторая группа, сопровождаемая двумя сбирами, отправилась в Позиллипо, к казино²¹² дяди Фьореллы, где проживала ее няня. Алессандро решил действовать без колебаний, воспользовавшись своими правами опекуна. Предъявленные нотариально заверенные бумаги развязывали руки сбирам для обыска дома и задержания беглянки.

Нетерпение снова заставило князя взяться за курительную трубку. Он медленно, с привычной тщательностью вытряхнул прогоревшие остатки и заново набил чашу табаком, слегка примял его большим пальцем, поднес огонь свечи и затянулся глубоко, чувствуя, как теплый, терпкий дым снова

²¹² Казино (итал. casino) — в XVIII веке в Италии загородный дом или сельское подворье зажиточного владельца; не игорное заведение в современном смысле.

наполняет легкие. Он курил не жадно, а размеренно, будто каждую затяжку превращал в попытку удержать себя в равновесии. Дым успокаивал, обволакивал, дарил зыбкую надежду, что уже сегодня удастся найти свою любимую пропажу.

Одно радовало его несказанно: Лукреция съехала из палатко. Он был так зол на нее, что даже не удосужился выяснить, куда именно она отправилась. Даже мысль о том, что жена носит его ребенка, не смогла смягчить ожесточившееся сердце.

Князь вновь затянулся, и в этот самый миг тихий стук в дверь прервал его мысли.

— Входи, Маммарелла, — отозвался он устало, выпуская дым изо рта.

Алессия вошла бесшумно, как умела только она. Ее лицо было бледным, а в глазах читалась та особенная печаль, которая предвещает дурные вести.

— Ваша светлость, сбиры и посланные вами люди вернулись из Позиллипо, — начала она, сложив руки на груди. — Обыскали весь дом. Синьорины Фьореллы там нет. Синьора Валентини стоит на своем: не видела... не слышала... не знает. Но сержант, тот, что помоложе и поглазастее, шепнул мне: «Кошка там точно что-то зарыла[215]²¹³. Сердце чует,

²¹³ *Ccà nce coverchia la gatta* (неап.) — буквально: здесь кошка что-то зарыла; устойчивое неаполитанское выражение XVIII века, означающее скрытый умысел, тайну или обман; по смыслу близко к русскому «тут дело нечисто», «здесь есть подвох».

нянька лукавит».

— Значит, она и впрямь что-то скрывает, — процедил Алессандро, сжимая чубук трубки так, что побелели костяшки пальцев.

Алессия подошла ближе.

— Ох, сынок, — голос ее смягчился, — может, стоит поставить за ее домом слежку? В народе как говорят: «Кто ждет, не наблюдая, зря время теряет»[216]²¹⁴.

— Непременно. Как только синьор Скальфаро закончит с описью имущества покойной княгини, я попрошу его отправить туда своих людей, — кивнул князь.

Алессандро хотел вновь затануться, но вдруг обнаружил, что табак в трубке прогорел до серого пепла. Аккуратно вытряхнув его в бронзовую пепельницу, он протер чашу мягкой замшей и убрал трубку в ящик стола. Потом протяжно вздохнул и провел широкой ладонью по лицу.

— Знаешь... мама... — голос его стал глухим. — Я боюсь, что больше никогда не увижу ее. Всё во мне сейчас тянется лишь к одному — отыскать ее. Отыскать и... наказать. За то, что породила во мне этот липкий, унижительный страх. Я никогда и ничего не боялся. А теперь боюсь слишком многого — и всё это «многое» связано исключительно с ней, с моей Фьореллой.

Без нее моя жизнь — как небо без солнца, как сад без цветов, как тело без души. Что останется от меня, если она на-

²¹⁴ Chi aspetta senza guardà, perde pure 'o tiempo — неаполитанская поговорка.

всегда уйдет из моей жизни? Капитан без моря, стоящий на обломках собственного корабля? Я хожу, говорю, приказываю, дышу... но всё это будет лишь движением пустой оболочки. Как дом, из которого вынесли очаг: стены стоят, а тепла больше нет.

Он судорожно вздохнул.

— Я боюсь, что однажды проснусь — и не будет ради чего открывать глаза. Всё, что прежде имело вес и цену, рассыплется в пыль. Власть, имя, богатство — всё это обернется горсткой никчемных золотых монет в руке утопающего. Я думал, что держу судьбу за горло... а вышло, что это она держит меня. И держит ее руками.

Он поднял на мать потемневший взгляд.

— Нет, мама, я не выживу в этом мире без ее манящих серых глаз, без нежного голоса, без тепла мягких губ. Фьорелла стала для меня не женщиной даже... дыханием. Она — мой сладкий яд и моя вечная буря. И если Фьора исчезнет из моей жизни навсегда, то вместе с ней сгину и я. Не сразу — нет. Медленно. День за днем. Потому что смысл моего бытия истает вместе с ней, и останется лишь разверстая, мрачная бездна, где эхом отдается одна-единственная вещь — пугающая пустота.

Алессия положила теплую ладонь на его плечо, чувствуя, как напряжены мышцы.

— Мы найдем ее, сынок. Обязательно найдем. Тот, кого ищут сердцем, не исчезает бесследно. Сердце... Оно чувствует до-

рогу вернее разума. Любовь — нить, которая тянется, ведет, оставляет знаки.

Она погладила его по волосам, как в детстве.

— И ты не один, мой родной. Я рядом. Мы пройдем этот путь вместе и дойдем до конца.

Женщина на миг замолчала, а потом озвучила крутящиеся в голове мысли:

— Я бы на твоём месте пригляделась к виконту Моразини. Что-то мне подсказывает: либо сама синьорина Фьора, либо ее няня, но они обязательно попробуют связаться с ним. Кроме того, нужно разузнать, где живут родственники синьоры Валентини. Про родню нередко говорят, что она как сапог: чем теснее, тем больше[217]²¹⁵, но именно к ней чаще всего бегут в беде.

Князь поднял на мать глаза, полные такой невыносимой тоски, что у той болезненно сжалось сердце.

— Мне казалось... она привыкла ко мне... смирилась, приняла меня как мужа. И вдруг — такой поворот...

— Так и было, сынок, — Алессия осторожно прижала голову сына к своей груди, поглаживая по волосам. — Синьорина Фьорелла... Она изменилась. Может, и не полюбила, но приняла душой. И если бы не лиса-Лукреция... Думаю, она бы не решилась бежать. Мысль — да, держала в голове, но шагнуть на этот путь уже не решилась бы. А понесла бы дитя

²¹⁵ 'O pariente è comm'o stivale: cchiù è stretto и cchiù te fa male — неаполитанская поговорка.

по новой — и все мысли о побеге смело бы вмиг, как ветром.

— Нужно было раньше вышвырнуть эту гадюку из дома, — глухо отозвался князь. — Сразу после похорон займусь юридическим разделением. Хватит с нее моего терпения.

— А как же ребенок? — тихо спросила Алессия.

— Родится сын — заберу. Твоей заботой будет воспитывать внука. Девочка — пусть остается с матерью. Я дам им содержание, но видеть ее больше не могу и не желаю.

В дверях после стука показалась голова мажордома Паоло Гравано. Алессия тут же отступила в тень.

— Ваша светлость, вернулись те слуги, что были у Капуанских ворот. Ни в одной локанде, ни в одном альберго синьорину Фьореллу не видели. Привратник в Санта-Катерина-а-Формьелло молчит как рыба, твердит, что знать ничего не знает и ведать не ведает. Как прикажете: слуг распускать или будут иные поручения?

Алессандро махнул рукой:

— Пусть отдыхают. А синьор Скальфаро, как освободится, пусть зайдет ко мне. Нужно обсудить розыск.

Когда дверь за мажордомом закрылась, Алессия посмотрела на сына с бесконечной нежностью и искренним сочувствием:

— Отдохнули бы вы, ваша светлость. День был очень непростой. Недаром говорят: «Кто спит, забывает тяжесть минувшего дня»[218]²¹⁶. И еще: «Утро — мать ясной мыс-

²¹⁶ Chi dorme se scorda 'a jurnata pesante — неаполитанская поговорка.

ли»[219]²¹⁷.

— Не знаю, смогу ли уснуть без нее, — прошептал князь, снова пряча лицо в ладонях. — Она ушла — и сердце мое забрала с собою.

— Я принесу вам теплого красного вина, — мягко и заботливо пообещала Алессия. — Добавлю мускатного ореха, ложку меда и несколько капель сонного мака. Не для дурмана, а для помощи телу. Уставшей голове нужен отдых и хотя бы временное забвение.

Алессандро поднял на нее взгляд и грустно улыбнулся:

— Единственное, за что я еще готов благодарить Господа — это за то, что ты есть у меня. Слава богу, в этом жизненном шторме я барахтаюсь не один.

²¹⁷ ‘A matin’ è mamma d’ ‘a pensara fresca — неаполитанская поговорка.

Глава 7

Дороги из городских ворот Неаполя расходились во все стороны, и прогулки при желании можно было разнообразить до бесконечности. Но сейчас Фьорелле было не до этого. Покинув рано поутру локанду, она шла по пустынным в этот час улицам с одной единственной целью: поскорее добраться до Капуанских ворот, нанять там экипаж и доехать до Казале ди Волла[220]²¹⁸.

Фьорелла боялась, что его светлость отправит своих людей на ее поиски, поэтому торопилась покинуть Неаполь. Возле Порта Капуана можно было нанять веттуру[221]²¹⁹ себе по вкусу.

Договорившись о поездке с хозяином четырехместного калессино[222]²²⁰, запряженного тройкой лошадей, всего за три карлино, Фьора посчитала, что ей несказанно повезло:

²¹⁸ Казале-ди-Волла (итал. Casale di Volla) — ныне город в Италии (итал. Volla) в регионе Кампания, в провинции Неаполь. В 1771 году представлял собой казале (итал. casale) — хутор, который служил перевалочным и аграрным пунктом.

²¹⁹ Веттура (итал. vettura) — устар., в Италии XVIII века так называли любое перевозочное средство; повозка; экипаж, карета.

²²⁰ Калессино (неап. calessino) — двуколка, кабриолет. Легкая повозка, которая была популярна в Неаполе в XVIII–XIX веках. Она представляла собой небольшой экипаж с двумя колесами, обычно с открытым верхом, предназначенный для перевозки двух или четырех пассажиров. Калессино имело элегантный и изящный дизайн, что делало его символом статуса и благосостояния.

начало паломничества складывалось как нельзя удачно.

Однако радость от выгодной сделки быстро улетучилась. Веттурино, по какой-то непонятной причине не спешил трогаться. Разгадка его странного поведения была проста. Очень скоро на подножку экипажа легко вспорхнул молодой человек в сером камзоле со скрипичным футляром под мышкой. С почтительным поклоном, сжавшись, словно стеснительный воробышек, он занял минимум места на передней скамейке, заслужив в ответ приветливую улыбку девушки.

Но калессино и тут не тронулось с места. Веттурино, восседавший на серпе[223]²²¹, принялся махать издававшей вид треуголкой из грубой валяной шерсти, призывая поторопиться опаздывавшую пассажирку. Ею оказалась запыхавшаяся старушка в добротных и очень опрятных одеждах, которая, кашляя и ворча, стала ругать коккьера за то, что так безбожно подгонял ее. С ней был мальчишка лет семи — десяти. Молодой человек помог пожилой женщине забраться в повозку, и она плюхнулась на сиденье рядом с ним. Тесный промежуток между ней и «серым камзолом» был плотно заткнут задним местом мальчонки.

Только веттурино взялся за кнут, как к коляске подоспел тучный, краснощекий камальдулец[224]²²². Он взгромоздил-

²²¹ Сёрпа (итал. *sèrpa*) — козлы (экипажа).

²²² Камальдúлец (итал. *camaldule*) — монах католического ордена камальдулов (подразделение ордена бенедиктинцев), основанного в начале XI века в итальян-

ся в калессино и с видимым удовольствием разместился на вакантном месте рядом с Фьореллой.

Веттурино, прыгнувший с серпы, подал ему через девушку оставшиеся лежать на земле, доверху набитые чем-то небольшие мешки, выпущенные толстяком из рук, когда он взбирался в повозку.

Пока мешки передавались, Фьору всю с ног до головы осыпало дождем табачной пыли. Она принялась отряхиваться и не заметила, когда на серпу вспрыгнул еще один пассажир, загородив ей всю блистательную перспективу широкой спиной, обтянутой запачканной казакой²²³, и немаленькой головой, на которую был надвинут бесформенный колпак, выслуживший, по крайней мере, три срока днем в роли шапки, а ночью вместо подушки.

Фьора тяжело вздохнула, но обнадежила себя тем, что осталась возможность смотреть вправо и любоваться окрестностями. Казалось бы, пора ехать... Ан нет. Экипаж вновь остановился, чтобы подобрать новых любителей странствовать на дармовщинку.

Веттурино, осмотрев все щели и, взвесив возможности калессино, уже заполненного до отказа, отрицательно покачал головой. Но камальдулец, вытянув из плеч отсутствующую было шею, с филантропическим радушием воскликнул:

ском городе Камальдоли в Тоскане святым Ромуальдом.

²²³ Каза́ка (итал. *casacca*) — широкая куртка, которую носили поверх рубахи. В отличие от приталенных дворянских вариантов, городская казака была просторной, часто с капюшоном, защищающим от сырого морского ветра.

«Не беда! Место найдется!». И вот одна из двух подошедших женщин, та, что помоложе, уже восседает на коленях радушного монаха, а вторая, постарше, обращаясь к Фьорелле, предлагает ей сесть на свои.

Это переполнило край терпения девушки. Она никогда не была вредной и сварливой, но такого нахальства вынести не смогла. В мгновение ока Фьора вылезла из калессино и заставила веттурино вернуть уплаченные деньги.

Тот почесал затылок, но монеты отдал. Это послужило сигналом к тому, чтобы все набившиеся в калессино пассажиры-дармоеды опорожнили коляску. Ведь никто из них платить за поездку и не намеревался. Чести расплачиваться за всю эту честную компанию была удостоена лишь Фьорелла. Все добавляющиеся пассажиры, по обыкновению, едут за «спасибо», отделяваясь либо поклоном, либо приветствием в адрес веттурино, либо, в самом крайнем случае, парой гра-но ему на выпивку.

Негодую громко на неслыханный эгоизм «сопливой девчонки», которая, платя за экипаж, «хочет пользоваться им в одиночку», горе-спутники начали покидать один за одним повозку. Но Фьореллу это уже не интересовало. Она надвинула черную мантилью ниже на глаза и отправилась договариваться с владельцем стоявшего в отдалении коррикколо[226]²²⁴.

²²⁴ Коррикколо (неап. *corticcolo*) — двухколесный кабриолет, красноколесная од-ноколка.

Этот экипаж был классом ниже, чем калессино. Он состоял из пары высоких колес, выкрашенных в красный цвет, и маленького сиденья, на котором, в лучшем случае, могут разместиться всего лишь два сублильных человека. Однако Фьора знала: ими дело точно не ограничится. Вокруг основного седока, как правило, группируются остальные желающие путешествовать. Один становится на ось, другой — на подножку, третий — на оглоблю, держась за соседа. Кроме того, можно было сесть на задок, на подлокотники сиденья. Покуда ступня человека может найти хоть какую-то точку опоры на этом шатком экипаже, хозяин его с неподражаемой самоуверенностью говорит, что место в нем есть. Именно поэтому остов одноколки в скором времени полностью маскируется телами пассажиров, уподобляясь цветастой виноградной грозди, состоящей из мужчин, женщин, детей, лаццарони и путешествующих монахов.

Повозка такая несется с быстротою вихря, и длинный кнут вьется и хлопает у ездовых над головами. За неимением серпы, веттурино правит своей лошадкой, стоя позади пассажиров и расположив обутые в дырявые ботинки ступни отчасти на оси одноколки, отчасти на рессорах.

Но это еще не всё. Корриколо по пути обычно собирает всё новых и новых пассажиров. Под экипажем прикреплена веревочная сетка для поклажи, мотающаяся между колесами почти над самой землей. Неаполитанец — плохой ходок. Он любит прокатиться, хотя бы стоя на оглобле, или лежа,

свернувшись в калачик, в этой самой сетке.

Впрочем, и стоимость проезда в таком экипаже с несметным количеством спутников стоила в разы дешевле, ибо делилась на всех поровну.

Фьорелле на этот раз, кажется, посчастливилось. Вероятно, охотники до таких живописных поездок еще спали. Веттурино не мог собрать полной коллекции. Тесное сиденье ей пришлось разделить всего лишь с одним, Впрочем, довольно дюжим массаро[227]²²⁵, которому нужно было завезти в какую-то локанду по пути два бочонка вина. Один из них уже покачивался в веревочной сетке, прикрепленной под экипажем. Другой, из предосторожности, чтобы не разбился, был установлен промеж его ног.

Только Фьорелла подумала, что сможет насладиться вольготной поездкой, ведь веттурино вскорости высадит этого пассажира из корриколо, как за алую оглоблю зацепился молодой факкино в дырявом холщовом наряде, не скрывающем мускулистых рук и плеч, достойных античного резца.

С другой стороны прицепился еще более живописный тип — загоревший до черноты лаццароне, который своим видом напомнил Фьорелле кровожадного пирата, виданного на одной из иллюстраций приключенческого романа из отцовской библиотеки.

Окинув взглядом пассажиров, веттурино зарядил цену в 45 грано с носа, и, после того как все согласились с указан-

²²⁵ Массáро (итал. massaro) — фермер.

ной стоимостью проезда, он стеганул кнутом лошаденку, отправляя экипаж в путь.

Санктуарио, куда Фьорелла направлялась, располагалось на горе Монтеверджине, в апеннинском массиве Парте-нио, близ селения Меркольяно, более чем в двадцати мильо[228]²²⁶ от Неаполя. Паломничество к нему начиналось на главном восточном тракте королевства — дороге в Апулию[229]²²⁷, далее пролегалo через Каудинскую долину[230]²²⁸ и предгорья Ирпинии[231]²²⁹ и считалось серьезным испытанием, требующим немалой физической выносливости, особенно на последнем, горном, отрезке пути. В ноябре дороги часто бывали грязными, местами заболоченными, имелся значительный риск морозящих дождей и туманов. Паломники в это время обычно преодолевали путь за два — три дня, ночуя на постоянных дворах или в монастырях. Часть пути на равнинных участках, где были мощеные

²²⁶ Мильо (итал. *miglio napoletano*) — утвержденная законом 1480 года и действовавшая до введения метрической системы мера длины. 1 мильо — 1851,85 метра. Расстояние от Неаполя до святилища Монтеверджине составляет примерно 55 км.

²²⁷ Апу́лия (итал. *Puglia*, от др. — греч. Ἀπουλία) — область на юго-востоке Италии. Административный центр — город Бари.

²²⁸ Долина Кауди́на (итал. *Valle Caudina*) — долина в Кампании (Италия), территория которой административно разделена между провинциями Беневенто и Авеллино.

²²⁹ Ирпи́ния (лат. *Irpinia*) — географический и культурный регион Южной Италии. Примерно соответствует современной провинции Авеллино в регионе Кампания.

тракты, можно было проехать в наемном экипаже. В горах — только пешком или на мулах, так как крутые склоны и отсутствие мостов перекрывали доступ экипажам.

Основной ежегодный наплыв паломников в Монтеверджине приурочен к празднованию главного богородичного праздника — Дня Святейшего Имени Девы Марии[232]²³⁰, которое приходится на 12 сентября. В этот день на гору Партецио обычно стекаются паломники не только из Кампании, но и из Базиликаты и Апулии. По народному убеждению, Дева Мария в эту пору особенно близка верующим, ибо Она слышит все их обеты и прошения.

Мадонна ди Монтеверджине считается мощной заступницей и покровительницей, особенно в вопросах материнства и здоровья. Многие паломницы приезжают в святилище с просьбами о зачатии, благополучных родах и заступничестве за детей и близких, а также за помощью в трудных жизненных ситуациях. Считается, что молитвы и обряды, совершенные в этом святилище, имеют особую силу.

Фьорелла знала, что в сентябре под предлогом благочестия на святую гору слетаются многие искатели незаконных любовных радостей. 12 сентября в Монтеверджине царит настоящий карнавал разврата. Недаром в Неаполе в ходу поговорка: «Кто посылает жену на паломничество, у того колыбель каждый год не пустует». А о девушках, заподозренных в интересном положении, шутят: «Они, без сомнения, вер-

²³⁰ Festa del Santissimo Nome di Maria (итал.).

нулись с Горы Девственницы».

В день праздника в Монтеверджине можно увидеть не только демонстрацию роскоши, но и весьма пикантные сценки, когда супруг, прогуливаясь со своей метрессой[233]²³¹, неожиданно встречает супругу, делающую промена́д[234]²³² под руку с двумя его приятелями. Сближаясь, они обычно раскланиваются, улыбаются понимающе и желают друг другу приятного времяпрепровождения.

Обратный путь и вовсе превращается в некое подобие карнавала, где благочестие сменяется разнузданным весельем. Дорога гудит от голосов: паломники, подогретые щедрыми глотками молодого вина, спускаются вниз, распевая хоровые песнопения, которые больше напоминают хриплый рев. Пьют в это время много и охотно, передавая кувшины из рук в руки и закусывая сушеными и печеными каштанами — плодами этой горной земли.

Каштаны в этот день продаются связками, нанизанными на нитяные шнуры, словно розарий без молитвы. Эти коричневые бусы обычно висят не только на груди людей, но и на шеях лошадей и мулов, служа им своеобразным украшением. Смех, крики, обрывки молитв и песен смешиваются в один гул, словно сама гора не желает отпускать тех, кто поднялся к Мадонне и теперь, облегченный и усталый, возвра-

²³¹ Метресса (франц. *maîtresse*, буквально — госпожа, хозяйка) — устар., любовница.

²³² Промена́д (от франц. *promenade*) — прогулка.

щается в мирскую жизнь.

Во время спуска мужчины частенько затевают реканату[235]²³³ — гонки на примитивных самодельных колесницах. Эти грубо сколоченные повозки, чаще всего двухколесные, несутся по склонам и проселочным дорогам, гремя о камни и подпрыгивая на ухабах. Они вызывают крики восторга и страха у зрителей. Управляют ими обычно стоя. Победа измеряется не столько скоростью, сколько дерзостью, удалью и умением удержаться на полном ходу. Реканата — часть послепраздничного разгула: в ней сходится бравада, опьянение и древняя привычка превращать возвращение с богомолья в испытание силы и ловкости.

И потому Фьорелла была отчасти рада, что путь в Монтеверджине приходится на вторую половину ноября. Да, в это время года святая гора не отличается гостеприимством. Она встречает паломников холодным ветром, туманами и размытыми дорогами. Зато в этот сезон исчезает и привычный праздничный людской гомон — ни толп любопытных зевак, ни показной роскоши, ни греха под маской благочестия. Поздней осенью к Мадонне ди Монтеверджине поднимаются лишь те, кому нужно уединение и тишина, кто ищет не развлечений, а встречи с самой святыней — без лишних

²³³ Реканата (неап. *gescànata*, от неап. *gescanare* — нестись, бросаться вниз) — местное название простых двухколесных повозок или саней на колесах, использовавшихся в горных районах Кампании и Ирпинии; во время народных праздников и паломничеств на них устраивали неформальные состязания на спуске. Название и форма могли варьироваться от селения к селению.

свидетелей и соблазнов.

Калессино покинуло город тем же путем, каким уходили все экипажи, направлявшиеся в сторону Монтеверджине: через Понте-делла-Маддалена[236]²³⁴. Именно там началась настоящая дорога. Там же с колес и упряжи брали первую пошлину — педаджо[237]²³⁵ за пересечение моста и пользование трактом.

Сборщик, завидев знакомого возничего, усмехнулся и окликнул его:

— Эй, Скарамуччо[238]²³⁶, опять ты мне одну медь ве-
зешь. Когда уж, наконец, побалуешь «королевскими портре-
тами»[239]²³⁷?

Возничий хмыкнул, не слезая с серпы, и протянул ему па-

²³⁴ Пóнте-дélла-Маддалéна (итал. *ponte della Maddalena* — мост святой Маг-
далины) — мост на юго-востоке Неаполя, перекинутый через реку Себето, русло
которой сейчас проходит по улице Виа Маринелла. На протяжении веков он был
одним из въездов в Неаполь с юга, но был снесен в ходе реконструкции города
в конце XIX века.

²³⁵ Педáджо (итал. *pedaggio*) — дорожная пошлина, плата за проезд; часто
употреблялось вместе с: *pontatico* (мостовая пошлина), *dazio* (общая пошлина),
diritto di passo (право прохода/проезда).

²³⁶ Скарамúччо (итал. *Scaramuccio*, от итал. *scaramuccia* — стычка, потасовка,
мелкая драка) — насмешливое прозвище в Неаполе XVIII века, а также имя мас-
ки Скарамучча в *commedia dell'arte*.

²³⁷ Королевские портреты (неап. *'e ritratte d'o gre*) — в неаполитанской разго-
ворной речи XVIII века так шутливо называли монеты с профильным изобра-
жением правящего монарха. Деньги нередко обозначали не по номиналу, а по
внешнему виду — «голове», «лицу», «портрету», особенно когда речь шла о се-
ребре и золоте.

ру потемневших монет.

— Довольствуй этим, Кьяппарьелло[240]²³⁸.

Фьорелла поняла разговор этих двоих по-своему. Пошли-на с двухколесного калессино, запряженного одной лоша-дью, составляла всего два грано — медяки, на которых не чеканили королевские профили. А сборщику, конечно, хо-телось видеть в ладони серебро — монеты высшего достоин-ства с четким рельефом и строгим королевским портретом.

Пошлина была уплачена и копыта лошади застучали по брусчатке.

По мере удаления от Неаполя, архитектура утрачивала столичный характер, и здания постепенно мельчали. Фьо-релла знала, что многие постройки здесь были возведены на развалинах других домов, погребенных в массе лавы и пеп-ла. Поговаривали, что при раскопках Геркуланума обнару-жили наносную вулканическую почву в основании этого ан-тичного города. Так что вполне возможно, он в свое время был так же построен на месте погубленного Везувием еще более древнего поселения.

Вдоль дороги тянулись маслины — деревья почтенного возраста, усыпанные еще не до конца снятым урожаем. Чет-верть часа спустя начали попадаться деревеньки с виноград-никами; за ними тянулись поля, засеянные озимым ячменем.

²³⁸ Кьяппарьелло (неап. 'O Chiappariello, от неап. chiappà — хватать, цапать) — насмешливое прозвище в Неаполе XVIII века со значением «мелкий хапуга, жадный до денег», «тот, кто норовит любую монету прибрать к рукам».

Поселения эти были удивительно безлюдны, почти прозрачны. Непонятно, кто здесь пасет стада, кто окучивает виноградники и обрабатывает поля. Казалось, осевший на землю осенний туман проглотил всех обитателей этих мест.

Постепенно плодовые деревья у дороги сменились тополями. В эту пору они стояли совершенно голые, и вместо листвы на ветвях теснились стаи перелетных птиц. Те сидели неподвижно, словно затаившись, и молча следили за повозкой, медленно катившейся по дороге. От безмолвного внимания сотен пар глаз Фьорелле стало не по себе.

И в этот самый миг — то ли по случайности, то ли нарочно — возникший взмахнул кнутом и стеганул плетущуюся лошадедку. Хлесткий звук разорвал тишину. Стая разом сорвалась с ветвей и, вспорхнув, беспорядочно колышущимся темным облаком унеслась в поля.

Чуть дальше безлюдную картину пустынной местности оживляли стада черных буйволов, мирно щипавших пожухлую траву. Трудно было понять, дикие они или домашние: поблизости не виднелось ни пастуха, ни массерии[241]²³⁹, ни каскинале[242]²⁴⁰ — ни одного признака человеческого жилья.

²³⁹ Массерия (итал. masseria) — крупное сельское хозяйство на юге Италии; укрепленный двор с жилыми постройками, стойлами и амбарами, характерный для Кампании и Апулии в XVII–XVIII веках.

²⁴⁰ Каскина́ле (итал. cascinalo) — отдельно стоящий крестьянский двор или ферма; менее крупное и защищенное хозяйство, чем массерия, чаще встречающееся в сельской местности Неаполитанского королевства XVIII века.

Местами у дороги попадались одинокие кресты — скромные знаки забытых могил. Когда-то, в древности, люди делали захоронения у въездов в города, вдоль больших трактов, окаймляя путь изящными саркофагами. Если не надгробная надпись, то тонкий барельеф, если не барельеф — хотя бы мраморная скамья непременно задерживали взгляд прохожего, напоминая о человеческом присутствии и памяти.

Теперь же у больших дорог покоились лишь злополучные жертвы разбоя. Потому эти редкие кресты на обочинах служили не памятником и не утешением, а зловещими вехами, отмечавшими места кровавых набегов и внезапных смертей.

Фьорелле от вида этих памятников становилось не по себе. Впервые ей пришла в голову тревожная мысль: не было ли с ее стороны безрассудством пуститься одной в столь трудное и небезопасное предприятие, как паломничество. Особенно пугал последний, горный отрезок пути — узкие тропы, ранние сумерки, одиночество... Подумав об этом, Фьора твердо решила, что непременно постарается примкнуть к какой-нибудь группе паломников, как только предоставится удобный случай.

Погруженная в эти мысли, девушка не заметила, как калессино тем временем неспешно приблизилось к Казале-ди-Волла.

Дорога здесь оживала. По обе стороны тянулись возделанные поля, уже убранные и потемневшие от осенней сырости. Местами лежали груды лозы и сухих стеблей, приготовлен-

ных к сожжению. В низинах белели полосы тумана. Тем удивительнее было увидеть роскошную пальму посреди разлившегося над землей белого молока. Она раскинула свои великолепные листья, точно гигантские зеленые страусиные перья.

Навстречу всё чаще попадались крестьяне с мулами, груженными мешками зерна, бочонками молодого вина и вязанками хвороста. На некоторых животных, в грубых испанских седлах[243]²⁴¹, величаво, словно египетские царицы, восседали женщины, закутанные в пестрые мантилы, с белыми, по-разному сложенными маккатуру[244]²⁴² на головах.

Чем ближе становилась Волла, тем чаще встречались крестьянки, возвращавшиеся с полей. Они несли корзины, доверху наполненные собранным урожаем — початками кукурузы, фенхелем, брокколи, луком и чесноком. Для удобства женщины водружали ношу себе на голову, поддерживая одной рукой и не сбавляя шага.

Это были земли Пьянуры Кампании[245]²⁴³, равнинной

²⁴¹ Испанское седло (итал. la sedia spagnola) — седло в виде кресла.

²⁴² Маккату́ро (неап. maccaturo) — традиционный неаполитанский головной платок простолюдинок XVIII века; кусок льняной или хлопчатобумажной ткани, сложенный и повязанный определенным образом, служивший повседневным женским головным убором и социальным маркером. Он спадал на плечи, иногда покрывал шею и грудь. Для закрепления платка использовались узлы и булавки, что придавало ему дополнительную декоративность и функциональность.

²⁴³ Пьяну́ра Кампа́ния (итал. La pianura campana) — равнинная часть Кампании, простирающаяся от реки Гарильяно до склонов Везувия и гор Латтари, и имеющая в качестве основных центров с севера на юг, Санта-Мария-Капуа-Ветер-

территории королевства, которую древние называли Кампания Феликс. Отец Фьореллы окрестил эту землю «палимпсестом»[246]²⁴⁴. Он говорил: «То, что сейчас написано на ее поверхности, не составляет и десятой доли того, что было написано там когда-то. Помпеи, Стабии и Геркуланум — бесценные свидетельства былой роскоши и величия этого региона. В этом смысле наш Везувий — не просто фоновая деталь, доминирующий элемент пейзажа, а мощный творец, формирующий не только географию, но и психологию, и историю Неаполя, полную как периодов процветания, так и катастрофических извержений».

Кажется странным, что земля, подвергающаяся таким большим и постоянным опасностям со стороны вулкана, так густо заселена. Должно быть, в этих местах много жителей, которые видели, как лава изливалась из новых жерл среди возделанных полей. Однако эти земли по-прежнему обрабатываются. Даже во время извержения крестьяне продолжа-

ре, Капуя, Казерта, Вилла Литерно, Марчианисе, Аверса, Ачерра, Кайвано, Джульяно в Кампании, Парете, Фраттамаджоре, Казория, Афрагола, Неаполь (северный район), Помильяно-д'Арко, Нола, Помпеи, Скафати и Ночера Инфериоре. Кампáния Фели́кс (лат. *Campania Felix*) — древнее название этого равнинного региона с Неаполем в качестве главного города. В переводе с латинского языка означает «счастливая или удачная Кампания».

²⁴⁴ Палимпсэст (от греч. *palin* — опять и *psestos* — соскобленный) — древняя рукопись на пергаменте, написанная по счищенному, еще более древнему письму. В переносном смысле палимпсест — это культурный слой, созданный на руинах ранее существовавших цивилизаций и вобравший в себя некоторые его приметы. Также палимпсест может обозначать что-то, что было забыто или стерто из памяти, а затем восстановлено или обнаружено вновь.

ют работать на виноградниках, расположенных неподалеку от ползущего потока лавы.

Когда калессино остановилось, Фьорелла спросила у водителя, где здесь можно перекусить. Тот объяснил, что неподалеку богатый землевладелец, некий Микеле Луфрано, держит казино, при котором для странников устроена тавола-кальда[247]²⁴⁵.

Заведение помещалось в аккуратном, добротном строении, крытом глазурованной черепицей, — одним из тех домов, что сразу внушают доверие путнику.

Табльдот[248]²⁴⁶, обошедшийся ей в восемь грано, включал горячую паппароту[249]²⁴⁷, постную запеканку из брокколи и кастаньяччо[250]²⁴⁸, поданный с лимонадом. Фьорелла обедала в компании двух англичан и старушки с мальчиком, которые должны были ехать с ней в калессино, от коего она по итогу отказалась.

²⁴⁵ Тавола-кальда (итал. tavola calda, буквально — горячий стол) — закусочная, обед для путников с фиксированным набором блюд и общей сервировкой.

²⁴⁶ Табльдот (франц. table d'hôte, буквально — хозяйский стол) — термин, обозначающий тип меню с единой комплексной ценой. В цену включено всё: от закуски до десерта.

²⁴⁷ Паппаротта (неап. paparotta, от неап. парро — хлеб) — неаполитанская хлебная похлебка.

²⁴⁸ Кастаньяччо (итал. castagnaccio) — пирог из каштановой муки с орешками пинии. Представляет собой типичный осенний десерт, приготовленный в духовке из смеси каштановой муки, воды, оливкового масла первого отжима, кедровых орешков и изюма. Местные вариации включают добавление других ингредиентов, таких как розмарин, апельсиновая цедра, семена фенхеля или сухофрукты.

В разговоре выяснилось, что собеседница, назвавшаяся синьорой Фаустиной, наняла этот экипаж целиком, и потому они сумели обогнать двуколку Фьореллы еще в дороге. Кроме того, Фьора узнала, что пожилая женщина с внуком направляется в Ачерру[251]²⁴⁹ — город, лежавший на ее собственном пути к Монтеверджине. Именно там девушка собиралась провести ночь.

Понимая, насколько спокойнее и безопаснее путешествовать не в одиночку, она осмелилась попроситься к старушке и мальчику в попутчицы — и та, после недолгого раздумья, согласилась.

Сверх оговоренной синьорой Фаустиной платы за проезд Фьорелла протянула возничему еще одну монету — «на большую бутылку» — и тихо попросила больше никого не подсаживать в калессино по дороге. Тот поворчал, пощелкал языком, но всё же согласился. Так что отрезок пути до Ачерры девушка провела в обществе лишь старушки и ее внука, которого (она это выяснила довольно скоро) звали Джузеппе.

Синьора Фаустина не спешила рассказывать о себе — что было странно для неаполитанки, ведь простые женщины обычно охотно делятся подробностями своей жизни и по делу, и без всякого повода. Зато попутчица сразу же принялась расспрашивать Фьору: куда та едет и с какой надобностью.

²⁴⁹ Ачёрра (итал. Асегга) — город в Италии, расположен в регионе Кампания, подчинен административному центру Неаполь.

Узнав, что девушка направляется в Монтеверджине с паломнической целью, старушка всплеснула руками и, не скрывая потрясения, начала распекать Фьореллу за безрассудство.

— Одна? По таким дорогам? Да ты в уме ли, детка? — покачала она головой. — Разве ж теперь время для подобных одиночных поездок?

— Я думала... — начала было Фьорелла.

— Думала она... — перебила Фаустина. — Не очень-то ты и думала, как я погляжу. Уж о разбойниках не помыслила точно. Или считаешь, что святая Мадонна к каждому путнику в дорогу по два ангела-хранителя приставляет?

Она прищурилась и внимательно посмотрела на Фьору.

— Ты слыхала про несчастье с молодыми англичанами, произошедшее совсем недавно?

Фьорелла мотнула головой.

— Нет, синьора... Я ничего не знаю об этом. И что же с ними приключилось?

Старушка тяжело вздохнула, перекрестилась и, поудобнее устроившись на сиденье, приготовилась поведать спутнице историю, которая, и это было заметно, потрясла ее саму.

— Так вот слушай. Молодые они были, англичане. Он — красавец, щеголь, весь как с картинки: перчатки белые, пуговицы золотые, сапоги блестят, всё подряд отзеркаливают. А она... ох, Господи, — ангел, а не девушка. Личико светлое, волосы золотистые и модница из модниц. Только-только об-

венчались они у себя в хмурой Англии, свечи еще толком не остыли, как они — сразу к нам, под наше солнце. У них-то, у знатных англичан, как заведено? Они думают, что любовь под неаполитанским небом крепче делается.

Фаустина качнула головой.

— Медовый месяц у них был. Все вокруг только и вздыхали, глядя на этих красавцев. А потом... Возвращались они как-то из Пестума[252]²⁵⁰... В быстром экипаже. Слуга верный рядом.

Она понизила голос.

— И тут, на дороге, выскочили перед ними разбойники — трое ли, четверо ли, кто их разберет. Капюшоны черные, лиц не видать. Остановили экипаж, закричали: «Деньги! Украшения! Всё выкладывайте на землю, или смерть вам!»

Слуга, царство ему небесное, бросился на них, как лев... да один выстрел — и упал, как подкошенный. Без дыхания.

Фьорелла невольно прикрыла ладошкой рот.

— А молодой господин... — продолжила Фаустина, — схватился за пистолет. Сердце у него смелое было, как у льва. А жена — бедная девочка — побелела, но духом не пала. Умолять его принялась: «Отдай им всё, любовью своей заклиная. Не связывайся с ними».

Он и сам понял — не одолеть ему злодеев этих. Накло-

²⁵⁰ Пэстум (лат. Paestum) — греческая колония, основанная в конце VII века до н. э. в западной части области Лукании (35 км юго-восточнее нынешнего Салерно).

нился, чтоб мешок с монетами из-под сиденья достать... И тут — Бог знает, что тем дьяволам в голову ударило — они вдруг выстрелили.

Старушка на миг замолчала, перекрестилась снова.

— Молодая, как только увидела нацеленный на мужа пистолет, кинулась к нему, грудью прикрыла... И обоих — один выстрел и уложил. А разбойники их деньги взяли да и сгинули.

— Святая Мадонна! — выдохнула Фьорелла.

Синьора Фаустина кивнула, будто подтверждая ее мысль.

— Вот именно, детка. Мадонна-то их и не уберегла. Сельчане выстрелы те услышали, прибежали. Нашли их — обоих в крови. Перенесли в ближайший дом у дороги. Молодая... — старушка запнулась, — она к тому времени уж на небеса вознеслась. А муж ейный еще дышал. Ранен был тяжело, но в сознании.

Фаустина покачала головой, будто представляя в голове эту сцену.

— И знаешь, о чем он всё спрашивал? Не о деньгах, не о себе. Всё про нее, любимую: «Как она? Где она? Мне бы увидеть ее...» А люди... что им было делать? Не сказали ему правды. Говорили: «Она в соседнем доме. Ей лучше. Немного поправится — и придет».

— Они... обманули его? — тихо спросила Фьорелла.

— Из жалости, — вздохнула старушка. — Из милосердия. Он всю ночь и весь день прожил с этой надеждой. Всё про-

сил перенести его к ней, хоть на минуту, хоть одним глазком взглянуть. А к вечеру следующего дня... — она махнула рукой, — и сам богу душу отдал, так и не узнав, что его голубка уже ждет его в раю.

Фаустина медленно перекрестилась.

— Вот тебе и медовый месяц. Вот тебе и наше солнышко неаполитанское... Любовь у них была — настоящая, не спорю. Только дороги, детка, у нас очень опасные. Разбойники не щадят ни влюбленных, ни святых, ни паломников.

Она внимательно посмотрела на Фьюру.

— Так что надо крепко всё обдумать, прежде чем ехать одной к Мадонне ди Монтеверджине. Молиться — дело благое. Но и голову на плечах иметь тоже надо.

Фьюрелла молчала. Копыта лошадей мерно выбивали дробь по дороге. Вдруг мальчонка, всё это время с живым интересом слушавший бабушкин рассказ, воскликнул:

— Ноннелла[253]²⁵¹, я чую генерала Фу[254]²⁵²!

Фьюрелла невольно повела носом. Запах и впрямь был скверный. Она огляделась: ровная королевская дорога тя-

²⁵¹ Ноннелла (неап. Nonnella) — ласкательное, просторечное, бабушка.

²⁵² Чую генерала Фу (неап. Sento 'o general Fu!) — разговорное выражение, бытовавшее в Европе XVIII века; связано с анекдотом о якобы существовавшем датском генерале по фамилии Фу, который так напугался противника, что потеряв самообладание, издал непристойный звук. Отсюда междометие «Фу!», употребляемое при неприятном запахе, озвучивалось выражением «чую генерала Фу».

нулась через маремму[255]²⁵³ — заболоченную, нездоровую низину, чреватую дурным воздухом и лихорадкой.

Мальчишка сморщился и зажал нос пальцами. Чтобы отвлечь его от этой вони, Фьорелла предложила:

— Пеппино[256]²⁵⁴, давай сыграем в «Глаза дороги»[257]²⁵⁵.

Мальчик оживился, вытянул шею и тут же закрутил головой, высматривая всё вокруг.

Оставшийся путь до Ачерры в калессино только и раздавалось:

— Стадо овец — десять очков!

— Птицы на дереве — двадцать!

— Одиночный всадник — два!

— Почтовый дилижанс — пять!

— Гуси — снова десять!

— Старушка у изгороди... выигрыш!

В пылу игры мальчишка весь извертелся, и синьора Фау-

²⁵³ Марёмма (неап. *maremma*) — в Кампании XVIII века обозначение заболоченной, нездоровой низинной местности с «дурным воздухом», считавшейся опасной из-за лихорадок и малярии; употреблялось как географическое и бытовое название вредных для здоровья мест.

²⁵⁴ Пеппино (итал. *Perrino*) — уменьшительно-ласкательная форма мужского имени Джузеппе.

²⁵⁵ «Глаза дороги» (неап. *ll'ucchie 'e strata*) — распространенная в XVIII веке дорожная игра пассажиров экипажей. Каждый выбирал свою сторону повозки и по пути считал всё, что попадалось на глаза: людей, животных, всадников, кареты и необычные сцены. За разные объекты начислялись заранее оговоренные очки; выигрывал тот, кто к концу поездки набирал больше.

стина недовольно бурчала:

— Из того же дерева, что скроен мой внук, делают разве что кастаньеты, трещотки, свистульки да волчки — всё, что гремит, свистит и ни минуты покоя не знает.

Игру к тому же разнообразили вынужденные остановки у мостов, коих в этих местах было великое множество. У каждой переправы через систему искусственных водоканалов Реджи Ланьи[258]²⁵⁶, близ Ачерры, веттурино из уже уплаченных за проезд денег отсчитывал стоявшим там сборщикам понтатико[259]²⁵⁷ — обязательную пошлину за пользование мостами.

По прибытии в Ачерру Фьорелла распрощалась со своими спутниками и, по наводке синьоры Фаустины, отправилась в ближайший постоялый двор. Заведение оказалось далеко не из лучших, однако на улице уже стемнело, и Фьора не стала привередничать, остановившись там, куда привел ее путь.

С паломничеством в Монтеверджине были связаны две старинные традиции, хранившиеся скорее народной памятью, нежели церковным уставом. Первая касалась поста. Многие паломники давали обет воздержания и на время до-

²⁵⁶ Реджи Ланьи (итал. Regi Lagni) — система искусственных каналов в регионе Кампания (Италия). Они были построены в XVII веке для сбора дождевых и весенних вод. Переправы через нее — мосты, дамбы и паромные скафы — находились под постоянным контролем и почти всегда облагались дорожной пошлиной.

²⁵⁷ Понтатико (итал. pontatico) — налог, взимаемый в Неаполитанском королевстве XVIII века с проезда по мосту.

роги отказывались от мяса, яиц и сыра, довольствуясь постной пищей и водой. Считалось, что телесная умеренность облегчает восхождение и усиливает молитву, а каждый шаг, сделанный в лишении, засчитывается как жертва, принесенная Мадонне.

Другой традиции придерживались девушки, еще не вступившие в брак. Во время подъема они останавливались у кустов дрока, росшего по склонам, и, не срывая ветвей, переплетали их заранее приготовленными цветными лентами. Затем они завязывали узел, обещая Мадонне вернуться в следующем году и развязать его вместе с женихом — если Дева Мария услышит их просьбу о суженом. Эти простые жесты — воздержание, ленты, узлы — значили не меньше, чем свечи и молитвы, ибо соединяли земные надежды с небесным заступничеством.

На постоялом дворе путникам в качестве ужина подали телячью требуху, отварную куропатку и сардины, тушенные с виноградным уксусом. Фьорелла окинула взглядом угощение и вспомнила наставления нянюшки, твердившей, что в пост вечерняя трапеза должна быть легкой. В те далекие, благостные дни постный ужин обычно состоял из печенья с орехами пинии[260]²⁵⁸, стакана лимонада, мармелада и тыквенных цукатов. От такого угощения Фьора не отказалась бы и теперь. Она еще не знала, станет ли завязывать узел на ку-

²⁵⁸ Пíния, или сосна итальянская (лат. *Pinus pinea*) — вечнозеленое дерево семейства сосновых.

сте дрока, но вот попоститься перед восхождением на Монтеверджине хотела непременно.

Однако привлекать к себе внимание хозяина постоянного двора — мужичка с редкой, клочковатой бороденкой, жесткой с виду, как кабанья щетина, — и просить подать что-нибудь постное, Фьоре не хотелось вовсе.

К тому же соседом девушки по столу оказался человек крайне неприятный. Его возраст трудно было определить: лет сорок, а может, на десяток лет меньше или больше. Лицо — бледное, с желтовато-землистым оттенком, выдающим долгую болезнь. Веки припухшие, взгляд беспокойный и раздраженный. Глаза, воспаленные, покрасневшие, с тяжелым, водянистым блеском, заметно косят.

Мужчина часто шурился, будто свет свечи на столе причинял ему физическую боль. Нижняя часть лица напоминала слепой фонарь: впалые, почти прозрачные щеки, рубленые скулы и потрескавшийся рот со следами слюнотечения — явными последствиями ртутного лечения.

От соседа исходил тяжелый, кислый запах хвори. Временами его бросало то в жар, то в холод: лоб покрывался испариной без всякой видимой причины. А еще он постоянно кашлял. Будь рядом нянюшка, она бы непременно сказала, что этот человек «испорчен внутри», ибо дурная болезнь уже вышла наружу.

Мужчина не столько ел, сколько пил, беспрестанно понося свое питье. Наконец он не выдержал и громко крикнул:

— Эй, падроне[261]²⁵⁹! У тебя не найдется выпивки поприличней? То, что подал, — не благородное вино, а какое-то «смешение наций»[262]²⁶⁰. Такое пошло скорее кишки разъест, чем опьянит.

Все сидевшие за столом с сочувствием покосились на Фьореллу, вынужденную делить с этим типом скамью. Сама же девушка в этот миг встретила взглядом с дородной седовласой женщиной с удивительно добрыми, светло-кариими глазами. На вид той было лет шестьдесят, не больше. Заметив взгляд Фьоры, женщина призывно махнула рукой и кивком указала на место рядом с собой.

Фьорелла лишь теперь заметила свободный стул, стоявший возле нее. Поднявшись, она пересела и, устроившись поудобнее, не забыла поблагодарить синьору за оказанную помощь.

— Не за что, милая. Такой приятной и чистенькой синьорине грех сидеть рядом с «поперчённым».

— «Поперчённым»? — удивилась Фьорелла. — Что вы имеете в виду? И простите... как мне к вам обращаться?

— Вот то-то и оно, — усмехнулась женщина. — Сразу видно: душа у тебя незамутненная, как воды Лаго-дель-Ма-

²⁵⁹ Падроне (итал. padrone) — хозяин.

²⁶⁰ Смешение наций (неап. 'o mischione 'e nnazione) — трактирное выражение, обозначавшее смесь всех видов крепких спиртных напитков, имевшихся в заведении: остатки из бутылок и кружек, слитые в одну емкость; дешевое и дурного качества пошло, нередко вызывавшее насмешки и брань.

тезе[263]²⁶¹. Смотрю — сидит бедная, несчастная, точно облупленный чеснок, а вид такой, будто ножки в столярные колодки зажаты. И рядом — этот гонорейный. Мало того что косит глазами, как мешок с гвоздями, так еще и обкашливает тебя своим кладбищенским кашлем. Я уж молчу о том, что он, видно, только на самый мелкий скот[264]²⁶² и богат. Нет, думаю, такой чистенькой и красивенькой синьорине рядом с ним сидеть — совсем не дело.

Она перевела дух и, смягчившись, добавила:

— А что до имени моего ... так величают меня Серафиной Палумбо. Друзья да знакомые зовут просто — синьора Финуцца. Ты можешь звать меня так же.

Фьорелла улыбнулась и благодарно кивнула.

Узнав, что девушка держит путь в Монтеверджине, синьора Финуцца тут же подозвала осте[265]²⁶³ и велела подать Фьоре постную фриттуру[266]²⁶⁴ с полентой[267]²⁶⁵, а на

²⁶¹ Ла́го-дель-Мате́зе (итал. Lago del Matese) — альпийское озеро ледникового происхождения в регионе Кампания на юге Италии. Расположено в региональном парке Матезе, в провинции Казерта. В XVIII веке считалось одним из самых чистых и высокогорных озер Неаполитанского королевства.

²⁶² Мелкий скот (неап. 'o piccerillo bestiame) — просторечное, насмешливо-брезгливое выражение в Неаполе XVIII–XIX веков, обозначавшее вшей и блох; употреблялось в народной речи по отношению к нечистоплотному или больному человеку, словно «разводящему у себя живность», и подчеркивало презрение и страх перед паразитом.

²⁶³ Осте (итал. oste) — хозяин остерии, таверны, постояло двора.

²⁶⁴ Постная фриттура (итал. 'a frittura magra) — так в Неаполе XVIII века называли жареное в оливковом масле блюдо без мяса — обычно из овощей, реže

сладкое — засахаренные плоды индейской смоквы[268]²⁶⁶. Всё съеденное Фьорелла запила простой водой, и эта скромная трапеза показалась ей куда уместнее любого иного угощения.

Серафина Палумбо, взяв над девушкой негласное шефство, предложила Фьорелле устроиться на ночлег в той же комнате, которую с немалым трудом отвоевала у хозяина постоянного двора для себя. Фьорелла с радостью и искренней благодарностью согласилась.

— По большому счету мне этого падроне даже жаль, — сказала синьора Финуцца, стаскивая с плеч черное цендадо[269]²⁶⁷. — По себе знаю, какова доля остьере. Это ведь всё равно что иметь ремесло собаки: бегаешь целый день, служишь всем подряд, а благодарности — с плевков воробья. Я это понимаю как никто другой. Когда мой покойный муж преставился, принадлежавшая его семье локанда свалилась мне на плечи. Пришлось мне, с двумя малыми детьми на руках, самой становиться локандьерой.

Фьорелла взглянула на свою соседку внимательнее. Та была из тех пышнотелых, гладкощеких немолодых женщин, коих в Неаполе за округлость форм и кажущуюся крепость, как

из морепродуктов, которое подавали в постные дни и по пятницам.

²⁶⁵ Полэнта (итал. polenta) — блюдо из кукурузной муки.

²⁶⁶ Инд́ейская смóква, индейская ф́ига, или колючая груша (лат. *Opuntia ficus-indica*) — плоды кактуса опунции, широко выращиваемые на юге Италии с XVII века.

²⁶⁷ Ценда́до (итал. zendado) — платок, шаль.

у хорошо обожженной глазурованной посуды, частенько называли «майоликой».

Движения синьоры Финуцци были уверенными, голос — звонким и повелительным, а во взгляде сквозила привычка распоряжаться и не терпеть возражений. Эта женщина явно принадлежала к той породе неаполитанок, о которых говорят, что они «носят штаны» и держат дом в кулаке.

И всё же при всей своей властности эта синьора была, как и большинство жительниц королевства, безмерно любопытна и страстно любила поболтать о том о сем. Фьорелла убедилась в этом, когда женщина, усевшись на кровать и расправив юбки, сказала:

— Ты ведь еще не собираешься спать? Давай побалуем наши языки. Не знаю, как твоему, а моему — так точно не терпится выпросить твою историю.

Однако на последовавшие расспросы синьоры Палумбо Фьорелла отвечала скупой и с заметной неохотой. Делиться своей жизнью она не была готова даже со случайными попутчиками.

Поняв это, женщина по-доброму усмехнулась, без тени обиды:

— Мой насос, конечно, исправный, — сказала она с лукавой улыбкой, — но ты делаешь вид, будто в твоём бачке пусто. Чую, у тебя тайн больше, чем у масонов[270]²⁶⁸, дет-

²⁶⁸ Масоны, франкмасоны (франц. *maçon*, *franc-maçon*, от франц. *maçon* — каменщик, строитель) — члены тайного братства, возникшего в Европе в XVII-

ка. Но да ничего, завтра по пути в Нолу[271]²⁶⁹ я из тебя всех вытрясу.

Зато собственной жизнью синьора Палумбо поделилась охотно и без утайки. Так Фьорелла узнала, что супруг женщины погиб, пытаясь разнять поножовщину, вспыхнувшую в его локанде. Повела синьора Финуцца и о том, что долгие годы у них с мужем не было детей. По этой самой причине она в свое время совершила паломничество в святилище Монтеверджине, где вымаливала у Мадонны дитя.

Именно там, на постоялом дворе неподалеку от святой обители, ей приснился сон, в котором Дева Мария повелела усыновить ребенка.

— Так в моей семье и появилось «дитя колеса»[272]²⁷⁰, — рассказывала она, понижая голос, словно вновь переживая тот миг. — Мальчонка был совсем грудничком, завернутым в дорогие пеленки. На шейке у него, на шелковой ленточке, висел золотой крестик. Хорошенький был малыш — крепенький, кареглазый, а главное — с шапкой кудрявых во-

XVIII веках и быстро ставшего символом загадочности, ритуалов и скрытых обрядов. Их собрания проходили за закрытыми дверями, а сами масоны были связаны клятвами хранить секреты общества и не раскрывать посторонним ни внутренние правила, ни символику, ни цели. Благодаря этому масоны приобрели в народном воображении репутацию людей, окруженных множеством тайн, интриг и даже заговоров.

²⁶⁹ Нόла (итал. Nola) — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Неаполь.

²⁷⁰ Дитя колесá (неап. Figlio d' 'a ruota) — дитя из «колеса подкидышей» (итал. ruota degli esposti), куда анонимно подбрасывали младенцев.

лос. Признаться, я прежде таких младенцев не видывала. Он пришелся по сердцу и мне, и моему мужу. А вскоре, по милости Божьей Матери, я сама понесла и через девять месяцев родила девочку. Назвали мы ее в честь Мадонны — Марией Розарио. Крестили дочку в церкви Санта-Катерина-а-Формьелло, так как именно там находится статуя Мадонны дель Розарио — сердце того прихода.

Женщина на мгновение умолкла, словно погружаясь в далекие воспоминания.

— Так они и росли вместе, с разницей всего в десять месяцев. Мой приемный сын, когда подрос, стал для младшей сестры другом и защитником.

Глаза синьоры Палумбо заискрились теплым, радостным светом.

— А теперь мой Сальваторе — главный петух[273]²⁷¹ квартала Сан-Лоренцо, — сказала она с явной материнской гордостью. — Да что там Сан-Лоренцо — он и весь Пендино[274]²⁷² под себя подмял!

²⁷¹ Главный петух (неап. 'o gallo 'e quartiere) — неформальный лидер уличной компании; самый сильный и опытный драчун района, пользующийся уважением и страхом среди местной молодежи.

²⁷² Кварталы Сан-Лорэнцо (итал. San Lorenzo) и Пенди́но (итал. Pendino) — административные и социальные районы исторического центра Неаполя в XVIII веке. Сан-Лоренцо охватывал территорию вокруг одноименной базилики и части Виа-дей-Трибунали; считался густонаселенным кварталом ремесленников, студентов и уличной молодежи. Пендино располагался южнее и восточнее, в районе Реал-Каза-дель-Аннунциата и торговых улиц, и граничил с Сан-Лоренцо вдоль оси древнего декумануса. Оба квартала находились в тесном бытовом и социаль-

Фьорелла узнала и о том, что этот самый Сальваторе, хоть и достиг возраста двадцати семи лет, к немалому огорчению матери, никак не желает жениться.

— А мне бы руки невестки вовсе не помешали бы, — вздохнула синьора Финуцца. — Сын у меня — правая рука. Раньше и дочка помогала, да как вышла замуж за бакалейщика, стала для меня что отрезанный ломоть.

Помолчав немного, женщина добавила:

— Нет, отношения у меня с дочкой хорошие, спору нет, да только ее суочера^[275]²⁷³ требует, чтобы она мужу в лавке помогала. Вот вся моя надежда теперь — в Сальваторе. Он парень красивый и сердцем добрый, девки всей округи на него заглядываются. А он — как тот петух: глупых кур топчет, а жениться не хочет.

Рассказала синьора Палумбо и о причине своего нынешнего паломничества в Монтеверджине. Оказалось, что ее дочь находится на сносях. Зная, какую роль Мамма Скьяво-на сыграла в ее судьбе, синьора Финуцца намеревалась испросить у святой помощи в родах для дочери.

Поделившись планами, женщина, не раздеваясь, улеглась на кровать и устало вытянулась.

— Всё, девонька, пора нам с тобой на боковую. Засиделась я с тобой дольше, чем курица на яйцах. Пора и клопов

ном соприкосновении, что делало их естественным пространством для уличных соперничеств и неформальных иерархий.

²⁷³ Субчера (итал. suocera) — свекровь.

своей сладкой кровушкой покормить.

Фьора пожелала женщине спокойной ночи, загасила свечу и, последовав примеру соседки, тоже не стала раздеваться, о чем вскоре горько пожалела: косточки корсета не давали ни малейшего послабления, мешали вздохнуть полной грудью, расслабиться и погрузиться в сон.

Лежа в темноте, не смыкая глаз и ощущая укусы мелких кровопийц, Фьорелла вновь и вновь возвращалась мыслями к его светлости князю. Это злило ее и пугало одновременно. Она не могла понять, почему уже вторую ночь подряд его образ всплывает в памяти так настойчиво, будто навечно поселился в ее сердце.

Она бежала от Алессандро Дамиано — но унесла с собой не только страх и боль. Девушка старалась быть честной с собой. То, что его светлость сделал с ней вначале, было насилием, и память об этом не стиралась, не смягчалась ни временем, ни расстоянием, ни событиями. Но дальше всё оказалось куда сложнее и запутаннее.

Да, князь подчас был жёсток и непреклонен в своем властном праве, но в обращении с ней проявлял странную, почти болезненную бережность — и от этой противоречивости и двойственности ее чувства трещали, словно ткань на разрыв.

Она помнила, как он не отходил от ее постели, когда яд руты медленно выжигал силы из тела. Как поил с ложки, как шептал слова утешения, как боялся, что Господь заберет ее, если хоть на миг отвернется. Помнила и тот день, когда узна-

ла, что их общего ребенка больше нет, и как он, бледный и осунувшийся, утешал ее, держа в нежных, но очень крепких и заботливых объятиях.

Фьорелла считала, что всё это не оправдывает князя. Не искупает его вины и не возвращает ей утраченную свободу. И всё же сердце, вопреки разуму, стремилось утешить его, подарить ему хотя бы толику тепла и участия, не оставлять с ощущением сердечной и душевной пустоты.

Вырвавшись из палаццо Филанджери, Фьора чувствовала не торжество, а странную потерю. Ей было жаль его светлость — не как мужа, господина и опекуна, а как человека, оставшегося наедине со своей любовью, на которую так и не смогла ответить, хоть он страстно того и желал.

Фьорелла медленно крутила на пальце золотой ободок — тот самый, что князь некогда надел ей, и всматривалась в темноту, ожидая, когда же ночь наконец сдаст свои позиции.

И вот первые серебристые отсветы хмурого ноябрьского утра проступили в единственном окне. Фьорелла поняла: пора. Она бесшумно поднялась, обулась, накинула мантиллу, взяла бизаччу с галоше и, как можно тише, стараясь не потревожить сон синьоры Палумбо, выскользнула из комнаты.

Постоялый двор еще дремал, словно сторожевой пес, не желавший пока просыпаться. На площади перед ним, к счастью, стояло то самое калессе, что привезло ее накануне вечером в Ачерру вместе с синьорой Фаустиной и ее внуком. Веттурино дремал, сидя в коляске и клюя носом. Было вид-

но, что он терпеливо дожидается новых пассажиров.

Фьорелла окликнула его негромко. Мужчина вздрогнул, потянулся, и они быстро сторговались: он довезет ее до Нолы без всяких подсадок и лишних попутчиков. Уговор был скреплен с его стороны утвердительным кивком, с ее — звонкой монетой.

Устроившись в экипаже, Фьора поплотнее закуталась в мантилу, словно прячась от мира и от собственных мыслей. Колесеса тронулось. Под мерное цоканье копыт и жалобный скрип колес дорога потянулась вперед, серая и влажная от ночной сырости. И тогда сон, который так упорно обходил ее стороной всю ночь, наконец, словно божья милость, настиг Фьореллу.

Глава 8

Фьорелла проснулась, как от толчка — калессино остановилось, и над ней прозвучал мужской голос:

— Нола, синьорина. Приехали.

Девушка распахнула глаза и, еще не до конца вынырнув из сна, огляделась. Экипаж стоял посреди небольшой площади, довольно пустынной в этот ранний час. Возничий поднял руку и указал кнутовищем на вытянутое здание с простым, но внушительным фасадом, облицованным светлым мрамором. В цокольном этаже темнели крошечные окна со стальными закрылками, а выше — на втором и третьем этажах — раскрывались огромные застекленные проемы, нарочно созданные для того, чтобы впускать внутрь как можно больше дневного света. Портал дворца венчала ниша с конной статуей, застывшей в величественном покое.

— Палаццо Орсини[276]²⁷⁴... его еще иногда Реджей[277]²⁷⁵ зовут, — пояснил веттурино и тут же кивнул

²⁷⁴ Пала́ццо Орси́ни (итал. Palazzo Orsini) — исторический дворец знатного римского рода Орсини, который приобрел значительные владения в Кампании (в том числе в Ноле) в Средние века. Дворец был построен в 1461 году. В 1559 году он стал собственностью иезуитов. Позже использовался в военных целях и с 1860 года служил штаб-квартирой Военного округа. Распологается в центре города на современной площади Джордано Бруно (итал. Piazza Giordano Bruno).

²⁷⁵ Реджа (итал. règgia) — королевский, царский дворец, царские палаты.

вправо. — А вон там — Къеза-дель-Джезу[278]²⁷⁶.

Фьорелла перевела взгляд в указанную сторону. Там расположился компактный храм из светлого камня: строгий фасад, треугольный фронтон и прямоугольное витражное окно по центру. Слева и справа от скромного портала в нишах возвышались фигуры святых. Сейчас они казались безмолвными стражами утренней тишины.

Возничий, воодушевленный вниманием слушательницы и явно возомнивший себя чичероне[279]²⁷⁷, продолжил:

— Позади нас — рыночная площадь, если понадобится что-то прикупить. А перекусить лучше всего вон там, — он указал кнутовищем в левую сторону. — Рядом с почтовой станцией — остерия[280]²⁷⁸ «Аль Постильоне». Место проверенное и вполне приличное.

Фьорелла окинула взглядом добротное строение и решила, что непременно последует совету веттурино. Из Ачерры она уехала, так и не позавтракав, а впереди ее ждала дальнейшая дорога, которую, судя по всему, предстояло проде-

²⁷⁶ Къэза-дель-Джезу́ (итал. Chiesa del Gesù) — барочная церковь иезуитов в Ноле, построенная в XVII веке на той же площади Джордано Бруно, рядом с палаццо Орсини. Посвящена Иисусу Христу, как и многие иезуитские храмы.

²⁷⁷ Чичероне (итал. cicerone, от лат. Cicerō — Цицерон) — проводник, дающий объяснения туристам при осмотре достопримечательностей. Чаще всего используется в иронично-шутливом смысле.

²⁷⁸ Остерия (итал. osteria, от итал. oste — трактирщик, кабатчик) — предприятие общественного питания в Италии без меню с ограниченным набором блюд простой региональной кухни и вином. Соотносится с понятиями «винный погребок», «кабачок» или «траттория».

лать пешком. Небольшая передышка и теплая еда пришлось бы как нельзя кстати.

Поблагодарив возничего, Фьора покинула экипаж и уже направилась было в сторону остерии, когда неожиданно ее остановил женский оклик:

— Синьорина Фьорелла, вы ли это?

Сердце у девушки ухнуло вниз. Она обернулась.

Возле роскошной герцогской кареты, стоявшей у входа в палаццо Орсини, собралась небольшая группа аристократов. Фьора не обратила на нее прежде внимания, потому как оно было приковано в основном к самому дворцу. От группы дворян отделилась дама: красивая, ухоженная, в годах, одетая с безупречным вкусом. На ней был бордовый жакет полу-полонез, служивший знати модной дорожной одеждой, теплая юбка из шелка того же цвета, темно-фиолетовая накидка, подбитая мехом куницы, и черная мантилья, наброшенная наподобие венецианского фаццоло²⁷⁹. Именно эта дама и обратилась к Фьорелле.

Ее спутники — пожилой мужчина и женщина средних лет — также обернулись, с нескрываемым вниманием разглядывая ту, которая привлекла внимание спутницы.

Фьорелла не сразу поняла, с кем именно столкнулась там, где меньше всего ожидала подобных встреч. Но уже через мгновение память услужливо сложила картину целиком. Пе-

²⁷⁹ Фаццоло (итал. fazzolo) — вид женской одежды в XVI–XVIII веках, вуаль, плащ, который венецианские женщины носили на голове.

ред ней стояла герцогиня ди Новоли с супругом, а рядом — ее приятельница, маркиза Гаргалло. Девушка видела их на суаре, устроенном последней. Это был тот самый вечер, когда по ее, Фьоры, вине вспыхнула скандальная стычка между его светлостью князем и виконтом Моразини.

Вот уж кого она меньше всего желала сейчас встретить.

На миг Фьоре захотелось сделать вид, что оклик обращен не к ней, что это всего лишь досадная ошибка. Шаг в сторону, опущенные глаза, поворот спиной — и всё обошлось бы. Но воспитание — то самое, которое родители вбивали годами, — не позволило подобной вольности. Фьорелла собралась, подошла ближе и, склонившись в безупречном реверансе, поприветствовала аристократов.

К ее удивлению, герцогиня ди Новоли кивнула в ответ с неожиданной благосклонностью — не высокомерно, не снисходительно, а с явным приветливым вниманием к ее персоне. После краткой паузы она произнесла мягко, с едва заметной улыбкой:

— *Ma chère enfant*[282]²⁸⁰, признаться, я никак не ожидала увидеть вас здесь одну, в такой дали от Неаполя. Мы с супругом, вместе с нашей приятельницей, маркизой Гаргалло, гостили во владениях принцев Орсини в Авеллино[283]²⁸¹. Признаюсь, для меня этот путь показался далеко не из самых

²⁸⁰ *Ma chère enfant* (франц.) — мое дорогое дитя.

²⁸¹ Авеллино (итал. *Avellino*) — город в итальянском регионе Кампания, административный центр одноименной провинции.

простых, — герцогиня чуть нахмурилась. — Как опекун мог позволить вам путешествовать на столь дальние расстояния в одиночестве?

Сердце Фьореллы дрогнуло и ускорило ход. Она знала, что этот вопрос прозвучит, но всё равно оказалась к нему не готова.

— Честно говоря, его светлость не в курсе моих намерений, — ответила она смущенно. — Думаю, узнай он о них, вряд ли бы позволил их осуществить.

Брови герцогини красиво изогнулись.

— И каковы же ваши намерения, позвольте узнать?

— Я совершаю паломничество в Монтеверджине.

— В одиночестве? — изумление герцогини было неподдельным. Она даже слегка подалась вперед. — Дитя мое, боюсь, мне придется взять на себя смелость и вернуть вас под крыло его светлости князя. Я не прощу себя, если узнаю, что с вами что-то случилось, а я могла это предотвратить... но прошла мимо.

От этих слов Фьореллу охватило почти паническое волнение. Внутри всё сжалось. Еще миг — и ее усадят в герцогскую карету, а после вернут под неусыпный надзор его светлости. И тогда Фьора решилась — впервые в жизни — на откровенный, продуманный обман.

— Ваша светлость, — поспешно заговорила она, — смею надеяться, что вы не станете этого делать. Во-первых, мне очень хочется осуществить задуманное. Я искренне считаю,

что подобное паломничество хотя бы раз в жизни должен совершить каждый неаполитанец.

Она перевела дыхание и продолжила, уже увереннее:

— Во-вторых, я путешествую не одна, а в компании почтенной синьоры. Вы увидели меня в одиночестве лишь потому, что она, по независящей от меня причине, немного отстала в дороге. Но, уверяю вас, эта уважаемая матрона придет в Нолу с минуты на минуту.

Фьорелла почувствовала, как слова сами складываются в стройную, почти правдоподобную легенду.

— А в-третьих... я планирую вернуться в Неаполь в ближайшие дни. Уже сегодня к вечеру мы с моей спутницей будем в Монтеверджине. Завтра во второй половине дня отправимся в обратный путь. Признаюсь честно, на месте возможных недоброжелателей я поостереглась бы связываться с синьорой Палумбо. В Неаполе не зря говорят: «С женщиной, у которой язык быстрее мыслей, а нрав острее стального клинка, даже злодеи предпочтут разойтись миром».

Она позволила себе едва заметную улыбку и добавила, вспоминая еще одну семейную шутку:

— Мой покойный батюшка любил приговаривать на сей счет: «Сердитая неаполитанка — как Везувий: сначала дымит, а потом уже и спастись поздно».

Шутка пришлась по душе герцогу ди Новоли. Он громко расхохотался, не скрывая удовольствия, и даже хлопнул пару раз в ладоши:

— Браво! Очень метко сказано.

— Аделина, дорогая, — вмешалась маркиза Гаргалло, с легкой улыбкой глядя на герцогиню, — думаю, в компании такой дамы юной синьорине и впрямь мало что может грозить. Вашему мягкому, доброму и заботливому сердцу не стоит беспокоиться о судьбе этой девушки.

Герцогиня ди Новоли задумалась. Несколько долгих мгновений она молчала, разглядывая Фьореллу испытующим взглядом, словно взвешивая все «за» и «против». Фьора уже была уверена, что ее всё же усадят в карету силой, как вдруг вмешательство герцога решило исход дела.

— *Ma Chère*[284]²⁸², — произнес он с нарочитой небрежностью, обращаясь к жене, — вы, верно, забыли, что мы обещали принцу Орсини захватить с собой в Неаполь его свежую кровь из Ачерры. Нам попросту некуда будет эту девочку посадить.

Весомый довод оказался решающим. Прощаясь с Фьореллой, герцогиня взяла с нее слово, что та будет предельно осторожна и, вернувшись в Неаполь, не откладывая дела до греческих календ[285]²⁸³, нанесет вместе со своим опекуном

²⁸² *Ma Chère* (франц.) — моя дорогая.

²⁸³ *Rimandare alle calende greche* (итал.) — буквально: откладывать до греческих календ. Выражение происходит от латинской фразы *ad Kalendas Graecas*, которую, по преданию, часто употреблял римский император Август. В греческом календаре не было «календ» — это был чисто римский термин, обозначавший первый день месяца. Поэтому «греческие календы» — это день, который никогда не наступит. Идиома означает «откладывать дело на неопределенный

и его супругой визит в палаццо ди Новоли.

Фьорелле пришлось пообещать то, чего делать вовсе не намеревалась. Раскланявшись с аристократами, она поспешила в остерию. Лишь когда тяжелая дверь за ее спиной закрылась, девушка позволила себе перевести дыхание и впервые за весь разговор почувствовала, как сильно дрожат колени.

Фьора почти бегом прошла в туалетную комнату и первым делом склонилась над умывальным тазиком. Плеснув в него холодной воды из стоявшего рядом кувшина, она мельком глянула в мутноватое зеркало над ним. Из отражения смотрела непривычно бледная девушка: зрачки были расширены от испуга, а выражение лица — сильно встревожено. Она явно еще не успела оправиться от пережитого.

Холодная вода обожгла кожу, заставив сердце биться ровнее. Фьора умылась, тщательно вымыла руки, задержалась на миг, опираясь ладонями о край таза, и лишь потом выпрямилась. Когда она вернулась в едальный зал, запахи не вызвали прежнего аппетита. Испытанное напряжение притупило голод, поэтому за завтраком девушка едва прикоснулась к пище.

Она съела лишь ломоть сладкой фокаччи с золотистой корочкой, пропитанной ароматом лимонной цедры и горького

срок» или «вообще не собираться его выполнять». В XVIII веке это выражение было широко известно в образованных и аристократических кругах Италии и Европы как намек на вечную отсрочку.

апельсина. Фьора медленно макала ее в темное, густое мосто котто[286]²⁸⁴, которое тянулось за лепешкой вязкой, почти черной нитью. В качестве питья ей подали сильно разбавленное и слегка подогретое красное вино, смягченное ложкой меда; оно согревало горло, но не пьянило, как и полагалось в дороге.

Хозяин остерии, заметив, что гостья собирается в путь, добавил к завтраку небольшую плетенку с постными таралли[287]²⁸⁵ — сухими, хрусткими крендельками с семенами фенхеля и крупинками черного перца. Недолго думая, Фьорелла вынула носовой платок, аккуратно сложила в него горсть пикантной выпечки, завязала ткань узлом и спрятала в свою бизаччу. В дороге такая снедь могла оказаться дороже золота.

Покидая остерию, она невольно замедлила шаг. Прежде чем выйти на улицу, нужно было убедиться, что герцогиня ди Новоли с супругом и подругой уже покинули город. Герцогской кареты и вправду нигде не было видно — ни у палаццо Орсини, ни в ближайших переулках.

Зато случилась иная напасть. Небо, еще недавно лишь пасмурное, вдруг затянуло тяжелым ватным одеялом из чер-

²⁸⁴ Мосто кóтто (итал. mosto cotto) — уваренное виноградное сусло, густое, темное и сладкое.

²⁸⁵ Тарáлли (итал. taralli, множ. ч. от tarallo) — хлебобулочное изделие итальянской кухни, схожее с сушками или бубликами. Распространено в южной половине Италии в регионах Апулия, Калабрия, Кампания, Сицилия, Лацио, Молизе, Базиликата.

ных туч, и они обрушились на землю мелким, въедливым, морозящим дождем, от которого одежда быстро отсыревала, а камни мостовой начинали скользить под ногами.

Фьорелла сразу поняла, что одна лишь мантилла с капюшоном в такую погоду не спасет. Поплотнее запахнув полы накидки, она свернула к рыночной площади и зашла в модные лавки, тянувшиеся вдоль рядов. Там, после недолгих раздумий, девушка прикупила каппелло-алла-калаш[288]²⁸⁶ — складной дорожный капор на жестком каркасе, недавно вошедший в моду при неаполитанском дворе. Он выглядел довольно забавно, но обещал уберечь голову от дождя и ветра.

В торговых рядах Фьора прикупила также небольшой букетик искусственных фиалок из воска, фиолетового шелка и зеленой бумаги, нанизанных на медную проволоку так искусно, что казались совершенно живыми. Такие букетики поздней осенью и зимой паломники подносили Мамме Скъявоне.

На выходе с шумной Пьяцца-Меркато взгляд Фьореллы зацепился за благородный блеск на прилавке медника. Это

²⁸⁶ Каппелло-алла-калаш, калаш-боннэт (итал. *cappello alla calèche*, англ. *calash bonnet*, франц. *calèche*; в русских источниках — кибитка) — женский головной убор, бытовавший с последней трети XVIII века до начала XX века. Представлял собой складной капор на жестком каркасе, предназначенный для защиты высокой и сложной прически от ветра и дождя без ее деформации. Название восходит к франц. *calèche* — карета, кибитка, по сходству формы с разложенным кузовом экипажа. Убор получил распространение в Англии, Франции, Италии и затем в других странах Европы.

была боррачча[289]²⁸⁷ из полированного олова — надежная, увесистая и удобная вещь, подобающая любому паломнику, идущему долгой дорогой к святыне. Округлая, слегка сплюснутая форма приятно ложилась в ладонь. Кожаный ремешок через плечо и плотно пригнанная дубовая пробка выдавали дорогую, добротную работу. Не раздумывая долго, Фьора расплатилась за нее и тут же, на площади, подошла к небольшой фонтанелле[290]²⁸⁸, чтобы наполнить фляжку холодной питьевой водой.

Она еще не успела отойти, как рядом возник щуплый паренек лет тринадцати или четырнадцати, в короткой куртке, промокшей от дождя. С плутоватой улыбкой он поклонился и заговорил:

— Не желает ли синьорина доехать до Баяно[291]²⁸⁹ на моем ослике?

Фьорелла остановилась, окидывая его внимательным взглядом. Парнишка, заметив колебание, поспешил продолжить:

— Я ведь правильно понимаю: вы в Сантуарио ди Монтеверджине идете?

²⁸⁷ Борра́чча (итал. *borraccia*) — плоская фляжка, походная фляжка.

²⁸⁸ Фонтане́лла (итал. *fontanella*, от лат. *fons* — источник) — общественное сооружение с проточной водой из акведуков или родников, где паломники и горожане пили прямо из чаши или набирали воду в сосуды вроде *borraccia*. Питьевой фонтан.

²⁸⁹ Бая́но (итал. *Baiano*) — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, подчиняется административному центру Авеллино.

Фьора молча кивнула.

— Пешком туда из Нолы часов семь, а то и восемь топать, — сказал он, разводя руками. — Поберегите свои ножи. Доедете до Баяно на моем ослике — это минус два часа пути. В горах, конечно, пешим ходом придется идти, а пока есть возможность проехаться верхом... — он усмехнулся. — Я бы на вашем месте не отказывался. Всего двадцать пять гра-но — и никаких забот.

Фьорелла задумалась, подняла глаза к низкому, свинцовому небу, которое не сулило скорого прояснения, и наконец кивнула.

Ослик оказался впряженным в небольшую тележку, в которой стояли фиаски[292]²⁹⁰ с вином и корзины с забитой на продажу домашней птицей. С помощью паренька Фьора взобралась на седло, притороченное на спине брыкливого животного. Почувствовав на себе седока, осел фыркнул и переступил с ноги на ногу. Погонщик взял поводок, и таким манером, под мелким дождем они покинули шумную рыночную площадь и направились в сторону Баяно, которое приближало Фьореллу к цели паломничества.

Когда они покинули город, взгляд девушки примагнитился к ломанным контурам черных гор на горизонте, что дерганным зигзагом расчерчивали гнетущее осеннее небо. Эти

²⁹⁰ Фи́аски (итал. *fiaschi*, множ. ч. от *fiasco*) — бутыль традиционного итальянского стиля. Обычно с круглым корпусом, частично или полностью покрытым плетеной соломенной корзинкой.

горы были сплошь покрыты каменными дубами, которые в летнюю пору дарят каждому страннику желанную и так ценимую Вергилием[293]²⁹¹ *frigus opacum*[294]²⁹².

Сейчас же они выглядели не столь притягательно. Их темно-зеленая листва, словно обожженная холодным дыханием гор, теперь побурела, в ней всё чаще проглядывали темные, искривленные, узловатые ветви. И именно под кронами этих недобрых великанов Фьорелле вскорости предстоял не один час пути.

Ослик постукивал копытами по брусчатке, и этот однообразный звук странным образом успокаивал Фьюру. Под мерное цоканье и тряску тележки тревожные мысли, связанные с недавней нежеланной встречей, постепенно выветрились из головы девушки. Фьорелла огляделась.

Они двигались по равнинной части Терра-ди-Лаворо, постепенно поднимаясь от пологих холмов к суровым предгорьям Апеннин. Это была земля пастухов, и потому то тут, то там на склонах и в низинах виднелись стада коз и овец — светлые пятна на темной, каменистой почве.

Склоны вокруг, испещренные глубокими трещинами, словно морщины на лице древнего божества, были покрыты скудной, но упрямо живучей растительностью. Летом здесь, среди выжженных солнцем гор, поднимаются дикие травы: горький тимьян, душистый розмарин, полынь с ее резким,

²⁹¹ Публий Вергилий Марон (70 г. до н. э. — 19 г. до н. э.) — римский поэт.

²⁹² *Frigus opacum* (лат.) — прохладная тень.

терпким запахом, дикий шалфей и майоран. Эти травы составляют основу рациона коз и овец, чьи тонкие, жилистые ноги с удивительной ловкостью находят опору на каждом выступе и камне.

Их молоко, впитавшее в себя горьковатый вкус земли, солнца и ветра, становится простым, но сытным сыром — твердым, соленым, с узнаваемым привкусом здешней растительности.

Таковыми же, как и он, были и сами пастухи. Крепкие, выносливые, вскормленные соками этой суровой земли и медом полевых цветов, они были ее детьми, а она — их единственной кормилицей, строгой и щедрой одновременно: той, что не балует, но никогда не оставляет без куска хлеба того, кто умеет не покладая рук трудиться.

То здесь, то там встречались маленькие деревеньки, разбросанные на изломанных склонах холмов. Кое-где белели церквушки, либо высились монастырские стены, окруженные мягкой сероватой зеленью оливковых рощ. Встречавшиеся у дороги казоне[295]²⁹³ по преимуществу были небольшими сыроварнями.

Паренек, шагавший рядом с осликом, вполголоса бубнил себе под нос обрывки песен — то пастушьих, то городских, перемежая слова бессмысленным мычанием. Его негромкое, однообразное бормотание грело слух, и Фьора ловила себя на том, что улыбается.

²⁹³ Казоне (итал. casónе) — сельский дом с соломенной крышей.

В разговоры провожатый не пускался, вопросов не задавал, и за это она была ему искренне благодарна. Фьорелла привыкла быть вещью в себе: чужое, непрощенное внимание быстро утомляло ее и заставляло держаться настороже.

Дорога вскоре показала свой норов. После недавних проливных дождей мощный тракт местами просел и был изрыт глубокими колеями. Кое-где он и вовсе превратился в разлившееся чикотто[296]²⁹⁴. Там, где вода смыла камни и обнажила вязкую глину, приходилось съезжать на обочину. Ослик осторожно переставлял копыта, а тележку с бутылками и корзинами трясло так, что пару раз парнишка подбирал с земли вывалившиеся тушки птиц. Колеса скрипели, грязь чавкала под ними, но, несмотря на все неудобства, время летело незаметно — мерный шаг животного и морсящий дождь убаюкивали.

На подступах к Баяно, у самой границы между Терра-ди-Лаворо и Принчипато Ультра[297]²⁹⁵, путь им преградила баронская застава[298]²⁹⁶. Невысокий шлагбаум, сторож-

²⁹⁴ Чикотто (неап. 'O ciccotto) — густая каша из тонко помолотой пшеницы, кукурузной муки, а также из измельченных бобовых (нута и чечевицы). Бывали как соленые, так и подслащенные версии с изюмом и апельсиновой цедрой.

²⁹⁵ Тэрра-ди-Лаворо (итал. Terra di Lavoro — Земля труда) и Принчипато Ультра (итал. Principato Ultra — княжество Ультра) — провинции Королевства Неаполя: первая охватывала плодородные низины к северу от столицы, вторая — горные земли Ирпинии. Их граница проходила в районе города Баяно (итал. Baiano) и долины реки Лауро (итал. Lauro).

²⁹⁶ Баронская застава — в XVIII веке в Неаполитанском королевстве многие дороги находились под контролем местных феодалов, которые имели право взи-

ка с навесом и несколько вооруженных людей — типичный пункт сбора педаджо, дорожной пошлины за пользование мощеным трактом и вход в горную зону. Таможенники осматривали повозки, проверяли мешки и корзины, прикидывая взглядом, с кого и сколько можно взять. Фьора без лишних слов отсчитала восемь грано — за себя, паренька и ослика. Взамен выдали грубую бумажную квитанцию с печатью, которую следовало беречь: без нее на следующей заставе могли не только оштрафовать, но и задержать.

Объезжая Баяно по краю, они несколько раз столкнулись с наемниками из швейцарской гвардии, состоявшими на службе у местного барона. Швейцарцы были легко узнаваемы по их классическим длиннополым алым мундирам с контрастными синими лацканами, густо украшенными белой тесьмой, и черным треуголкам с кокардой. Фьорелла видела таких в Неаполе и знала им цену. Высокие, широкоплечие, с одинаково спокойными, холодными лицами, они держались уверенно и замкнуто. Эти солдаты внушали страх и неаполитанскому войску, и простому люду. Хорошо обученные, спаянные жесткой дисциплиной, они не были связаны ни родством, ни местными привычками. Их считали чужаками, иноземцами, и потому не любили — но именно поэтому с ними редко решались спорить. Фьора, встречаясь с ними взглядами, всегда опускала глаза.

У границ земель аббатства Монтеверджине девушка рас-

прощалась с парнишкой. Тот ловко запрыгнул на ослика, пожелал ей счастливого пути и, не мешкая, направил животное собственно в Баяно.

Дальше Фьорелле предстояло идти пешком. На землях обители Монтеверджине привычный сбор дорожных пошлин принимал иной облик: вместо баронского педаджо взимали обязательный вклад на содержание крутого, изматывающего подъема. С каждого пешего паломника брали по одному грано.

Сунув монету сборщику, Фьорелла надела поверх туфелек галоше и ступила на каменистую тропу, именуемую Виа Сакре — Священный путь. Дорога сразу пошла вверх, сузившись и оголив свой суровый характер. Это была не дорога даже, а тропка шага в два, иногда в три шириною, весьма извилистая, бугристая и огороженная с обеих сторон низенькой каменной кладкой.

Фьора находилась у подножия горной гряды, столь впечатляюще красивой, столь пронизанной традициями и романтикой, что сердце ее, как и сердце любого паломника, должно было взволнованно трепетать от предчувствия встречи с Мадонной ди Монтеверджине. Однако оно упорно молчало. Фьорелле казалось, что из-за всех своих бед оно разучилось чувствовать поэтику подобных мест. Девушка глубже втянула воздух, плотнее запахнула мантилу и двинулась навстречу испытанию, ради которого и пустилась в этот путь.

Моросящий дождь не прекращался. Казалось, мастерские небесной гвоздарни[299]²⁹⁷, пригвоздили огромную тучу над этой местностью навечно, ибо она, кажется вовсе не собиралась двигаться с места, зависнув тут и поливая все окрестности противным холодным дождем.

Мантелла и верхняя юбка намокли и потяжелели. На плечи и спину заметно давило. Идти в гору было непросто.

Эти места казались Фьорелле безлюдными, однако вскоре на дороге встретилась полуразвалившаяся хижина. Ее стены были увешаны фестонами пожухлого плюща и дикого винограда, а у входа, под низким навесом, сидела исхудавшая женщина с неприятным, изможденным лицом. На коленях она держала грязного ребенка в таком же рваном тряпье и медленно, сосредоточенно перебирала его спутанные, будто никогда не знавшие гребня грязные волосы, выискивая и давя многочисленную живность.

Чуть выше по дороге показались развалины какого-то строения, по очертаниям напоминавшего монастырь. Его потемневшие стены обрамляли густые, одичавшие заросли кустарника. Пожухлая сорная растительность, пробиваясь сквозь медово-золотистую каменную кладку надгробий, стекала с крыш и карнизов, словно природа постепенно возвращала себе то, что когда-то было отнято у нее человеком.

Осенний ветер едва шевелил ветви и сухие стебли, и в этом безмолвии слышался лишь тихий, печальный шепот по-

²⁹⁷ Гвоздарня — мастерская по выделке гвоздей.

буревшей листвы, по которой негромко постукивали мелкие дождевые капли. Тишина была столь глубокой, что разлился легкий, скользящий шелест стенных ящериц, еще не ушедших в спячку, торопливых и пугливых, беспрестанно снующих по холодным камням развалин.

Спустя час — а может, и чуть больше — в глубине леса, на небольшой поляне, стиснутой плотным сплетением стволов и ветвей, Фьорелла неожиданно наткнулась на двух дровосеков. Вокруг них, точно крепостные стены, возвышались аккуратно сложенные штабеля хвороста. Воздух был густо пропитан терпким, свежим ароматом смолы и только что срубленной древесины.

У обочины лесной дороги весело потрескивал костер, выбрасывая в серое небо тонкие, почти невидимые струйки дыма. Высокие, крепкие, загорелые мужчины с натугой навьючивали охапки веток на спины мулов. Время от времени по округе разносился мелодичный перезвон колокольчиков, прикрепленных к упряжи. Животные вздрагивали от внезапных шорохов, скидывали головы, и тогда начинали перекликаться обережные медные амулеты — блестящие пластинки, подвески и бубенчики, призванные отгонять злых духов. Сталкиваясь, они рождали чистую, удивительно живую мелодию, внося в суровую рабочую тишину леса странную, почти радостную ноту.

На следующей поляне, под сенью пышно разросшейся лещины, Фьорелла заметила камышовый шалаш, вокруг ко-

торого в траве спали овцы. Из него почти сразу выбрался пастух — бледный, истощенный, больше похожий на тень ооска[300]²⁹⁸, оплакивающего разоренные могилы своего народа. Он нахмурил густые брови и отрывисто бросил:

— Подай милостыню.

Глядя на его суровое лицо и суковатую дубину в руке, Фьорелла не смогла понять, была ли это просьба или скрытая угроза. Она не стала искушать судьбу, сунула руку в бичаччу и протянула ему узелок с таралли. «Спасибо» пастуха заменило жалобное блеяние овец.

Спустя еще час тропа вывела ее к ложине. Крутые склоны оврага были устланы коричневым ковром опавших листьев, сквозь который проступали набухшие почки вечнозеленого кустарника. По дну бежал быстрый, холодный поток, и через него был перекинут низкий каменный мост, потемневший от времени и сырости. Здесь дорога расходилась.

Одна ее ветвь, узкая и бугристая, поднималась к лесной поляне, где среди пожухлой травы прятались бледно-розовые цикламены, а кое-где, словно забытые весной, раскрывались лиловые чаши поздних крокусов. Меж камней тянулись темные кусты можжевельника, а земляничное дерево всё еще удерживало на ветвях красные плоды. Другая дорога — шире, лучше утоптанная — слегка спускалась вниз и терялась в глубокой тени леса. Ее-то Фьорелла и выбрала.

²⁹⁸ Ооски (лат. Osci) — древние италийские племена, обитавшие в южной и части средней Италии с конца второго тысячелетия до н. э.

На этом отрезке пути к девушке прибилась немолодая женщина — блеклая, словно выцветшая, с погасшим взглядом. Существо странное и бессловесное. За всё время, что шла рядом, та не проронила ни слова. Фьорелла так и не поняла, откуда незнакомка взялась и в какой миг оказалась поблизости. Просто вдруг стала рядом идти по дороге — не отставая и не забегая вперед. Лишь изредка она бросала косые, скользящие взгляды, и, если Фьорелла в момент утоления жажды из фляжки украдкой ловила их, незнакомка едва заметно улыбалась. Эта улыбка, впрочем, ничуть не украшала невзрачное, лишенное выражения лицо, а скорее делала его еще более странным и загадочным.

Рядом с молчаливой спутницей Фьора, должно быть, прошла еще около часа. Дождь постепенно стих, но пронизывающая сырость по-прежнему висела в воздухе, липла к коже и пробирала до костей. Фьорелла размышляла, где удастся обсушить юбку и мантилу, когда вдруг заметила, что снова идет одна. Незнакомка исчезла так же внезапно, как и появилась.

Фьора остановилась и обернулась. Пустая дорога тянулась назад, теряясь между темных стволов. Ей даже пришла в голову нелепая мысль: а была ли та женщина на самом деле? Может, сумеречный лес умеет насыщать бестелесные видения, рожденные усталостью и сыростью?

От этой мысли по телу пробежала волна колкого холода. Впрочем, возможно, это был всего лишь порыв ветра,

скользнувший по промокшей до нитки спине. Уже смеркалось, и в темном лесу стало особенно неуютно, тревожно и глухо. Фьорелла невольно прибавила шаг.

Тропа, уходившая вглубь густого, сомкнутого леса, словно была придумана для разбоя. Всё в ней благоволило дурному ремеслу: теснота, крутые изгибы, низко нависшие ветви, влажная земля, заглушающая шаги. Здесь легко было подстеречь одинокого путника. Сладким утешением могла стать эта дорога для мужчин из близлежащих деревень — тех, в ком дух авантюризма, жажда легкой наживы и крови давно уже плещутся через край.

То ли Фьора оказалась права в своих мрачных предположениях, то ли сама их сила призвала беду, но очень скоро на развилке ей преградил путь молодой мужчина. Фьорелла не поняла, откуда он взялся: вышел ли из-за ближайшего дерева или попросту свалился с неба, как внезапная божья кара.

Лицо у него было смуглое, ничуть не истощенное. Черные, блестящие, кудрявые волосы плотной шапкой облегли голову. Короткая, густая борода курчавилась так же, как и волосы. Маленькие, пронзительные глаза смотрели внимательно и холодно. Всё это могло бы принадлежать вполне безобидному горожанину. Настораживала лишь одежда — и то, как незнакомец ее носил.

Коричневая плисовая куртка, щедро усыпанная серебряными пуговицами, была наброшена поверх сорочки, распахнутой на груди. Из разреза воротника виднелась широкая,

темная, мохнатая грудь. Короткая, дюжая шея была небрежно перехвачена красным шелковым платком. Синие суконные штаны, доходившие до колен, стягивал широкий алый пояс. Икры, туго обмотанные выбеленной холстиной, были тщательно перевязаны шнурками. На ступнях — грубые кожаные обутки, похожие на те, что в северных землях зовут чоче[301]²⁹⁹. Такие обычно носят все горцы. На плечи был накинут длинный, изрядно поношенный плащ кирпичного цвета, потемневший от дождей и времени.

Завершал этот наряд остроконечный широкий головной убор, обвитый цветными шелковыми лентами, теперь промокшими и смешно повисшими вдоль тульи. За поясом торчал нож. В руке незнакомец держал длинный фучиле[302]³⁰⁰ — легкое кремневое ружье местной работы, без штыка, привычное для горных дорог Кампании. Он опирался на него так спокойно, словно это был всего лишь пастуший посох.

Фьорелле стало жутковато, но девушка тут же одернула себя. Может, она и глупая овца — зато теперь овца бесстрашная. Бояться ей больше было нечего: всё самое страшное в жизни уже произошло. Собрав остатки храбрости в дрожа-

²⁹⁹ Чоче (итал. ciocie) — традиционная обувь горных жителей Центральной и Южной Италии XVIII–XIX веков: кожаная подошва, закрепленная на ноге длинными ремнями или обмотками, перекрещивающимися на голени.

³⁰⁰ Фучиле (итал. fucile) — в Неаполитанском королевстве XVIII века общее название гладкоствольного кремневого ружья, часто оснащенного надежным замком типа «микелет» (итал. miguelet), широко применявшегося как армией, так и горными стражниками.

щий комок, Фьора осмелилась спросить у мужчины, как с этой развилки выйти на нужную дорогу.

Мужчина с минуту молчал, разглядывая ее с ног до головы — неторопливо, оценивающе, словно товар на рынке. Потом всё-таки указал направление и протянул к ней свободную руку ладонью вверх. За вознаграждением?

Нахмуренная бровь и небрежно удерживаемое ружье делали эту его «покорнейшую» просьбу весьма подозрительной. Фьорелла решила не искушать ни судьбу, ни его честность видом кошелька. Однако незнакомец не тронулся с места и всё так же терпеливо и настойчиво удерживал протянутую ладонь.

Ей не оставалось ничего другого. С замиранием сердца она сняла с безымянного пальца золотое кольцо, надетое его светлостью князем, и вложила его в мозолистую ладонь.

Получив плату за услугу, которая явно того не стоила, мужчина мгновенно переменялся в лице. Он усмехнулся, подбросил кольцо на ладони и сунул его в карман штанов.

Фьорелла выдохнула и поспешила по указанной дороге. Но почти сразу вновь напряглась: за спиной раздался шорох шагов. Она ускорила шаг. Шаги ускорились тоже. Тогда Фьорелла, охваченная паникой, бросилась бежать.

Мужчина с легкостью догнал ее и вновь заступил дорогу. Фьору с головы до ног накрыла волна холодных, кусачих мурашек.

— Не стоит меня бояться, красавица, — проговорил он

почти ласково. — Твоя плата была щедра, потому я решил проводить тебя. Не дело такой красотке шляться по здешним горным дорогам одной. Я не разбойник — всего лишь кампиере[303]³⁰¹. А ты... — он прищурился и усмехнулся, — ты еще успеешь стать мильо[304]³⁰² для прожорливых червей.

Фьорелла подумала: «Похоже, выбора мне не предоставят». Она ничего не ответила мужчине, лишь кивнула согласно.

Они шли рядом по узкой лесной дороге, и провожатый не спешил заговаривать. Он лишь изредка косился на нее, кривя губы в странной, трудно читаемой улыбке.

Поначалу Фьора держалась настороженно, вслушиваясь в каждый шорох и ожидая подвоха. Но шаги мужчины были уверенными, ровными, и со временем тревога начала отступать, уступая место усталому спокойствию.

Когда же лес окончательно сгустился, и сумерки стали почти осязаемыми, Фьора вдруг подумала, что этого молчали-

³⁰¹ Кампи́ере (итал. *campiere*) — сельский стражник в Неаполитанском королевстве XVIII века; наемный охранник земель, дорог и пастбищ, состоявший на службе у феодалов, монастырей или коммун. Кампиере нередко действовали в горных районах, сопровождали путников и караваны, боролись с контрабандой и разбоем

³⁰² Успеешь еще стать мильо для прожорливых червей (неап. *fa magna 'o miglio 'e ll'vermi famosi*) — неаполитанское просторечное выражение, означающее «умереть». Образ восходит к представлению о теле покойного как о пище для червей и падальщиков; мильо (неап. *miglio*) — пшенная каша, традиционно связанная с похоронными трапезами и поминальными обрядами в Южной Италии.

вого человека послала ей в спутники сама Мадонна. Лучшего защитника и охранника и придумать было бы трудно.

Спустя около полутора часов пути деревья расступились, и перед ними возникло двухэтажное каменное строение с потемневшими от времени стенами и вывеской «Оспицио-дель-Пеллегрини»[305]³⁰³ — «Приют Паломников». Это место предназначалось для тех, кто приходил к санктуарию поздно вечером и нуждался в ночлеге, простой пище и заботе, которую бенедиктинские монахи почитали своей обязанностью.

Провожатый завел девушку внутрь. В полумраке коридора его голос гулко разнесся под сводами:

— Падре Джованни, принимай новую постоялицу.

На зов вышел пожилой, полный монах в темном облачении бенедиктинца, и Фьорелла улыбнулась ему, а затем обернулась к своему спутнику, желая поблагодарить за оказанную помощь, но встретила протянутую ладонь, на которой лежало ее собственное кольцо.

— Вот, возьми обратно, — сказал он тихо. — И запомни: то, что надето на безымянный палец с любовью, должно быть снято лишь костлявой невестой вечности с косой.

Фьорелла улыбнулась, взяла золотой ободок, вернула его себе на палец и произнесла:

— Спасибо вам за всё.

³⁰³ Ospizio del Pellegrini (итал.). [Ospizio (итал.) — богадельня; приют; убежище].

Мужчина хмыкнул и, уже уходя, бросил через плечо:

— Пусть Мамма Скьявона ответит на все твои вопросы и исполнит желания. Удачи, красавица! Будь счастлива — и почаще улыбайся: улыбка очень красит твое и без того безупречное лицо.

С этими словами он развернулся и скрылся за дверью, словно растворился во тьме, оставив после себя ощущение странной, почти божественной защиты.

Когда Фьорелла осталась наедине с пожилым бенедиктинцем, падре Джованни повел ее по узкому коридору, где каменные стены дышали холодом и вековой сыростью. Он остановился у низкой двери. Комнатка за ней напоминала скорее скромную келью, чем приют для мирян: узкая кровать с соломенным тюфяком без простыни, две простые тумбочки, лишённые малейшего намека на украшение.

На одной, у изголовья, стоял грубый керамический подсвечник на одну свечу, на другой — тазик для умывания и пузатый кувшин с водой, от которого тянуло холодом. В углу стыдливо темнело керамическое кантаро для справления нужды.

Осмотрев Фьореллу с участливым вниманием и заметив, как с подола и рукавов ее одежды капает вода, монах мягко предложил просушить вещи у очага внизу. Фьора с готовностью кивнула — мысль о тепле была так же сладка, как глоток горячего молока с медом после долгой зимней дороги. Падре Джованни удалился, и почти сразу дверь вновь тихо

отворилась.

В комнату вошла пожилая монахиня, сухощавая, с усталым, но добрым лицом. Она коротко кивнула и произнесла без лишних слов:

— Сними мокрое, дитя, а то простудишься.

Фьорелла послушно избавилась от промокших до нитки одежд, выворачиваясь из них, словно змея из старой кожи. Холодный каменный пол обжег босые ступни, влажная камиза липла к телу.

Монахиня молча собрала мокрые вещи и вскоре вернулась с сухим одеянием. Фьоре была предложена простая туника из плотной, некрашеной шерсти серовато-коричневого цвета длиной до щиколоток с длинными рукавами и узким поясом из грубой бечевы. Поверх нее Фьорелла надела короткую черную накидку — скапулярий, сшитый из того же сукна, без капюшона. Она набросила его на плечи и сколола шпилькой на груди. Затем ей дали толстые шерстяные чулки до колен и простые кожаные сабо с деревянной подошвой, внутри выстланные соломой, пахнувшей теплым летом. На голову девушка повязала скромный черный платок. Это облачение не делало ее монахиней, но словно подчеркивало смирение и защищало от ледящего дыхания каменных стен.

— Меня зовут суорой Марией, — представилась женщина и жестом пригласила Фьореллу следовать за собой. — Пойдем, дитя, в трапезную. Ты, должно быть, голодна.

Фьора с благодарной поспешностью согласилась. В общей трапезной было тепло и шумно: тихие голоса, звон ложек, запахи пищи, от которых кружилась голова. В компании других постояльцев Фьорелла с истинным удовольствием съела с монастырским хлебом тарелку горячей чечевичной похлебки, густой, обжигающей и пахнувшей чесноком, затем вареные каштаны с баккалой[306]³⁰⁴, соленой и сытной, и в завершение трапезы получила кружку горячего вино-котто[307]³⁰⁵. Лишь сделав первый глоток, Фьорелла почувствовала, как тепло разливается по телу, прогоняя усталость и страх; а после второго — поняла, что наконец-то по-настоящему согрелась и может, наконец, расправить плечи свободно.

Когда Фьора вернулась в комнату-келью, суора Мария принесла теплое одеяло, туго набитое овечьей шерстью. День, проведенный на свежем воздухе, и почти пять часов спорого подъема в гору сделали свое дело: тело отозвалось тяжелой, сладкой усталостью. Фьорелла уснула почти сразу и спала до самого утра — крепко, глубоко, без пробуждений и без сновидений, словно сама Мамма Скьявона береж-

³⁰⁴ Баккалá (итал. *baccalà*) — вяленая треска, один из самых распространенных постных продуктов в Италии. В XVIII веке ее обычно долго вымачивали в воде, чтобы удалить излишнюю соль, после чего тушили с оливковым маслом, оливками и каперсами либо подавали в отварном виде, приправив лишь маслом и травами.

³⁰⁵ Вино-кóтто (итал. *vino cotto* — вареное вино) — горячее вино с добавлением меда, корицы, гвоздики и цитрусовых корок.

но укрыва еѣ ото всехъ тревогъ.

Глава 9

Утром, торопливо позавтракав и переодевшись в высохшую за ночь одежду, Фьорелла поблагодарила суору Марию и падре Джованни за заботу и приют и, оставив горстку серебряных монет на содержание гостевого дома, поспешила к монастырской базилике.

Прежде чем приблизиться к святыне, каждый паломник должен был исповедаться и принять участие в общей мессе — очистить душу и подготовиться к встрече духовно. Без этого путь к иконе считался неполным, а многие и вовсе были убеждены, что лишь так можно надеяться на полноту благодатей, исходящих от Черной Мадонны.

Выйдя на улицу, Фьорелла остановилась и огляделась. С вершины горы открывался вид, от которого перехватывало дыхание. Воздух здесь был необычайно чист и прозрачен. Внизу лежала долина Сабато[308]³⁰⁶ — раскрытая, как книга, на страницах которой уже всю властвовала осень: поля опустели после жатвы, виноградники потемнели, и лишь редкие струйки дыма поднимались над селениями, прижавшимися к дороге и изгибам реки.

Авеллино отсюда казался небольшим и сдержанным: тес-

³⁰⁶ Сабато (итал. Sabato) — река на юге Италии, протекающая в провинциях Авеллино и Беневенто (на протяжении 15 км) в регионе Кампания. Это левый приток реки Калорэ Ирпино.

ные крыши, башня собора, узкие улицы, где движение угадывалось скорее по воображению, чем по взгляду. За долиной холмы Кампании тянулись цепью, один за другим, бледнея и теряя очертания, пока не растворялись в холодной, дымчатой синеве.

Вокруг плато горы стояли почти обнаженные: буковые леса лишились листвы, и среди серых скал темнели лишь вечнозеленые пятна можжевельника и дрока. Ветер приносил запах сырой земли и далекого дыма. Во всем этом было что-то строгое и сдержанное, словно сама гора требовала от пришедших не слов, а тишины и внутреннего созерцания.

Глядя вниз, Фьорелла ясно ощущала границу между двумя мирами. Там, внизу, оставались суета и бесконечные заботы повседневной жизни. Здесь же были камень, небо и молитва. И именно тут, на этом высоком плато, особенно легко было поверить, что Мадонна услышит каждого, кто пришел к Ней пешком и с открытым сердцем.

У входа в базилику девушку встретило пестрое и пугающее скопище нищих: калек, прокаженных, тех, кто лишился руки или ноги, принеся жертву отечеству, которое стало для них скорее суровой мачехой, чем доброй матерью. Всё это напоминало кочующую Оспедале-дельи-Инкурабили[309]³⁰⁷, вынесенную за городские стены и по странной во-

³⁰⁷ Оспедале дельи Инкурабили (итал. L'ospedale degli incurabili — Больница для неизлечимых) — старинный больничный комплекс в центре Неаполя (Италия). Основан в 1521 году Марией Лоренцой Лонго после того, как ее парализовала болезнь.

ле судьбы собранную здесь, у самых святых врат.

Все они дрожали, словно лихорадочные больные, кутались в бурые, грязные лохмотья, из которых давно ушло не только тепло, но и сама память о человеческом достоинстве. Здесь были слепцы, люди без возраста, монотонно раскачивавшиеся взад и вперед, как маятники, потерявшие меру времени. Были голодные дети в разодранной одежде: сквозь прорехи тряпья проступали исхудавшие, болезненно бледные тела, слишком хрупкие для жизни и слишком живые для смерти.

Косматые старухи в поношенных, когда-то бывших домашними, халатах тянули вперед руки, иссушенные бедностью и прожитыми годами. Они были так сторблены, будто само Время навалилось на их плечи всей своей тяжестью, придав им сходство с существами, восставшими из ада.

Все вместе эти люди, которых и людьми-то было неверно назвать, образовывали не толпу даже, а одно странное, фантасмагоричное и почти бесформенное существо — тело без очертаний, говорившее множеством ртов, разными голосами, но выкрикивавшее хором одно-единственное слово:

— Подай!

Стоило проявить малейшее сострадание к одному из убогих, как в ту же секунду вокруг смыкался целый лазарет калек и страдалцев. Их жалобные причитания, сливаясь в протяжное, заунывное песнопение, заставляли даже самых милосердных ускорять шаг, вжимать голову в плечи и отво-

дить взгляд, лишь бы не соприкоснуться с этой чудовищной изнанкой жизни.

Но самым поразительным было другое. Слепцы, казалось, обладали особым, почти звериным чутьем: они безошибочно различали стук копыт мула, несущего на спине богатого англичанина, и тотчас оживлялись, прося у него милостыню, тогда как простого монаха, ехавшего на таком же муле, пропускали молча, не повернув даже головы. Безногий калека мог долго и настойчиво преследовать роскошно одетую пару, демонстрируя не столько чудеса ловкости, сколько безжалостный опыт нищеты — ту суровую науку, которой жизнь обучила куда лучше, чем любой импресарио — актеров театра.

Тяжелые ворота церкви поддались Фьорелле с протяжным, почти живым вздохом, будто сама базилика неохотно впускала прихожанку под свои своды. Девушка шагнула из хмурого ноябрьского утра в торжественную полутьму Санктуария ди Монтеверджине. За спиной остались сырой ветер, запах мокрого камня и долгий, сложный путь. Здесь же воздух был иным — густым, теплым, насыщенным ароматами ладана, старого дерева и воска сотен горящих свечей. Он обволакивал, успокаивал, заставлял дышать медленнее и тише.

Справа, у самого входа, белели мраморные аквасантьеры. Их чаши казались прохладными даже на взгляд. Фьорелла опустила пальцы в освященную воду. Холод мгновенно пронзил кожу. Она коснулась лба, груди, плечей, затем, сле-

дую древнему и почти забытому паломническому обычаю, омыла лицо и кисти рук — не спеша, с благоговейной осторожностью, будто смывая с себя не только дорожную пыль, но и усталость, страхи, суету мира, из которого она сюда пришла.

Под сводами висел привычный церковный гул — не шум, а ровное смешение множества негромких голосов. Вдоль стены выстроилась чередой резных дубовых конфессионалов[310]³⁰⁸, завешанных темным бархатом. Их силуэты напоминали кельи в теле храма. В затемненных нишах, скрытые за ажурными решетками, священники несли свою тихую службу. Там шептались, вздыхали, плакали, каялись.

Очередь двигалась мучительно медленно. Фьорелла встала за парнем, по виду ее ровесником. У него был видимый глазу постороннего нервный тик. Его щека постоянно подрагивала, доставляя молодому человеку мучительный дискомфорт. Пожилой мужчина, стоящий рядом с ним, должно быть, его отец сжимал в руках гагатовый розарий; губы его беззвучно шевелились, повторяя одни и те же слова.

Звуки всхлипываний, скрип дерева, приглушенный шепот кающихся сливались в единый, тягучий стон человеческих душ, жаждущих прощения.

И вдруг — перемена. Почти физическая. По рядам палом-

³⁰⁸ Конфессиона́л (итал. *confessionale*, лат. *sedes confessionalis*) — исповедальня, место, отведенное для исповеди в Римско-католической церкви и некоторых англиканских церквях.

ников прошелся едва уловимый трепет, словно кто-то бросил камень в стоячую воду. Из бокового притвора показался аббат. Он был очень стар — настолько, что возраст отразился в согбленных плечах и заметном горбе на спине. Лицо, строгое и почти неподвижное, было испещрено глубокими морщинами, как древняя карта жизненных дорог. Белое бенедиктинское облачение подчеркивало аскетичную бледность кожи.

Обычно делами базилики заправлял приор[311]³⁰⁹, и сейчас он сидел в одном из конфессионалов, но сегодня по какой-то неведомой причине сам настоятель обители вышел к пастве.

На груди аббата покоился простой крест без каких-либо украшательств. Его глаза казались спокойными серебряными озерами, в которых отражалась не суэта этого мира, а нечто иное, вневременное, внепространственное, вечное.

Он медленно шел вдоль исповедален, останавливаясь, вглядываясь в лица паломников так, словно читал их без слов. Не с любопытством — с распознаванием. Поравнявшись с Фьореллой, которая теперь была лишь третьей в очереди, он вдруг замер. Его взгляд, задержавшись на ней дольше, чем на других, стал цепким и проницательным. В нем не было праздного интереса — лишь сосредоточенное внима-

³⁰⁹ Приор (от лат. *prior* — первый; старший) — в католицизме титул настоятеля небольшого мужского католического монастыря или старшего после аббата-настоятеля члена монашеской общины (первого помощника аббата).

ние, будто он прислушивался к тихому голосу внутри себя, слышимому только ему.

Фьорелла почувствовала, как внутри всё сжалось. Сердце подкатило к самому горлу, дыхание сбилось. Она опустила глаза, боясь — и в то же время не в силах — отвести взгляд.

Аббат едва заметно кивнул и шепнул несколько слов монаху-послушнику, следовавшему за ним тенью. Тот приблизился и жестом пригласил девушку выйти из очереди. Никто не возразил, никто не шелохнулся: воля настоятеля в этих стенах была непререкаема, как строгий закон.

Фьорелла сделала шаг вперед. Ноги казались чужими, тяжелыми. Она остановилась в шаге от аббата и смиренно склонила голову. Он не позволил подойти ближе: подняв сухую, почти прозрачную руку, медленно, отчетливо начертал в воздухе знак креста. Жест был прост, но в нем ощущалась такая внутренняя сила, что Фьорелла ощутила его прикосновение почти физически.

Лишь после этого невидимого благословения она осмелилась перекреститься сама и едва слышно прошептала:

— Благословите меня на исповедь, падре, ибо я согрешила.

По знаку аббата монах отпер тяжелую решетку ближайшей боковой капеллы. Здесь было тише и светлее. Послушник остался у входа — не сторожем, но безмолвным свидетелем соблюденного порядка, того самого, что предписыва-

ли каноны Тридентского собора[312]³¹⁰ для исповедей. По ним женщина не могла войти в конфессионал без свидетеля из духовенства — это ограждало от малейшего подозрения в тайных встречах или соблазнах, коих в современной Италии было немало.

Аббат вошел внутрь. Когда они оказались по разные стороны решетчатой перегородки одиночной, более богатой исповедальни и его лик скрылся в полутени, Фьорелла услышала голос — глубокий, ровный, к ее удивлению, лишенный старческой хрипоты, словно именно над ним возраст не имел никакой власти:

— *Dominus sit in corde tuo et in labiis tuis, ut rite et digne confitearis peccata tua...* — Да будет Господь в сердце твоём и на устах твоих, дабы ты достойно исповедала грехи свои. *Confiteor, filia mea.* — Исповедуйся, дочь моя.

И в этот миг Фьора, столько раз прокручивавшая в памяти слова исповеди, вдруг с пугающей ясностью поняла: она не знает, с чего начать. Все заготовленные формулы рассыпались, как пепел между пальцами. Мысли спутались; грудь сдавило так, будто на нее легла каменная плита. Воздух не желал входить в легкие — каждый вдох обрывался корот-

³¹⁰ Тридентский собор (1545–1563) — один из важнейших соборов в истории католической церкви, ознаменовавший начало Контрреформации. Он был созван для ответа на вызов Реформации и проведения внутренних реформ. Собор окончательно утвердил основные догматы католицизма, ввел строгую дисциплину для духовенства, установил единообразие в литургии и закрепил правила совершения таинств, включая строгий регламент проведения исповеди.

ким, болезненным всхлипом.

Аббат почувствовал это почти телесно — оцепенение, дрожь, судорожное дыхание, с которым первые слова рассказа разбиваются о скалу страха гнева Божьего. Он молчал на мгновение дольше, чем требовал обычай, и когда заговорил вновь, голос, доносившийся из-за резной решетки, изменился. В нем исчезла бездушная отстраненность; он стал мягче, глубже, наполнился теплотой и тем особым, редким отеческим состраданием, которое не давит, а поддерживает.

— Не бойся, дитя мое, — тихо произнес он. — Господь видит не только твои деяния, но и тяжесть вины, что сдавливает тебе грудь. Мы все — лишь глина в руках Создателя; и порой на наш путь ложатся тени, которые не призывали и не выбирали. Говори просто, как если бы открывала израненное сердце святой Мадонне. Здесь нет судьи, кроме Милосердия, и нет свидетеля, кроме Любви. С чего бы ни начался твой рассказ — начни с того, что болит сильнее всего.

Фьорелла судорожно втянула воздух и вцепилась пальцами в край деревянного табурета, который, казалось, удерживает ее здесь, по эту сторону пропасти. Губы дрожали; язык не слушался. И всё же первая фраза сорвалась — не как заготовленная речь, а как стон, вырвавшийся из самой глубины груди:

— Падре, я... — проклятие для своих близких. Сама того не желая, я несу лишь беды всем вокруг. Моя душа осквернена грехами, которые я не в силах смыть ни слезами, ни

молитвами.

После этих слов что-то внутри Фьоры словно вскрылось. Речь хлынула неудержимым потоком — рваными фразами, обрывками, всхлипами, сбивчивыми признаниями, в коих смешивались стыд, страх и горькое осознание собственного бессилия. Она говорила о доме опекуна, мужа тетки, куда вошла по принуждению — и где само ее присутствие обернулось бедой. Она винила себя в каждом взгляде князя, в каждом будто бы случайном прикосновении, в каждом поцелуе, убежденная, что в ее собственной природе скрыта некая порочная сила, пробудившая в нем неудержимую, разрушительную страсть.

Сквозь рыдания она призналась в самом страшном — в том, что не нашла в себе крепости духа противостоять насилию. В том, что ее плоть покорилась воле тирана, приняла ее, тогда как душа металась и взывала о спасении. Эти слова давались тяжелее всего; они жгли губы, словно раскаленное железо, и каждое признание отзывалось болью в теле, как память о чужом прикосновении.

Фьора поведала о своем отчаянном бегстве в монастырь — о тех немногих днях тишины, когда колокольный звон казался дыханием самого Неба, и сердце, впервые за долгое время, начало верить в возможность спасения. О том, как этот хрупкий мир был смыт штормом княжеской власти, когда его светлость нашел ее и силой вернул обратно, разрушив последнюю надежду на спасение.

Она каялась в том, что понесла во чреве плод этого принуждения, и в безумные, темные минуты отчаяния молила Господа избавить ее от этого дитя, считая его венцом своего позора и печатью вечного проклятия. Эти мысли пугали ее больше всего; она произносила их, закрывая лицо ладонями, словно боялась, что сами церковные стены услышат ее и отторгнут, как отвергают детоубийц.

Весь ужас нынешнего положения — повторный побег в никуда, страх перед будущим, ощущение, что мир порока сомкнулся вокруг нее, как капкан, — выплеснулся наружу. Она говорила о глубоком убеждении в собственной нечистоте, о том, что недостойна ни прощения, ни защиты, ни даже права дышать свободно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.